

РА

40

ДОБР.

Д-56

ДОБРЮБОВ

Н.А.

ДНЕВНИКИ.

М., 1931.







РБ  
40 А  
056

**Н. А. ДОБРОЛЮБОВ**

*Дневник*

1919

**МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТКАТОРЖАН  
1931**

22110











ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ  
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

## ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ  
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО  
ПРОШЛОГО РОССИИ

1931

№ 7 (LXXII)

МОСКВА



РА  
40Добролюбов  
D56

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

# ДНЕВНИКИ

1851—1859

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
И СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ  
ВАЛЕРЬЯНА ПОЛЯНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА  
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ





Уполномоч. Главлита В-5587.

Заказ № 991.

Тираж 5000 экз.

Центр. тип. НКВМ им. Клима Ворошилова, Москва, ул. Маркса и Энгельса, 17.



## Н. А. ДОБРОЛЮБОВ В СВОИХ ДНЕВНИКАХ

### I.

Жизнь Н. А. Добролюбова внешними событиями не богата; в ней нет ничего такого, что бросалось бы в глаза своею яркостью, что привлекало бы внимание необычностью событий и положений. Учился, четыре года сотрудничал в «Современнике» и умер. Умер в такие молодые годы, когда многие только еще начинают жить.

За четыре года, столь короткий период времени своей литературной деятельности, Добролюбов стал «властителем дум», вождем революционно-демократической и социалистической части разночинной интеллигенции 60-х годов. Ему Н. Г. Чернышевский, без всяких колебаний, с полной уверенностью в его силы и верность его взглядов, передал литературно-критическую часть журнала, сосредоточившись сам исключительно на политико-экономических вопросах. Все мы прекрасно знаем, как блестяще выполнил свою роль молодой Добролюбов, как крепко и высоко он держал свое политико-идеологическое знамя, как он на целую голову возвышался над героями 40-х и 50-х годов и даже 70-х годов. Это говорит о быстром и глубоком внутреннем росте Добролюбова.

Дневники Добролюбова, как и его письма, хотя и не затрагивают многих даже основных моментов в развитии этого человека, — представляют замечательный человеческий документ как по своему содержанию, так и по искренности. Вполне прав был С. А. Венгеров, когда он писал: «Не знаю в литературе дневников ни одного столь откровенного. Как общее правило можно установить, что все авторы даже самых интимных дневников всегда охорашиваются, всегда во всем оправдывают себя, всегда кокетничают с потомством. Дневник Добролюбова представляет собою полную противоположность. Он по преимуществу казнит себя, и только кое-где сквозит и сознание своих сил и достоинств.



Все свои переживания Добролюбов излагает с такою откровенностью, что кое-что пришлось заменить точками, а в одном месте пришлось пропустить довольно много»<sup>1</sup>.

Из имеющихся дневников (сколько их исчезло — неизвестно) мы не сможем, например, установить, когда Добролюбов познакомился с философией Фейербаха, — самостоятельно, исходя из последних статей Белинского, или же под влиянием Чернышевского, работы которого заставили молодого студента обратиться к сочинениям левого гегельянца и в них искать разрешения «проклятых вопросов». Добролюбов долго, вплоть до лета 1856 года, не мог порвать с Герценом. Мы знаем, что Добролюбову не нравились нападки на Герцена со стороны Чернышевского, что он еще в январе 1857 года всю ночь напролет, «до пяти утра», читал № 2 «Полярной Звезды», но данных, которые позволили бы с очевидной ясностью показать, какие политические позиции, какие философские основы взглядов Герцена привлекали будущего критика, что он в них отрицал и под какими воздействиями, мы, к сожалению, не находим и в издаваемых дневниках. Можно, конечно, догадываться, что Добролюбову не нравились колебания Герцена между демократами и либералами, поскольку все существо критика органически не воспринимало либерализма, как чего-то ублюдочного, половинчатого. Несомненно, не нравилось Добролюбову и герценовское понимание социализма. Обо всем этом скудные указания приходится извлекать из ранних статей Добролюбова. Из них видно, что Добролюбов-социалист не удовлетворялся революционными теориями Герцена, но совершенно не видно, как Добролюбов относился к элементам философии Фейербаха, которые проглядывали в статьях Герцена. Надо заметить, что Фейербах в своем развитии проделал известную эволюцию, и первые его статьи далеко не то, что последние. Герцен же как-раз отразил Фейербаха первых его работ, которые сам философ признал идеалистическими. Чернышевский же и Добролюбов, наоборот, приняли Фейербаха последнего периода, т.-е. когда он был более последовательным материалистом. Среди рукописей Добролюбова, хранящихся в Пушкинском Доме при Академии Наук СССР, имеется отрывок перевода из Фейербаха, из его книги «Сущность христианства». Но мы не имеем никаких следов, как относился к этой работе Добролюбов. «Сущность христианства» не была окончательной точкой зрения Фейербаха и, может быть, она привлекала будущего критика не столько

<sup>1</sup> „Юбилейный сборник Литературного фонда“. СПб. 1909. Стр. 278.



непоследовательным материализмом, сколько решительным атеизмом.

3 августа 1856 года Добролюбов писал В. В. Лаврскому: «...Ваша голова издавна заперта наглухо для пагубных убеждений, и вас не совертит с вашего пути ни Штраус, ни Бруно Бауэр, ни сам Фейербах»<sup>1</sup>.

Видно, что Добролюбов уже основательно ознакомился с Фейербахом, но отношения к нему Добролюбова в деталях опять не видно.

Между тем вопрос о фейербахианстве Добролюбова — вопрос очень существенный в биографии критика, он окончательно не разрешен, во всей полноте не поставлен; он обычно покрывается трафаретным утверждением: Добролюбов ученик Чернышевского. Этот же вопрос спорный, сложный, требует своего внимательного изучения, чтобы, по крайней мере, определить, где кончается зависимость Добролюбова от Чернышевского и где начинается его самостоятельность. Обычно пишут, что молодой критик был захвачен идеями диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Это была замечательнейшая работа в общественном и философском отношении. Это признавал сам автор, он писал своему отцу: «По секрету можно сказать, что г. г. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который я взял для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общественному образу понятий об эстетических вопросах... Я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого»<sup>2</sup>. В диссертации Чернышевский не цитирует Фейербаха, а в письме к отцу подчеркивает, что его могут принять даже за приверженца тех философов, учение которых он оспаривает. Диссертация напечатана в середине 1855 года, но написана она в значительно расширенном виде, по сравнению с печатным экземпляром, еще в 1853 году. Была ли она известна Добролюбову за этот период и как Добролюбов, знакомясь с диссертацией, выравнивал свои взгляды, опять-таки ничего неизвестно, вопрос не исследован. Буржуазные историки-литераторы или совсем не интересовались этими вопросами или же подходили к ним не с той стороны. Вернее всех вопрос ставил Е. В. Аничков.

Все говорит, что Добролюбов воспринял философию Фейербаха независимо от Чернышевского. Может быть, Добролюбов и

<sup>1</sup> „Материалы для биографии Н. А. Добролюбова“. М. 1890. Стр. 324.

<sup>2</sup> Сочин. Н. Г. Чернышевского, т. X, ч. 2, стр. 84. П. 1918.



сошелся с Чернышевским потому, что в нем нашел единомышленника, старшего и авторитетного, который разбивал идеализм и революционизм Герцена. Однако бесспорных доказательств нет и в этом вопросе, и «Дневники» ничего нового не прибавляют к тому, что известно путем исследования.

Так же обстоит дело и с высказываниями Добролюбова об отношении искусства к действительности. В своих юношеских статьях «Нечто о дидактизме в повестях и романах», «О романе», написанных в 1855 году, Добролюбов уже применяет фейербаховскую историю философии к истории литературы. Роман «переход от мира идеального к действительному, от поэзии к истории». «Теперь уже не строит человек мечтательных планов,... но избирает для себя предметы более к нему близкие, имеющие прямое отношение к его жизни. И вот на этой-то ступени человеческого развития и является роман, как изображение жизни народа. Роман «это жизнь, это действительность»<sup>1</sup>. Чернышевский, как известно, в аналогичную формулу вкладывал высшее тогда материалистическое и революционное содержание. Устанавливая примат действительности над искусством, выставя тезис «прекрасное есть жизнь», он рассуждал: «прекрасное, как полное проявление идеи в отдельном существе», неизбежно ведет к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашею фантазией». Следовательно, «в действительности прекрасного нет», искусство этот пробел и восполняет. «Напротив того, из определения: «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством; ...после того и существенное значение искусства явится совершенно в другом свете»<sup>2</sup>. Какова связь суждения Добролюбова и Чернышевского в их развитии, какова зависимость одного от другого, опять остается неразрешенным.

А ведь все это основные вопросы не только биографического порядка, но и общественно-исторического. Можно было бы поставить целый ряд вопросов, для разрешения которых нужны фактические данные, которых мы не находим ни в письмах, ни в дневниках, ни в других документах. Все это однако не умаляет значения «Дневников». И в данном виде они много вносят в понимание процесса внутреннего развития критика.

---

<sup>1</sup> Собр. соч. Н. А. Добролюбова под ред. Е. Аничкова, т. III, стр. 14—15

<sup>2</sup> Собр. соч. Н. Г. Чернышевского, т. X, ч. 2, стр. 92—93.



Добролюбов был богобоязненный, глубоко религиозный мальчик. Выходя из дому, он крестился на церковь, по пути также молился на церкви, он считал за грех и потому в праздники до обедни не пил чаю, а после исповеди не пил до самого причащения. Лишний стакан с вареньем он считал чревоугодием; лежать в кровати после того, как проснулся, значит проявлять чувственность. И вот такой мальчик к 19 годам стал отъявленным атеистом, фейербахианцем, последователем в то время самой революционной и безбожной, материалистической философии. Разве не важно проследить этот глубокий процесс?

В записях от 7 марта 1853 года и в течение целого месяца семнадцатилетний юноша сокрушался о своих грехах. В своем «Психаториуме» он обращается к господу и просит избавить его от «наваждения лукавого». Он скорбит о «лености к молитве, о своей рассеянности и легкомыслии, о вольных суждениях, о лжи, хитрости, сластолюбии, славолубии, о предании чувственности, чревоугодию и лакомству» и т. п. Это раскаяние занимает целых 32 страницы. Но уже и в «Психаториуме» намечается надлом в религиозности юноши, он сомневается «в важнейших истинах спасения» и совершенно забывает «о пекущемся о нас божьем промысле». Мало этого, в самом перечислении прегрешений, как заметил еще Чернышевский, чувствуется не столько раскаяние во грехах, сколько подогревание исчезающей религиозности. В записи от 15 марта того же года Добролюбов указывает, что в августе и сентябре прошлого года в нем «происходила борьба», и эту тяжелую борьбу он пережил, замкнувшись в себе. Идет речь о борьбе за университет, об увлечении Феничкой. И вот Добролюбов пишет: «Конечно, — я не проводил ночей без сна, не проливал ведрами слез, не стонал и не жаловался, даже не молился, потому, что подобные выходки не в моем характере, а молиться — сердце мое черство и холодно к религии, а я тогда даже и не заботился согреть его теплой молитвой». Юноша думал о своей будущей судьбе и не предвидел в ней ничего хорошего. Выход он видел не в религии, а в университетском образовании, в воспитании своего характера, своих убеждений, своей воли. Затем снова надежды на премудрый промысел, он снова верит «в неустанную заботливость бога» о людях и о нем и т. д. Пасхальная служба дает ему радость, он ей наполняется. Эта радость высокая, чистая; юноша огорчен, что эта радость вытесняется радостью плотской. Даже свое поступление в институт, а не в академию он объясняет вмешательством промысла божьего. Две силы борются и периодически одолевает то одна, то другая сила; а в общем процесс распада рели-



гиозности идет, хотя конкретно нам и не известно, что именно, какие события, какие книги, какие мысли и настроения производили эту разрушительную, в данном случае плодотворную работу. В марте 1854 года умирает мать Добролюбова. Он снова горячо и искренно обращается к богу. Он верит, что мать может умолить бога и он «остановит его на краю гибели», к которому подвела его жизнь. В отрывке же 1855 года он пишет: «Меня постигло страшное несчастье — смерть отца и матери, но оно убедило меня окончательно (разрядка наша—В. П.) в правоте моего дела, в несуществовании тех призраков, которые состроило себе восточное воображение и которые навязывают нам насильно вопреки здравому смыслу. Оно ожесточило меня против той таинственной силы, которую у нас смеют называть благою и милосердною, не обращая внимания на зло, рассеянное в мире, на жестокие удары, которые направляются этой силой на самих же ее хвалителей». Этот «окончательный» разрыв произошел однако не сразу. Судя по переписке, Добролюбов в конце мая молится за мать в Александро-Невской лавре, в начале июня он молится и плачет над гробом жены университетского священника, но уже в письме к Д. А. Щеглову от 9 августа 1854 года, описывая похороны отца, «разругал своего бывшего профессора, который сказал пренелепую речь, уверяя в ней, что бог знает, что он делает, что он любит сирот и пр.». Позже воспоминание о боге встречается скорее по привычке, да и встречается это слово редко. В апреле 1855 года в письме к Фавсте Васильевне он утешает ее не благостью промысла, а пишет: «Любовь и благословения наши низведут счастье на вашу последующую жизнь, если только возможно счастье для нашего несчастного рода». И наконец итог, данный в записи от 18 декабря 1855 года,—полный разрыв с религией.

Но этим вопрос еще не исчерпывается. Встает новый большой вопрос о том, какого характера были религиозность и благочестие юноши. Был ли он приверженцем церкви, как строгий защитник ее догматов и обрядов, или же его благочестие носило характер моральный? Анализ всей жизни Добролюбова вскрывает, что религиозность юноши была нравственного порядка. Он воспитывал в себе не догматика, который мог бы фанатически умереть на костре, отстаивая двуперстие или троеперстие, а человека высокой нравственности, который мог бы бороться с людской неправдой, с людской пошлостью.

Ища основ нравственности, Добролюбов рано пришел к формуле, хотя и не во всем объеме осознанной: «человек и его счастье». Путь этот был так же труден, как и путь к безверию.



В конце статьи «Когда же придет настоящий день?» есть место несомненно биографического характера. Приводя воспоминания о детстве якобы своего знакомого, Добролюбов рассказывает о себе. А рассказывает он следующее: «По натуре своей я был мальчик очень добрый и впечатлительный. Я бывало плакал и метался, слушая рассказ о каком-нибудь несчастье, я страдал при виде чужого страдания... Все, что я видел, все, что я слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же все страдают; и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело... Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была такова: «истинное счастье заключается в спокойствии совести». На расспросы мои о совести, мне объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать, какие поступки хороши, какие дурны. Это было не трудно: кодекс нравственности был готов и в прописях, и в домашних наставлениях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Не надейся на свои силы, ибо ты — ничто», «Будь доволен тем, что имеешь, и не желай большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь общая» и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного счастья на земле не может быть, но что, насколько оно возможно, оно достигнуто в благоустроенных государствах... Я узнал, что Россия теперь не только велика и обильна, но что порядок в ней господствует самый совершенный, что стоит только исполнять законы и приказания старших да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я жадно ухватился за них, как за лучшее решение всех моих сомнений... И вот я доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои стремления и лет двенадцати был уже маленьким философом и страшным партизаном законности... Собственно закон я еще не совсем хорошо представлял себе, но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве. Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей, начальников и т. д. и был очень любим начальством и старшими классами... «Сами виноваты», говорил я про себя, и стал даже питать к ним не то злобу, не то презрение, как к людям, не умеющим пользоваться спокойно и смирно теми благами, которые им предлагаются по силе общественного благоустройства. Все, что было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону — к поддержанию прав стар-



ших над ними. Я чувствовал, что в этом заключается самоотвержение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был, что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем»<sup>1</sup>.

Прежде всего в этих воспоминаниях-исповеди бросается в глаза, что мальчик подходит к общественным вопросам, исходя из моральных соображений, а эти моральные соображения, пропитавшие всю жизнь, совпадали с религиозными требованиями. Религиозные же требования отвечали задачам монархии. Отсюда мальчик и находит разрешение морально-общественной проблемы в беспрекословном выполнении законов, в беспрекословном подчинении начальству. Если вспомнить перечисление грехов Добролюбова в «Психаториуме», то легко видеть, что многие грехи являются нарушением прописной морали. Добролюбов упрекает себя во властолюбии, в гордости, в осуждениях старших, в самонадеянности и т. п., — все это грехи против прописи.

Каков был процесс взаимоотношений между религиозно-нравственным развитием и развитием нравственно-общественным, что чем обусловлено — не поддается изучению при имеющихся материалах. Вернее, оба эти процесса совершались одновременно, но какой-то из них преобладал. Этот вопрос приобретает особое значение в связи с произошедшим кризисом в мировоззрении Добролюбова. Каковы и где лежат корни этого кризиса? Они, очевидно, лежат в отношениях людей, каковые мальчик наблюдал вокруг себя. Он их расценивал, они подрывали прописную мораль, разрушая одновременно религиозность и приверженность к законности.

Поступив несправедливо с сестрой, мальчик пришел к мысли, что «старшие могут быть неправы и делать нелепости, и что уважать нужно собственно закон, как он есть, а не как проявляется в толкованиях того или другого лица. Тут пошла у меня критика действий лиц, и я из консервативной безответственности стремительно перескочил в «*opposition légale*»<sup>2</sup>.

Старому устоявшемуся мировоззрению нанесена первая, но довольно серьезная брешь на маленьком опыте семейных отношений. Брешь эта со временем все расширялась и расширялась. В этом процессе была своя постепенность и закономерность. Она показывает, как сильно и упорно в одном и том же направлении работала мысль четырнадцатилетнего мальчика. Мысль эта была не только глубока, но и широка, поскольку мальчик свой

---

<sup>1</sup> Собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. IV, стр. 409—411.

<sup>2</sup> Там же, стр. 412.



личный маленький опыт перенес на общественные отношения людей и, разбив одно звено, разбил всю систему старых взглядов.

Продолжая исповедь, Добролюбов пишет: «На долгое время я приписывал все дурное одним только частным злоупотреблениям и нападал на них — не во имя насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным братьям, а просто во имя положительного закона... Дошел, наконец, до сознания, что и законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное, временное и частное значение и должны подлежать переменам с течением времени и потребностям обстоятельств. Но опять во имя чего так рассуждал я? Во имя высшего, отвлеченного закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви к собратьям, вовсе не по сознанию тех прямых, настоятельных надобностей, которые указываются идущей перед нами жизнью»<sup>1</sup>.

Вторая брешь — не в новом случайном месте, а увеличивающая первое разрушение. Люди могут быть плохи, законы тоже не всегда хороши. Во всем этом была жесткая логика, разрушительная. Она переворачивала все представления о человеческих отношениях, хотя эти представления ясны были скорее со стороны формальной логики, чем их классовой сущности, выраженной хотя бы в отвлеченных принципах справедливости.

Наконец, сделан был «последний шаг». «От отвлеченного закона справедливости он перешел к более реальному требованию человеческого блага». Все сомнения и колебания приведены к единой формуле: «человек и его счастье»<sup>2</sup>.

Последняя брешь, разрушившая все, начисто, под корень, без возможности восстановить. И это проделал юноша в 15—16 лет. Перед Добролюбовым, примерно, к 1852—53 году, когда он окончательно освобождается от церковно-монархического взгляда на жизнь, встает новая задача — определить, в чем заключается счастье человека и как это счастье добыть. Эту проблему, особенно ее вторую часть, Добролюбов разрешил к середине 1857 г., когда он окончательно сошелся с Чернышевским. Не надо однако забывать, что элементы положительного взгляда на жизнь складывались у Добролюбова постепенно в течение всей институтской жизни.

На первом курсе Добролюбов сблизился со студентом Д. Ф. Щегловым. Щеглов — «отвергая обычные понятия, которых еще держался тогда Н. А.», как замечает Чернышевский,

<sup>1</sup> Там же, стр. 413.

<sup>2</sup> Там же, стр. 413.



ставил перед ним вопросы о целях бытия, вопросы общественной борьбы. Добролюбов все это быстро воспринимал. Его общественная работа началась на почве институтских порядков, а с осени 1855 года, с изданием газеты «Слухи», она стала в полном смысле работой общественно-политической.

Позже, став постоянным сотрудником «Современника», Добролюбов понес свою формулу социального прогресса в общество, страстно борясь за нее, не склоняя головы ни перед чем и ни перед кем, идя твердо, уверенно, без компромисса.

Итак, усомнившись в своей собственной правоте, мальчик усомнился вообще в правоте старших, а потом и закона. Юношей он пришел к формуле: «человек и его счастье». Развертывая эту формулу, Добролюбов стал революционером-демократом, социалистом.

В 1855 году Добролюбов пишет, что он со своими друзьями «затрагивает великие вопросы», и что их «занимает более всего родная Русь своим великим будущим». Сам Добролюбов уже критически относится ко взглядам Д. Ф. Щеглова. Считая себя неспособным быть «реформатором, революционером», как это понимал Щеглов, Добролюбов подчеркивает: «А между тем, что касается до меня, то я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота»; Добролюбов чувствует теперь, что более, нежели кто-нибудь, он имеет силы и возможности взяться за свое дело. В январе 1857 года студент Добролюбов был на обеде у С. П. Галахова. На обеде были лица разных чинов и положений, вели разговоры, насколько позволяла обстановка, о всяких общественных делах и случаях жизни. Добролюбов, наслушавшись всяких пошлостей, пришел в смущение от богатого обеда и остановился на мысли, что есть люди, которые могут позабывать имеющим каждый день хлеб. Он занес в свой дневник: «Мысли эти меня очень грустно потревожили, и социальные вопросы показались мне в эту минуту святее, чем когда-нибудь». Сравнивая себя со своими друзьями, он констатирует, что он «гуманнейший и социальнейший из всего кружка», что «свернуть его с его дороги ужасно трудно», что «для него вопросы социальные — вопросы внутренние, стремление души его, а никак не внешние, навязанные обстоятельствами увлечения», что «в нем внутренних сил гораздо больше» по сравнению с другими, что «к высшим вопросам; к последним решениям — он подошел гораздо ближе, гораздо смелее взглянул им в лицо», чем остальные. И это была истина. В это время Добролюбов был уже фейербахианец, революционер-демократ, социалист лагеря Чернышевского. В дневнике 1857 года, в записи 15 января, точно указано:



«Я отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов, а он (Щеглов) — революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества и восстающий против власти только потому, кажется, что видит ее нелепость *statu quo* и признает себя выше ее... Идеал его — Северо-Американские Штаты. Для меня же идеала на земле еще не существует». Это заявление точнее, решительнее, чем запись от 18 декабря 1855 года. Из письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову в августе 1856 года видно, что окончательно оформились взгляды Добролюбова под влиянием бесед с Чернышевским, после знакомства, состоявшегося в середине 1856 года. Чернышевский был для Добролюбова, как Герцен и Станкевич для Белинского, как Белинский для Некрасова, как Грановский для Забелина. Так, по крайней мере, пишет сам Добролюбов.

Добролюбов внимательно следил за своим развитием. Еще семинаристом он заносил в свой дневник: «Я сделался гораздо серьезнее, положительнее, чем прежде», у меня стала «большая установленность или твердость взгляда и убеждений» и т. д.

Весьма соблазнительна попытка произвести критический разбор отдельных суждений Добролюбова, зачастую неверных, но характерных. Но мы воздерживаемся от этого, так как эта попытка связана с большим добавочным анализом не только писем Добролюбова, его статей и других документов, но и общественных условий тех лет. Есть опасность далеко уйти от дневников, а наша вступительная статья ставит своей задачей более скромную задачу — показать ценность дневников, как материала, чтобы установить этапы внутреннего развития критика.

Добролюбова обычно рисуют человеком сухим, холодным, рассудочным, который не знает волнующих чувств и живет только аскетической мыслью. Таким нередко рисует себя и сам Добролюбов. Дневники показывают, что все это вздор. Человеческое не чуждо было Добролюбову. Он обладал не только сильной мыслью, но и громадным чувством, которое временами увлекало его на ложную дорогу. Достаточно вспомнить любовь 16-летнего юноши к 12-летней Феничке. Достаточно прочесть записи об отношениях к Сладкопевцеву, чтобы видеть, какие глубокие чувства волновали юношу.

Расставаясь с Иваном Максимовичем, Добролюбов «страдает», «бесится», в его душе «кипит и бурлит страшное беспокойство». Он восклицает: «Я теперь наделал бы чорт знает что, весь



мир перевернул бы вверх дном, выцарапал бы глаза, откусил бы пальцы тому негодяю, тому мерзавцу, который подписал увольнение». Сожалел, что у него нехватило воли иметь с отцом «решительное объяснение» по поводу своего поступления в университет, характеризует свое настроение словами: «а во мне кровь кипела, воображение работало, рассудок едва сдерживал порывы страсти». Ему не чужды грусть, разочарование, даже пессимизм, сентиментальность. Так называемая любовь, как выражается Чернышевский, загоняет его к «павшим» женщинам. Он привязывается к Машеньке и даже своеобразно ревнует ее, хочет жениться на ней, хотя разум и подсказывает ему, что он ведет себя не так, как подобает человеку, отдавшему себя на служение обществу. Известен факт, что Добролюбов хотел жениться на Гринвальд только из чувства совестливости. Брак, наверно, состоялся бы, если бы не помешал Чернышевский, применив в последний момент физическую силу.

Добролюбов ищет настоящей чистой любви, женщины, с которой он мог бы соединить свою жизнь; он много раз влюбляется, но неудачно, желание остается неудовлетворенным. А между тем 20-летний возраст берет свое. В его дневнике 1857 года есть строки: «Никогда не найдешь в своем отвлеченном рассудке столько сил, чтобы до конца выдержать пожертвование собственной личностью отвлеченному понятию, за которое бьешься... И так, вот начинается жизнь-то... Вот время для разгула страстей... А я, дурачек, думал в своей педагогической и литературной отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что я уже пережил свои желания и разлюбил свои мечты». «Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо». Добролюбов, как видно, не «абстрактная идея», не бесплотное существо, а человек со всеми свойственными ему стремлениями и физиологическими потребностями. Все это Добролюбова мучило, страсти свои он глубоко прятал в глубине себя, скрывал их от людей.

Об интимной стороне жизни Добролюбова старались не говорить, боясь загрязнить светлый образ молодого критика. Ложный взгляд. Анализ интимной жизни Добролюбова, анализ даже поверхностный, сразу говорит, что тут не место говорить о разврате, тут другое более сложное и более трудное положение. Мне вспоминается случай из своей школьной жизни. Кто-то из учеников попался за чтением Писарева и Добролюбова. Перед началом занятий инспектор созвал нас в залу и произнес речь против Писарева и Добролюбова. Когда он заговорил о Добролюбове, как развратном человеке, мы, читавшие его сочинения, но не знавшие фактической его жизни, стоя в разных местах зала,



единодушно крикнули: «неправда». Образ Добролюбова, сложившийся по его сочинениям, был для нас настолько светел и ярок, что глупая выходка инспектора сделала его еще дороже, еще ближе. Добролюбова стали читать больше и внимательнее. Это было 35 лет тому назад. А теперь вряд ли у кого хватит духу бросить камень в этого великого юношу. Вчитываясь в те страницы дневников, на которых занесены интимные переживания, каждый скажет, что и во власти физиологических страстей Добролюбов остался лучшим человеком своего времени. Разговорам о разврате нет места. Сам юноша называет свое поведение гадким, он мучается, страдает, но все эти «угрызения совести» как-раз и говорят о нравственной чистоте Добролюбова.

Чернышевский ряд страниц из дневника Добролюбова 1857 года вырвал, боясь ложных и пошлых взглядов того времени. Мы публикуем все, что уцелело, без всяких сокращений, в полной уверенности, что Добролюбов встанет перед читателем более живым, более «настоящим», во плоти и крови, со своими мыслями и чувствами. Всякий же, кто захочет искать разврата, окажется на высоте того понимания морали, которое так жестоко осудил Чернышевский. Надо суметь сопоставить вопросы о любви, об отношении к женщине в жизни Добролюбова с тем, как эти вопросы трактовались Чернышевским, в особенности в его отношениях к Ольге Сократовне и в романе «Что делать?». А сколько поучительного и интересного, если мысли и поведение Добролюбова и Чернышевского сравнить с мыслями и поведением Герцена.

## И.

В данном виде «Дневники» Н. А. Добролюбова печатаются впервые. Эпоха 60-х годов, в частности такие ее деятели, как Чернышевский, Добролюбов, Писарев, всегда привлекали общественное внимание. Историки, публицисты и литературные критики — идеологи различных классовых групп — не раз спорили об их наследстве, каждый считал его своим. И все же, как ни странно, часть «Дневников» Добролюбова печатается нами впервые, с большим запозданием; а между тем «Дневники» эти, характеризую автора их, дают в то же время представление о ряде лиц, о целом круге людей 60-х годов.

Впервые печатаются «Заметки о преосвященном Иеремии, епископе нижегородском и арзамасском», «Отрывок из дневника 1852 г.», «Заметки», «Встреча Христова праздника», «Закулисные тайны русской литературы и жизни».



«Психаториум», «Дневники» 1852—1853 гг. печатались Чернышевским в журнале «Современник» за 1862 г., но со значительными сокращениями. Опуская 11 страниц «Дневника 1852 г.», Чернышевский замечает, что они «не заключают в себе ничего интересного». По «этой же причине» он опускает еще ряд мест. Из «Психаториума» также было напечатано всего несколько отрывков, а запись сделана на 34 стр. Отрывок «О смерти матери» опубликован в «Современнике» за 1862 г., «Отрывок 1855 г.»—в журн. «Современный Мир» (1911, VIII) со вступительной статьей Е. Аничкова. Отрывок из «Дневника 1859 г.» опубликован М. Лемке в полном собрании сочинений и писем А. И. Герцена (X, 16—18 стр.) в примечаниях к статье «Very dangerous»<sup>1</sup>.

«Дневник 1857 г.» в отдельных небольших отрывках был напечатан Чернышевским в «Современнике» за 1862 г. «Дневник» в рукописи имеет 88 страниц, да еще отдельно 3 страницы, опубликовано же было всего несколько страниц. Как известно, на «Дневнике» имеется пометка Добролюбова: «Прошу всех, кому попадется в руки эта тетрадь, положить ее на место, не читая, потому что в ней записал я несколько тайн, не принадлежащих мне и частью угаданных мною». Чернышевский не только опубликовал меньше, чем можно было и следовало, часть страниц (63, 64, 69, 70, 71, 72) он вырвал, и они погибли. Это был опрометчивый поступок, хотя и продиктованный большим уважением к покойному другу и сподвижнику. Публикуя отрывки, Чернышевский писал: «Дневник, веденный в Педагогическом институте, включает в себе много страниц, относящихся к собственно так называемой любви. Разумеется, мы не имеем права печатать этих его воспоминаний, хотя в них нет ровно ничего предосудительного с какой бы то ни было стороны для лиц, которые в них являются. Но над. понятиями общества об этих вопросах еще господствует пошлость, требующая тайны. Те отрывки институтского дневника, которые говорят о тогдашней любви Н. А., должны оставаться ненапечатанными до той поры, когда никто не найдет их обнародование нарушением общественных условий, и мы печатаем только те страницы, которые показывают, как пробуждалась в Н. А. жажда любви»<sup>2</sup>. Позже «Дневник» был напечатан с предисловием проф. С. А. Венгерова в «Юбилейном сборнике Литературного фонда». СПб. 1909 г. Прошло пятьдесят лет со дня написания дневника, вре-

<sup>1</sup> Очень опасно.

<sup>2</sup> Собр. соч. Н. Г. Чернышевского, т. IX, стр. 38.



мена значительно изменились, и все же «Дневник» был напечатан, хотя и в цельном виде, но с искажениями и со значительными пропусками не только отдельных фраз, кусков, но даже и целых страниц. Так С. А. Венгеров совсем не напечатал последние три страницы с записями от 26 мая и 13 июля. Все боялись «зачернить» светлый образ Добролюбова. В данном издании «Дневник» печатается полностью впервые. Исключены отдельные слова и выражения, не удобные в печати, да и то в самом крайнем случае делали мы это. Добролюбов впервые встанет перед нами как живой человек, а не как бесплотный святитель, отрешившийся от мира сего.

Приступая к изданию «Дневников» Добролюбова, мы располагали 2-й корректурой сверстанных листов X тома полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова в издании «Деятель», помеченной далекой датой, октябрем—ноябрем 1913 г. Часть тома была отпечатана, но война не дала возможности закончить издание; готовые к брошюровке листы пошли на кульки и обертку. Том был подготовлен к печати и проредактирован Вл. Княжнинным. Том должен был содержать «Дневники» и «Письма». Вл. Княжнин составил к печатаемому материалу подробнейшие комментарии биографического характера вплоть до родословных таблиц Добролюбова и Галахова, вплоть до описания церкви, в которой служил отец Добролюбова, и даже памятника на его могиле. Были раскрыты, хотя и не полностью, многочисленные инициалы. Все это избавило нас от черного, кропотливого труда. Однако, данное издание не является простой перепечаткой имевшегося материала.

«Психаториум», «Дневник 1857 г.» и отрывок из «Дневника 1859 г.» заново целиком сверены по рукописям. Остальные «Дневники», поскольку они вызывали сомнения, сверены частично и выправлены.

Примечания использованы в самой незначительной доле. Примечания давались только в крайних случаях; давались очень сжато, особенно когда дело касалось лиц, да и то в тех лишь случаях, когда никаких указаний не давал сам текст «Дневников».

Поскольку «Дневники» пойдут не в широкую массу, а предназначены для историков литературы и общественной мысли, в издании не комментируются такие имена, как Пушкин, Сю, Норв, Зенон и т. п., хотя теперь и принято комментировать каждое имя, в двух-трех словах, но все же комментировать. В данном случае это только загромождало бы подстрочные при-



мечания. Кое-какие примечания могут оказаться все же излишними, но мы сделали их из тех соображений, что в нашей современности кое-какие имена и факты могли быть позабыты. Пришлось перебрать довольно много всяких изданий и навести не одну сотню справок.

Сверку текста по рукописям производил Ю. Г. Оксман, многие справки разыскивал Н. Ф. Бельчиков.

Некоторое количество инициалов, правда весьма незначительное, осталось нераскрытым; не установлены также кое-какие лица, но они никакой роли в жизни Добролюбова не играли и попали на страницы дневников случайно.

Печатаются «Дневники» в хронологическом порядке.

Валерьян Полянский.



## ЗАМЕТКИ

о пр[еосвященном] И[еремии,] е[пископе]  
н[ижегородском] и а[рзамасском]

### ВСТУПЛЕНИЕ

1 сент[ября] 1851 г.

Вот уже слишком полгода правит преосв[ященный] И[еремия] нашей епархией, и с каждым днем его управления действия его становятся более и более непонятными. Он так тверд и в то же время так непостоянен, так умен и так, повидимому, неосмотрителен, так строг, а иногда так снисходителен, поступает так буквально по законам, а иногда так самовольно нарушает их, что не знаю, что об нем и думать... Одни его хвалят и считают превосходным архиереем, другие видят в нем какого-то Аттилу наших времен, называют его бичем небесным, я з в о ю, и провозглашают, что он за грехи наши послан на нас. Последних по крайней мере во сто раз более, нежели первых. Не мне судить, кто из них виноват, кто прав; но я очень интересуюсь этим предметом, хотя до меня он и мало касается. Как ни странны, как ни тягостны для подчиненных, как, повидимому, ни безрассудны его действия, но все-таки невозможно же предположить, чтобы у него не было какой-нибудь положительной, постоянной цели, чтобы он действовал совершенно наудачу, как ему вздумается... «Он играет, играет нами, как шашками», говорят некоторые из его недоброжелателей. Но придумавшие это замысловатое сравнение забывают, что, и играя в шашки, человек ставит их не зря, не как попадется, а думает и соображает, как сделать лучше, чтобы выиграть игру. И я никогда не соглашусь, чтобы пр[еосвященный] И[еремия] действовал по глупости, или по злости, как говорят иные. Он совсем не глуп, напротив, — он очень умен, и против этого нечего спорить. Злиться ему также не на что было в Ниж[нем], когда еще



он и не знал его хорошенько. А действия его начались почти с первых дней его приезда. Да притом кто же станет делать зло для одного только зла? И у зла надобно непременно предположить какую-нибудь другую, особую цель. Есть еще одно обвинение, будто все дела свои он обрабатывает в нетрезвом виде, но это клевета, нелепость из нелепостей. Еще есть два очень правдоподобные предположения. Первое — будто он страдает недугом сребролюбия; но это еще не такая беда, которой нельзя бы было исправить, если это и в самом деле правда. Другое предположение еще правдоподобнее, и ему верит, более или менее, решительно весь город. Полагают, что он окружен советчиками и наущниками, между которыми особенно отличают одного... Эти люди, для своих частных выгод, могут представлять ему дела в превратном виде, и преосв[ященный], не зная хорошенько епархии, может полагаться на их знание и опытность, а они и производят все эти бедствия, на которые столько жалуется Нижний. Но как бы ни было, а неоспоримо доказать невозможно ни одного из этих предположений. И потому, интересуясь этим предметом, я решился записывать действия преосв[ященного], чтобы впоследствии из всех их можно было вывести общий итог. Так[им] обр[азом], теперь я пока соберу все, что удержала память моя из слышанного и виденного мною, относительно действий и характера преосв[ященного]. А потом, когда кончу свой обзор, я уже стану обстоятельно записывать все, что могу узнать о нем, занимая такой незначительный пост или, лучше сказать, не занимая никакого поста в обществе. Ни за что не ручаюсь в моих заметках, кроме их правдивости. Это еще не значит, что они безусловно верны, а значит только, что я в них ничего не выдумывал от себя.

---



## ВОСПОМИНАНИЯ

9 сентября, 1851 г.

В мае 1850 г. скончался преосвящ[енный] Иаков. Долго потом сиротела паства нижегородская. Носились слухи, что переводят к нам и Феодотия симбирского, и Николая тамбовского... Но вдруг в начале января 1851 г. узнали мы, что переведен к нам Иеремия полтавский, а накануне крещения господня, 5 января, я первый раз услышал, как его поминали в церкви, за вечерней. После узнали мы, что он был назначен к нам в епископы еще в декабре 1850 г. Никто у нас не знал его, никто не мог дать об нем никаких сведений. Носились темные слухи о его строгости, но все это было очень неясно и неопределенно, тем более, что вместе с молвою о строгости его шла молва и о его справедливости. Как бы то ни было, — умы были расположены как нельзя более в пользу преосвященного, потому ли, что все радовались назначению пастыря, так давно ожидаемому; потому ли, что духовенство, несмотря на всю доброту и святую жизнь бывшего преосвященного, вообще не было к нему привязано и в будущем начальнике думало быть более счастливым; потому ли, наконец, что, не зная нового пастыря, всякий старался льстить себе надеждою, что он будет добрым правителем. Ждали скорого прибытия преосвященного, и потому члены консистории начали по очереди ездить на орловскую станцию, чтобы там встретить его. Уже в другой раз обходила всех эта чередка, а преосвященный все еще не ехал. Начали носиться слухи, что он захворал, и некоторые чуть не плакали из опасения снова лишиться пастыря, даже не выдавши его. Но скоро услышали, что он, узнав о своем назначении, из Полтавы поехал в Киев, а потом заезжал в Москву, и уже оттуда отправился в Нижний. Пришла масленица. Никому не хотелось провести ее одному на станции в ожидании приезда преосв[ященного]. Чтобы не отлучаться от прихода во время великого поста, отец



мой вызвался ехать туда в это время, хотя очередь была не за ним еще. В среду на маслянице собрался он ехать. В этот же день и нас отпустили на остальное время масляной и на первую неделю поста. Пользуясь свободным временем, и я отправился с отцом моим, чтобы прокатиться туда и на другой день снова приехать домой с тем священником (В. А. Крыловым), на смену к которому ехал отец мой. Поехали и на дороге узнали от проезжавшей почты, что преосв[ященный] скоро будет. Приехавши, мы нашли на станции, кроме свящ[енника] Крылова, кафедрального протоиерея Лебединского<sup>1</sup>. Они пили чай. И мы также сели за чай, пили, разговаривали и рассуждали о том, где будет ночевать преосв[ященный] эту ночь и рано ли завтра приедет на станцию. Вдруг зазвенел колокольчик, и у ворот остановился какой-то экипаж. Не успели мы разглядеть, кто это, как вошел человек и сказал: «Кто здесь дожидается преосв[ященного]? Выходите поскорее!»...

Все трое бросились к рясам и камилавкам своим, оделись и вышли к воротам, а я остался в комнате. Там все отрекомендовались преосвящ[енному], и минут через пять он сам вышел из экипажа и пошел в дом. Я вышел в другую комнату, двери которой затворили. Но как я, так и семейство станционного смотрителя и звонарь, бывший там при пр[отоиерее] Лебединском, не утерпели, чтобы не посмотреть сквозь щелочку в дверь на преосвящ[енного]. Я стоял ближе всех к двери и мог лучше всех разглядеть его. Сердце мое сильно билось, я с нетерпением поглядывал на дверь, откуда он должен был взойти. Наконец она отворилась, и в комнату вошел человек лет 55, росту немного выше среднего, с важной и благородной осанкой. Физиономия его была очень приятна, хотя тонкие и резкие черты лица его и придавали ему какую-то недоступность и величавость, несколько суровую. Но это было только тогда, когда губы его сжимались, и глаза были устремлены в бок или смотрели исподлобья, что было очень редко. Прямой нос его и довольно густые брови как-то странно действовали на меня, и мысли о твердости, упрямстве, гордости, даже жестокости невольно пришли мне в голову. Но в светлом взгляде глаз его было столько кротости и любви, улыбка его так ясно говорила о доброте души его, что это неприятное впечатление мгновенно рассеялось. Вообще лицо его было как-то слишком подвижно, и выражение его беспрестанно менялось, на что я тогда не обратил особен-

<sup>1</sup> Лебединский Иван Иванович, воспитанник ниж. дух. семинарии, магистр моек. дух. академии, был профессором ниж. семинарии, преподавал философию, был ее ректором, член консистории.



ного внимания, но что хорошо заметил впоследствии. Глаза его не лишены были того блеску, который свидетельствует о живости и впечатлительности характера. Улыбка его могла часто превращаться в самую язвительную, и никакой выговор, никакая брань не могли столько поразить и озадачить человека, сколько эта саркастическая улыбка. Лицо его было несколько желто, что можно было заметить даже тогда, несмотря на мороз, зарумянивший его щеки. Ясно, что он был желчного, вспыльчивого характера, который мог пересиливать иногда и его душевную доброту и затемнять его ум, выражавшийся во всей его наружности. И этот ум и доброта так ясно отпечатались в его лице, что он очаровал, приковал меня к себе, возбудил в душе моей чувство привязанности к нему до такой степени, что еще и ныне не может она изгладиться, несмотря на все, что он делает и что о нем говорят. То же самое чувство внушил он и отцу моему, который говорит, что и доселе еще, сам не зная за что, любит его.

Вошед в комнату, он помолился богу, и первый вопрос его был: «сколько теперь часов?»... Лебединский вынул часы, а преосв[ященный], также вынув свои и посмотревши, прибавил: «а вот я вам скажу, сколько теперь по московским. Семь часов и десять минут». Оказалось, что и на нижегородских было столько же...

Тут я первый раз услышал его голос. Чудный голос! Доселе я не слыхивал такого мягкого, чистого, звучного голоса. Это был какой-то металлический, серебряный голос. В прекрасных звуках его выражалось столько души, столько доброго и теплого чувства, что я был в высшей степени восхищен этими звуками...

Между тем он, прошедши раза два по комнате, увидал, что мы стоим за дверьми, и сказал: «Что же, кто там еще стоит? Подите все сюда; я хочу всех видеть». И сам пошел к двери... Лебединский поскорее подошел, отворил ее, и мы вышли к нему, я был впереди всех. Преосв[ященный] благословил меня и спросил: «кто это?» Лебединский сказал, что это семинарист, сын вот этого священника, и он указал на моего отца. Тогда преосв[ященный] спросил: «как тебе фамилия?» Я отвечал: «Добролюбов». — «Хорошо, — сказал он, — если бы все у нас были Добролюб[овыми] — не именем только, но и чем?..» «Делами», — отвечал я. — «Да, чтобы по делам были Добролюбовы», — повторил он. Потом он погладил меня по голове и дал поцеловать крест, бывший у него на груди. Я тогда не разглядел, что это был за крест. Потом он спросил у меня, где я учусь; на это опять отвечал Лебединский. Обратившись к моему отцу.



преосв[ященный] спросил его, сколько у него детей, сыновья или дочери, сколько лет другому сыну и еще кое-что. Между прочим он благословил в это время всех, бывших тут, поговорил с ними и потом сел и начал разговаривать исключительно с Лебединским, потому ли, что он был важнее всех из трех священников, или потому, что и на прежние вопросы, не адресованные ни к кому особенно, по большей части отвечал он же. Преосв[ященный] расспрашивал его, где он образовался, кто ему товарищ по академии. Узнавши, что ему товарищ преосв[ященный] Афанасий<sup>1</sup>, он сказал только: «А...» Но когда упомянул Лебед[инский] о Николае Надеждине<sup>2</sup>, тогда он заметил: «Да, это наш ученый муж»... Потом он сказал, что везет сюда сыновний поклон на могилу отца от почтеннейшего и многоуважаемого им Ивана Михайловича Скворцова<sup>3</sup>, и начал было расспрашивать, в каком уезде Нижегородской губ. его родина, в котором году он учился в ниж[егородской] семинарии, но на это никто не мог ему отвечать. Затем он сделал несколько вопросов о Нижнем и сравнивал с Полтавой, но сам себя прервал, сказавши, что его уже познакомил несколько с Нижним его бывший наставник и ректор — преосв[ященный] Иоанн<sup>4</sup>, в то время как он заезжал к Иоанну в прошедшем году. «Как будто знал он, что я буду здесь», прибавил он. Потом он осведомился о здоровье отца ректора семинарии<sup>5</sup>, заметив: «Он мне свой; мы знакомы по академии», причем мелькнула на его губах довольно двусмысленная улыбка... После того он спросил, нет ли на его имя указов? Леб[единский] отвечал, что три получены. Он заметил, что, наверно, один из них заключает манифест, — не помню, по случаю какого-то рождения или бракосочетания, кажется, — в царской фамилии. Поэтому он начал рассуждать, когда ему лучше отслужить, чтобы обнародовать манифест. Он было сказал: «Не в субботу ли, или в воскресенье даже?» Но В. И. Крылов, сидевший до тех пор молча, встал и сказал: «В[аше] преосв[ященство], в понедельник... трёхдневный звон будет»... Только он и сказал во весь тот вечер. Преосв[ященный] улыбнулся и отвечал: «Да, да, и в самом деле. Надобно будет звонить весь день в чистый понедельник. Так лучше в пятницу отслужим»...

<sup>1</sup> Ректор СПб дух. академии, архиерей в Саратове и Астрахани.

<sup>2</sup> Надеждин Николай Иванович — известный критик.

<sup>3</sup> М. б., кафедр. протоиерей киевск. софийского собора, заслуж. ордин. проф. киевск. ун-та и дух. академии, доктор богословия.

<sup>4</sup> Профессор и ректор СПб дух. академии.

<sup>5</sup> Ректором ниж. дух. семинарии в это время был архимандрит Аполлоний, студент киевской дух. академии во время ректорства в ней преосв. Иеремии.



Около часа сидел он на станции, много говорил, но я теперь уже не могу всего упомнить. Наконец он сказал мне:

— Поди-ко ты, господин, скажи моим, чтобы лошади были готовы.

Я вышел и сказал. Скоро вошел один из служителей и доложил, что все готово. Преосв[ященный] поднялся с места и сказал с особенной благосклонностью:

— Жаль мне с вами расставаться-то. Как бы этому помочь?.. Нельзя ли нам вместе сесть?..

Никто однако не отвечал ему, и он начал одеваться в теплую рясу и надевать калоши. Одеваясь, он еще раз обратил на меня внимание и спросил:

— А семинарист — здесь останется?

— Нет, в[аше] пр[еосвященство], он поедет же, — отвечал отец мой.

Еще раз благословивши всех и давши приказание, чтобы священники ехали за его экипажем и никому не извещали, никого не тревожили в городе, преосв[ященный] вышел. Священники пошли провожать его, а я остался в комнате. Вдруг, уже севши в карету, он спросил Добролюбова. Отец мой подошел к карете. «Не вас, сына вашего», сказал он, и все трое побежали в комнату за мной. Вероятно, потому, что преосв[ященный] хотел ехать вместе с ними, им представилось, что он хочет посадить с собой меня!.. Меня начали одевать на скорую руку, а Лебединский раз двадцать повторил мне: «смотри же, ничего не говорить, — ни худого, ни хорошего!... Молчание — первое условие, иначе беда всем будет!.. Смотри же, молчать, говорить как можно осторожнее». Страшный испуг выражался в его лице и голосе. Да я и сам испугался почти так же, как он. Бегом прибежали мы к коляске, и так как мне сказано было, что мне нужно ехать с преосв[ященным], то я хотел было уже влезть в карету. Но мой отец счел за нужное сказать сначала: «Мой сын здесь, в[аше] пр[еосвященство]. Что изволите приказать?..» Пр[еосвященный] нагнулся немного ко мне и сказал: «Чтобы быть истинно Добролюбовым, надобно молиться богу... Вот тебе молитвенник!..» и он благословил меня им. Я поцеловал его руку и поклонился. Он прибавил: «Только... за этим я призывал»; я поклонился еще раз, дверцы кареты захлопнулись, и он поехал, а за ним и мы. — Вот первая встреча моя с ним. Как очевидец, я описал все это подробно и ручаюсь за верность.

(18 сент[ября] — третьего дня слышал я, что пр[еосвященного] переводят от нас... Не верю, но если это правда, то мои



заметки не поведут ни к чему, и выйдет совершенная глупость. А жаль: для психолога — преосв[ященный] Иеремия — находка... Однако, стану пока продолжать).

20 сент[ября] 1851 г.

Приехавши в город, он пошел тогда же в свою домовую церковь, выслушал там эктению и потом пригласил к себе в комнаты тех, кто его встретил, и своего эконома, свящ. И. И. Орнатского. Не знаю, что тут было говорено, но замечательна следующая черта: по предложению эконома Орн[атского] он пошел было посмотреть свои комнаты, а свящ[енники] оставались тогда в зале. При этом пр[еосвященный] показал редкую деликатность: посмотревши одну комнату и видя, что гости его не пошли с ним же, он и сам не пошел дальше, а воротился назад, сказавши, что после осмотрит, и занялся с тремя своими посетителями, которых однако держал недолго и отпустил, сказав, что пора успокоиться.

Прямо от пр[еосвященного] прот[оиерей] Лебединский заехал к нам, чтобы посмотреть, что подарил мне преосв[ященный]. Но он не застал меня, пот[ому,] что я в тот же вечер пошел показать и рассказать все к моей тетушке и к одному из учителей моих — Л. И. Сахарову <sup>1</sup>.

В пятницу, 16 февраля, преосв[ященный] служил в соборе обедню, и в этот же день у него обедали все присутствующие консистории, два архимандрита наших <sup>2</sup> и инспектор семинарии, иер[омонах] Паисий. Тогда еще дивились, почему не был на обеде благочинный П. И. Лебедев, и упоминали что-то о вмешательстве Лебединского, но я тогда не вслушался в это... За обедом пр[еосвященный] рассказывал, между прочим, историю несчастий одного сына, пошедшего против воли отца, и, обратясь к моему отцу и еще георг[иевскому] св[ященнику] И. А. Грацианову, заметил им: «скажите это своим детям и внушите им, как должно повиноваться родителям».

Кроме того, за обедом говорил он о хохлах и утверждал, что это самый глупый, самый бестолковый, самый негодный народ. При этом он вдруг обратился к нашему ректору Аполлонию и сказал: «Ах, извините, о[тец] ректор. Ведь вы тоже, кажется,

<sup>1</sup> Преподаватель естественной истории и сельского хозяйства. Под его руководством Д-в и другие воспитанники семинарии летом 1850 г. собирали коллекции растений и насекомых.

<sup>2</sup> Вероятно, ректор семинарии о. Аполлоний и помощник инспектора о. Антоний.



малоросс»... Ректор, говорят, ужасно тогда взбесился... Тут же говорил он, что хорошо знаком и даже дружен с архим[андритом] Серафимом, который был у нас в семинарии прежде ревизором и остался недоволен Аполлоном. Многие приняли это за намек, довольно колкий, нашему ректору, тем более, что преосв[ященный] много хвалил достоинства Серафима, как ректора семинарии. На этом обеде заметили, что преосв[ященный] воздержан, но вовсе не постник, и все предлагаемое есть и пьет, без отговорок, а равно и других всем потчует.

Sat sapienti.

1853 г. июн[я] 22.

---



## ДНЕВНИКИ

[1852—53 гг.]

1 января, 1852 г.

Вот и еще один год «юркнул в вечность»! И еще год прошел; и еще годом сократилась жизнь моя! Грустно встретил я этот год, которого ждал я, можно сказать, с нетерпением. Много я надеялся на него и от него... Но вот пришел он, и при самом вступлении его надежды мои рассыпаются прахом... Грустно, невесело!.. Тяжелый день провел я ныне. Теперь (12-й час вечера) на дворе «бушует ветер, злится буря, свистит и воет, и бурлит», и это довольно близко к состоянию души моей. Я не сделал ныне ничего доброго и полезного. Встречая новый год, не хотел я спать всю ночь, но в два часа «лег полежать», — не больше, — и задремал, и уснул... А свеча осталась на столе непогашенная, а книга лежала раскрытая. К счастью огарок был невелик, и, вероятно, скоро догорел и погас сам собой. Впрочем, может быть, погасила и няня. Я не говорил об этом ни слова, но целое утро был в каком-то смущении. «Наделал было я дела», — подумал я, проснувшись, и прямо бросился в другую комнату к столу, свече и книге и, найдя все в целости, немало был удивлен и еще более обрадован... Потом я поздно пришел к обедне, простоял у порога, сконфузился при исполнении нелепой фантазии, пришедшей мне в голову, — поздравить в церкви А. И. Ник...<sup>1</sup>, которая мне только кивнула на мое приветствие, и ушел, не удостоив молебна. Потом вздумалось мне идти поздравить мать крестную — Л[изавету] В[асильевну] П[окровскую]; я пошел, встретил сухой прием, проскучал лишние полчаса в жизни, был раздосадован невниманием к себе, получил поруче-

---

<sup>1</sup> Вероятно, А. И. Никольская, жена П. И. Н., препод. инж. дворянского ин-та.



ние, которое потом позабыл исполнить, и не знаю еще — как отделаюсь!.. Дома оскорбил маменьку, но вскоре помирился. В половине 6-го пошел к одному из товарищей, хорошему знакомому, В[алериану] В[икторовичу] Л[авровскому]<sup>1</sup>, просидел там часа два — ни скучно, ни весело, хотя смеялся очень много... Оттуда мне чрезвычайно хотелось, необыкновенно хотелось побывать у постояльцев наших Щ[епотьевых]<sup>2</sup>, поиграть там с их прекрасными детьми... особенно одна... Там было бы так весело!.. Все это думал я дорогой; но дома, ждало меня достойное заключение этого чудного дня... Нужно было случиться, чтоб у нас в этот день сбежала со двора наша корова... Папенька и так ныне был довольно в худом расположении духа, по некоторым обстоятельствам; но когда сказали ему об этом, он окончательно расстроился, и, пришедши домой, я застал его в крайне мрачном расположении, особенно потому, что это случилось в новый год и, следовательно, предвещало несчастья в будущем, — предрассудок, оказавший однако сильное влияние на папашу. К вящему несчастью мам[аша] с ст[аршею] м[оею] сестр[ой] уехали к А. И. Н[икольской] на вечер, папаша был один, и я должен был подвергнуться неприятностям. Сначала папаша пожалел о корове, побранил заочно работницу, — за дело! — и принялся писать свои дела... Я подумал, что ждать мне больше нечего, взял свечу и пошел к себе в комнату. Но пап[аша] позвал меня к себе и сказал, что «если б я мало-мальски радел отцу, жалел его, если бы у меня хотя немного было мозгу в голове, то я занялся бы этим делом, а не оставил его без внимания, будто мне все равно, хоть все гори, все распропади»... После этого нечего было ждать ласкового слова. Я таки испугался предстоящей сцены, и поскорее по приказанию пап[аши] сошел в кухню и расспросил кухарку об успехах ее поисков, которые были совсем безуспешны. Узнавши это, я в точности донес пап[аше]. Он стал что-то говорить, и вдруг — бог весть как — разговор перешел ко мне, и тут-то я должен был выслушать множество вещей, ко-

---

<sup>1</sup> Лаврский Валерьян Викторович — воспитанник ниж. дух. семинарии и казанской дух. академии, магистр богословия, был преподавателем в самарской и ниж. дух. семинариях логики, психологии, патристики и латинского языка. В 1862 г. принял сан священника. Лаврский друг Д-ва по семинарии. Он написал ряд статей по церковным вопросам. О нем см. „Пятидесятилетие пастырского служения протоиерея сам. каф. соб. о. В. В. Лаврского“. Самара. 1912 г.

<sup>2</sup> Щепотьев А-ндр Иванович — чиновник особых поручений при ниж. воен. губернаторе, редактор „Ниж. Губ. Ведомостей“. Феничка — его дочь, Анна Федоровна — жена. Возможно, что в рассказе Д-ва „Делец“, под фамилией Щекоткина А. Г., выведен Щепотьев А. И.



торых теперь и не припомню в подробности. Но только главный смысл их был таков: «Ты негодяй; ты не радеешь отцу; не смотришь ни за чем; не любишь и не жалеешь отца; мучишь меня и не понимаешь того, как я тружусь для вас, не жалея ни сил, ни здоровья. Ты дурак; из тебя толку немного выйдет; ты учен, хорошо сочиняешь, но все это вздор. Ты дурак и будешь всегда дураком в жизни, потому-то ты ничего не умеешь и не хочешь делать. Вы меня не слушаете, вы меня мучите; когда-нибудь вспомните, что я говорил, да будет поздно. Может, я недолго уж проживу. От таких беспокойств, тревог и неприятностей поневоле захочешь умереть; лучше прямо в могилу, чем этак жить. Ничего в свете нет для меня радостного; нигде не найду я отрады; весь свет подлец; все твои науки никуда не годятся, если не будешь уметь жить. Умей беречь деньги; без денег ничего не сделаешь; деньги — ох! — трудно достаются; надо уметь да и уметь приобретать их; как меня не будет, вы с голоду все умрете; никакие твои сочинения тебе не помогут!.. Из тебя ничего хорошего не выйдет; хило-нило, хило-гнило; немного в тебе мозгу; а еще умным считаешься». Все это, на разные манеры повторяемое, я слушал от 8 до 11 часов, — ровно три часа... Каково это вынести? Не в первый и не в последний раз слышал я эти упреки, но, ныне они особенно были тяжелы для меня. Они продолжались три часа; произносились не с сердцем, не в гневе, но очень спокойно, только в необыкновенно мрачном и грустном тоне. Я не видел никакого повода к такому обороту разговора, хотя большею частью и признавал относительную справедливость высказываемых замечаний. Но все это ничего бы: особенно поразили меня упреки в нелюбви, нерадении к отцу, пророческие слова о том, что из меня ничего не выйдет; всего же более эти жалобы на свои труды и беспокойства, на то, что недолго ему остается жить. Я чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако мне не хочется верить, и я не смею верить этим словам. Но когда пап[аша] говорил, я не смел, я не мог произнести ни одного слова, если он сам не спрашивал меня: «так ли?» — на что я отвечал только: «так-с»... Я бы нашелся, что сказать, но у меня не доставало духу говорить... Не понимаю, что это такое. А пап[аше] это, видимо, неприятно... Но что же делать? Не так, не так надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, победить это чувство приличия пред родным отцом, будто с чужим, смирить эту недоверчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота... Впрочем, что винить пап[ашу]? Я виноват, один я причиной



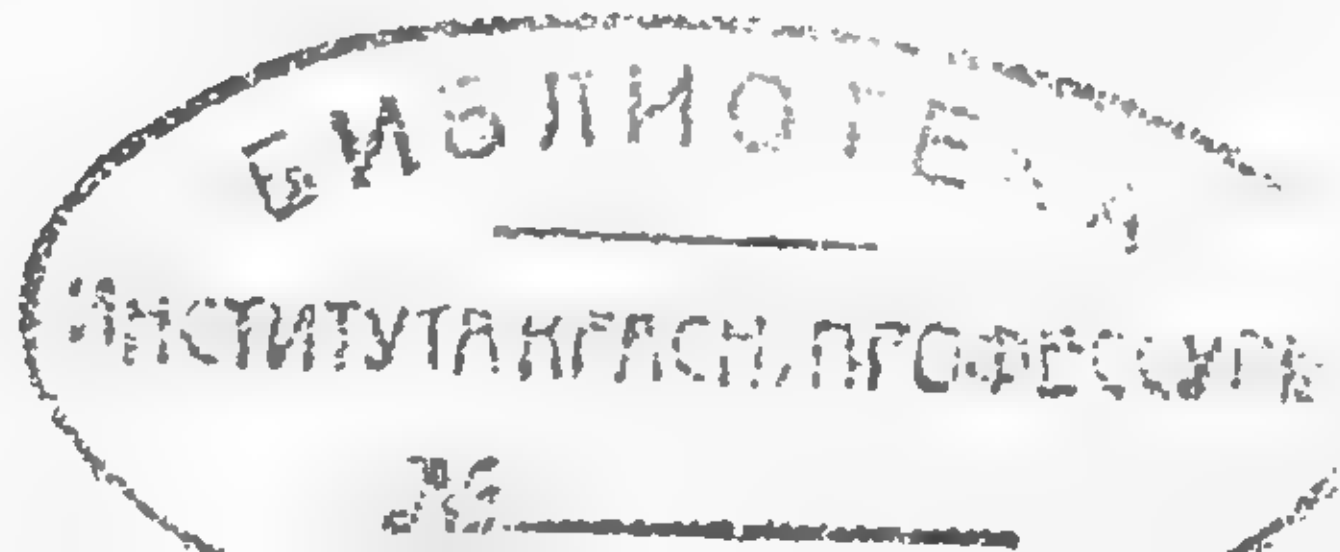
этого. Должно быть, я горд, и из этого источника происходит весь мой гадкий характер. Это впрочем, кажется, у нас наследственное качество, хотя довольно в благородном значении... Однако чудный денек? Все так встречают новый год? Не правда ли?.. Можно повеселиться!..

8 января, 4 часа утра.

Вот неделя прошла нового года, а я еще только раз открывал мой дневник. А все эта неотразимая лень, сильная своей «энергией слабости». Она даже уверила меня, что в эти дни нечего было записывать, и еще когда-нибудь уверит, что в моей ничтожной жизни вовсе нечего записывать, и потому дневник мой надобно прекратить... Но прежде, чем сделать это, я спешу, — тем более, что опоздал извиниться перед новым годом за мои несправедливые нарекания, которые я делал ему в стихах и в прозе. Право, он вовсе недурен для начала. Год, как год. Ничего особенно страшного. Немножко, правда, холоден: градусов 20 и выше, со 2 или 3 числа, стоит постоянно... Но это еще не великая беда. Однако не мешает припомнить что-нибудь по порядку.

2-го ч[исла] в среду корова нашлась. Пап[аша] успокоился, был очень весел, но за обедом все-таки, — не помню, по какому поводу, — повторено мне было извлечение из вчерашнего нравоучения, с особенным ударением на то, что во мне мозгу нет, и с приполнением таковым, что, дескать, напрасно я написал огромную задачу, где напорол множество чухи, а между тем своего дела не знаю. Нужно сказать здесь, что перед рождеством я написал сочинение о мужах апост[ольских], листов в 35, опустил при этом несколько казенных задач, и уже несколько раз мне доставалось за это... В этот день вечером ходил я к Ник[ольским], относил книгу — Письма Святогорца<sup>1</sup>, взял 2-ю часть их же; слышал там, что у них в тот день был преосв[ященный]. Я спрашивал, не говорил ли он чего о пап[аше], но сказали, что ничего не поминал. Когда я, пришедши домой, сказал об этом пап[аше], он сказал: «ну, уж от Н[икольских] не жди добра, опять чего-нибудь напутают, наговорят. Все зло, ежели я что получил, так от них»... Вот подозрительность! Вот преувеличение! Жаль, что пишу я эти слова... У Н[икольских] видел я, между прочим, madame, приставленную к детям, Н. Л. Наз... Это что-то новое для меня. По романам я представлял гувернантку

<sup>1</sup> „Письма Святогорца к друзьям своим о св. горе Афонской“, составил иеромонах Серафим., 2 чч. СПб. 1850.





именно таким несчастным существом, как ее описывают; но это совершенно другое дело! Она жеманится, важничает, жалуется на угар, сердится, говорит: «я не могу», «я не хочу»; а ей все смотрит в глаза, все за ней ухаживает, все ей кланяется. Мне кажется, она весь дом заберет скоро в свои руки, если уж не забрала.

Пришедши домой, я застал у нас В. И. Д[обролюбова], моего дядюшку, который забежал к нам на минутку, чтобы сказать, что он женится... Каких, подумаешь, глупостей не взбредет на ум человеку от нечего делать... Вот три года он на службе, и два года с половиной собирается жениться. Надо заметить, что ему 21 год, и он получает 700 или 800 жалованья... Человек, напыщенный сознанием собственного достоинства, и на знати ни по знати, засылающий свах, там, где бы надобно предварительно познакомиться, войти в дом, познакомиться с собой и сделать самому предложение, как обыкновенно ныне водится...

3 янв[аря]. В четв[ерг] была у нас — «ангел мой! Христос с вами! душка мой! ангел мой!» — К[атерина] П[етровна] З[ахарьева]. Странная женщина!.. Нежна до приторности, чувствительна до обидчивости и слезливости, деликатна до сентиментальности. Словечка в простоте не скажет: все с ужимкой... Раз я играл с ней в карты... Возможности нет! Только и слышишь: «позвольте мне спашевать»... или: «Николичка! ангел мой! будьте так добры, — передайте мне прикупку»... или: «а мне повистовать позвольте?»... И все с такой раздирающей душу приторно-жеманной гримасой, таким рассыпающимся нежным голосом, с такой кисло-сладкой улыбкой, что я едва удерживался, чтоб не воскликнуть: прошу тебя, не мучь меня!.. Часто она пишет письма к папаше, такие же, как и она сама; так и веет от них К[атериной] П[етров]ною, как от аптеки лекарствами. Признаюсь, и впечатление они на меня производят такое же, как аптека. Начинает она обыкновенно очень романически, например: «Хижина в селе Борцове», — так называет она свой господский дом.

16 января. (Вот как я ленив! Когда я дописал этот лист, под рукой не было другого. — Я поленился встать и вынуть его, и таким образом провел больше недели!.. Каково?..)

Папашу обыкновенно зовет она в письмах вместо — милостивый государь такой-то — «всегда благородный и никогда незабвенный духовник мой!..» или: «всегда мне милый! благодетель мой!»... Кроме того, в конце или в начале каждого письма обыкновенно пишет: «целую драгоценные ручки ваши и детей-ангелов целую». Весьма приятная и очень образованная женщина!.. Впрочем мне еще придется поговорить о ней... Она обещала при-



слать мне книгу — «Апостолы», по духу очень похожую на нее. На другой день я получил эту книгу и прочитал уже. Дрянная книжонка какого-то г. Яковлева, впрочем очень хорошая для подобных К[атерине] П[етровне] З[ахарьевой]. Может быть, автор на них и рассчитывал.

4 был я у Л[еонида] Ив[ановича] С[ахарова]. Заговорили о Н. А. В., отправившемся в нынешнем году в университет, и Л[еонид] И[ванович] сказал, что он пишет к нему, что экзамен сдал хорошо и легко, что заниматься там легче, чем даже в семинарии. А уж чего легче заниматься в семинарии. Я нисколько не занимаюсь, и все-таки из первых не выхожу. Я сказал, что и мне хотелось бы поступить туда же. Л[еонид] И[ванович] даже обрадовался этому, очень охотно стал со мной говорить об этом, сам вызвался написать к Н. А. о моем желании и сказал даже, что «он (то-есть Н. А.) и программой может послужить». Кроме того, он давал мне несколько советов, как вести себя в семинарии, чтобы успеть приготовиться и чтобы меня не стали удерживать в семинарии, и еще сказал: «нет ли из ваших прихожан кого-нибудь знакомого с Погодиным? Он может одним благосклонным словом сделать для вас многое». Это надо принять к сведению. Мы разошлись, и Л[еонид] И[ванович] сказал, что мы еще об этом потолкуем... Но после я был у него раза два, и нам еще «потолковать» не удавалось... Впрочем с тех пор я начал серьезно об этом подумывать. Главное затруднение теперь в том, что я плохо знаю языки: латинский довольно хорошо, греческий плохо, немецкий — еще хуже, а французского вовсе не знаю. А учителя для меня теперь нельзя нанять, потому что я учусь на фортепиано, а платить двум учителям вдруг тяжело... Впрочем с чего можно, я готовлюсь.

5-го числа был я у Ник[ольских], отнес вторую часть писем Святог[орца], — очень хорошая книга, вторая часть хуже 1-й — и взял первый том истории Карамзина, за которую еще и доселе не принялся. В сочельник за вечерней я увидал какого-то гимназиста: лицо очень мужественное, прекрасное и благородное. Хотелось бы узнать, кто это, и, если можно, познакомиться. В этот же день от верн[ых] людей услышал я, что у Ив. Ив. Леб[единского] был сговор дочери с см[отрителем] печ[ерского] уч[илища] С[тепаном] А[лексеевичем] Д[оброгворским], но после узнал, что это неправда, что он только еще сватает, но торгуется в приданном. Иные говорят — просит он 5 000 р., а дают 1 500, иные же уверяют, что просит 3 000, а еще иные утверждают, что просит 7 000, а дают 5 000. Пришедши от вечерни в сочельник, я имел случай отнести к Щ[епотьевым] св[ятую] воду,



которая прислана была из церкви с нашей Афр[осиньей], видел Ф[еничку] — все такая же хорошенькая. В крещ[енье] была у нас А[нна] Ф[едоровна], говорила со мной о книгах, хвалила Полину Бутлер, Ветку фуксии, Семейную тайну, бранила Вечного жида, Парижские тайны, Мертвое озеро, восхищалась Тремя мушкетерами <sup>1</sup>. Видно образование женщины, получившей это образование из романов же!... Она взяла у меня книжки Отеч[ественных] Зап[исок]. Вечером я ходил к ним, отнес взятую у них V часть ист. нар. и взял XI-ю. А[нна] Ф[едоровна] уже прочла Оливера Твиста <sup>2</sup> в О[течественных] Зап[исках] и говорит, что в нем нет ничего хорошего. Старшие барышни спали. Они, говорят, ложатся в 9, и встают в 3 часа псутру, для учения уроков. Это очень жаль — для меня.

21 января.

7-го числа был именинник И[в.] А[л.] П., и еще за несколько дней убедительно звал нас к себе. Повечеру в этот день, часов в 6, я пошел к нему один, потому что мам[аша] отказалась... Но только я вышел за ворота, как навстречу мне попался пап[аша], ехавший на лошади домой. Я воротился; и потом решили, после некоторого несогласия и упорства со стороны мам[аши], что прежде я от'еду на этой лошади, а потом и они, т.-е. пап[аша] с мам[ашей], приедут, может быть. Я приехал туда... И[в.] А[л.] П. живет в доме Ф[австы] В[асил.] Б[лагообразовой], моей тетеньки... Приехавши туда, я вошел прямо в комнаты тет[еньки], а не к И[в.] А[л.], и увидел там madame с mademoiselles Leb[edinsky]. Странное обстоятельство, подумал я. И[в.] А[л.] живет у тет[еньки] на хлебах, он не имеет с Леб[единскими] никакого знакомства; еще накануне говорили, что у них никого не будет посторонних, и вдруг в его именины... Впрочем меня это не так много заняло. Истинная трагикомическая сцена началась с при-

---

<sup>1</sup> По поводу драмы Е. П. Растопчиной „Семейная тайна“ Д-в писал „Неужели в лакейской гр. Раст[опчиной] сидят сентимент[альные] па стушки а в гостиной собираются лакеи?.. Интерес самый натянутый“. О „Парижских тайнах“ Е. Сю, прочитанных в апреле месяце, сказано следующее: „Очень занима[тельно]. Но чересчур пересоленная. Характеры б[ольшую] ч[астью] изуродованы. А все-таки очень хорошее сочинение“. „Мертвое озеро“ роман Некрасова и Станицкого (псевдоним А. Я. Панаевой-Головачевой), печатался он в 1851 г. в Современнике. О нем Д-в отзывается: „Превосходная вещь“, „Прекрасный роман“. Больше понравилась часть, помещенная в № 4 Современника. „Эта часть М. О. особенно хороша“, отмечал Д-в. См. рукописный „Реестр книг, читанных мною в 1852 г.“ и „Реестр“ 1851 г. „Временник Пушкинского Дома“, 1913 г., СПб, стр. 44.

<sup>2</sup> Роман Ч. Диккенса.



ездом п[апаши] и м[амаши]. П[апаша] по изв[естным] отн[оше-  
ниям] имеет весьма основательные причины бояться, как ножа  
вострого, этих Лебед[инских]. И вдруг, неожиданно-негаданно,  
явились перед ним эти интересные дамы. Слава богу, что еще  
«самого» не было! Описывать встречу их нечего, нужно только  
заметить à propos, что Леб[единские] поздоровались с ними, как  
самые искренние приятельницы, даже больше — почти как род-  
ные. Мам[аша] должна была сидеть с ними и заниматься прият-  
ными разговорами. Но пап[аша] и я ушли к Ив. Ал. — именин-  
нику, — и потом, через маленького Вол[одю]<sup>1</sup>, который тоже  
был с нами, довольно тонко, но, кажется, понятно для них,  
объявили, что мы приехали к имениннику, но они нам помешали.  
Вообще пап[аша] умел показать им свое невнимание; я также  
не смотрел и не обращал на них внимания, только гораздо с мень-  
шим успехом, так что от этого только мне становилось как-то  
неловко. Скоро п[апаша] и м[амаша] уехали, а я остался и ужи-  
нал у И[в.] А[л.], причем за столом мне казалась крайне не-  
уместной излишняя веселость моего двоюродного братца, М[и-  
хаила] И[вановича] Б[лагообразова]. На его нахальные шутки  
я довольно спокойно отвечал очень пристойными, — хоть и не  
совсем острыми, — остротами, и непременно с ним поссорился  
бы, если бы он был несколько в менее веселом расположении  
духа. Я же, напротив, — в этот счет был очень недоволен как  
потому, что Леб[единские] мои личные враги, так и потому, что  
дурное расположение духа, в которое пап[аша] приведен был их  
появлением, высказалось отчасти и на мне.

8-го ходил я в сем[инарию], и все было очень неудачно. Не  
помню теперь, на чем именно, но помню, что на чем-то я все  
резался, как в 7-м (у А. И. Л.), так и в 8-м № (у Н. А. Н.).  
В этот день слушал я в сем[инарской] церкви молебен перед уче-  
нием, заметил, что о. П[аисий] служить не умеет, очень много  
был облит водой от о. А[нтония] с приговором: «будет с тебя,  
будет»... Остряк, чудо какой остряк! И в монахах такой же, как  
в мире! Мне кажется, он и на том свете острить не перестанет...  
В этот же день, при выходе из церкви о. П[аисий] сказал нам,  
что отец ректор Ф[еофил]<sup>2</sup> С. в дороге... А между тем он и  
до сих пор не приехал! После молебна заходил к Л. И. С[аха-  
рову], но уже ничего не разговаривал об университете. Услы-  
шал от него, что о. А[нтоний] представлен в ад'юнкты о. рек-  
тору по кафедре богословия, и что при этом случае пр[еосвящен-

<sup>1</sup> Очевидно, младший брат Н. А. Д-ва.

<sup>2</sup> Архимандрит Феофил назначен ректором ниж. дух. семинарии в 1851 г.



ный] Иер[емия] то сам старался, то не соглашался представить его, и что о. ректор Ф[еофил] прислал сюда две б у м а ж к и, — одну частную к о. М., где делается колкость арх., и другую — официальную в сем[инарское] прав[ление], где делается род выговора сем[инарскому] прав[лению]. Это оч[ень] хорошо. Кстати о ректоре: как-то еще прежде, т.-е. на этих же днях, читал письмо ст[удента] М[осковской] д[уховной] а[кадемии] М. А. К. к брату его И. А. К.<sup>1</sup>, где он пишет, что ректор сначала покажется строгим, но потом будет лучше; что он очень любит порядок и, заметивши что-нибудь не в порядке, до тех пор не успокоится, пока не исправит всего, как ему хочется; по временам бывает вспыльчив; любит хороших учеников, показывает им свое благоволение; телесному наказанию подвергать (т.-е. сечь!) не любит, а если не видит в ученике надежды к исправлению, то уже прямо прогоняет его из семинарии. Хорошо, если так. Впрочем, я, вероятно, буду еще иметь случай поверить все это. Только что-то долго не едет он: это меня беспокоит (немного).

9-го опять ходил я в сем[инарию] и на этот раз удачнее первого. С А. И. Л. я поговорил что-то очень интересно... В комнате Н. А. Н. (с которым я впроч[ем] знаком) я встретился с В. И. С. и выдержал следующий разговор, дающий некоторое отрывочное понятие о его гениальном уме.

Я сидел в 7 № с братом этого В. И. С. — Дм. И. С.<sup>2</sup>, — замечательный эксцентрик. Вошел тут же и В. И., поздоровался со мной и начал с обыкновенного у бурсаков вопроса:

— Чай, все занимались в святки-то, Н[ик.] А[лекс.]?

— Как же, — отвечал я каким-то неопределенным тоном...

— Да как же — без этого нельзя, понес обычный бред мой философ, — Д. И. С.

— Ну, да, ведь я знаю, понимаю, — отвечал В. И. — Я затем и спросил, что это вещь известная...

— Так, зачем же и спрашивать, — сказал я, — если ответ известен.

— Да так, — заговорил В. И., думая блеснуть светскостью. — Я не знал, об чем спросить Н[ик.] А[лекс.], а завязать разговор надо было. Вот и взял вещь очень обыкновенную, чтобы хоть что-нибудь сказать...

---

<sup>1</sup> Михаил Алексеевич Костров и Иван Алексеевич Костров. М. А. К. будучи ниже семинаристом, подготовлял Д-ва в духовное училище. Женат на сестре Д-ва.

<sup>2</sup> Дмитрий Иванович Соколов. О нем Д-в вспоминает в письме к Лаврскому от 25 авг. 1853, прося передать С. сведения о мед.-хир. академии.



— Притом же, — дополнил я, — тут представляется случай поймать меня...

— Нет, не-е-ет, — возразил тоном убеждения В. И., — я не думал, чтобы вы могли принять слово «заниматься» в его тесном значении.

— Вопрос так странен, — заметил я на это, — что поневоле примешь его в тесном значении.

Д. И. засмеялся, а В. И. спросил с легким оттенком иронии: — Неужели странен?

14 февраля, 1852 г.

(Мне сильно хочется бросить этот дневник, или, правильнее, месячник, но я все еще стараюсь противиться искушению).

— Очень странен в том смысле, в каком вы его предложили, — ответил я, и закончил разговор, занявшись с кем-то другим.

В. И. ответил только той полуулыбкой, полугримасой, которой обыкновенно умные люди стараются прикрыть неприятное чувство.

Признаюсь, как ни мелочно подобное обстоятельство, но мне приятно было одержать в нем верх над этим гениальным человеком, по единодушному признанию всей нижегородской семинарии. Так вот какими лучами светит это светило, подумал я!..

В классе встретился я с Лаврским... Отбросив дверь в класс и увидя там несколько учеников, я сказал: а, да здесь, кажется, люди есть.

— Или уж вы нынче и людей-то не видите, — вдруг услышал я у самого уха. Это говорил Лаврский. Теперь я не нашелся ответить, и вместо ответа только поздоровался с ним, а потом и с прочими. Признаюсь, если б я не знал, что он столько же близорук, как и я, я бы не на шутку обиделся этой шуткой.

Просидев до 10 часов и не дождавшись ничего, мы с Л[аврским] решились идти домой. Но предварительно я решился спросить П. В. Л., очередного старшего, можно ли отправляться домой. Он принял на себя чрезвычайно важную осанку, как прилично старшему, и, как на мальчика, закричал на меня, что «нет, нет, никак невозможно, надобно дожидаться, хоть до двенадцати часов!..». Оскорбленный его неуместной важностью, я мало обратил внимания на эту галиматью и все-таки отправился с Л[аврским]. На дороге попался нам А[ндрей] Е[горович] В[остоков], наш профессор. Он ехал на лошади, но, увидя нас, остановился



и махнул нам. Мы подошли, поклонились. Я хотел тут же надеть фуражку, но увидел, что Л[аврский] стоит без оной, и удержался. Скоро, однако, А[ндрей] Е[горович] сам велел нам надеть шапки. Он спросил нас, есть ли классы. Мы сказали, что доселе не было, и, кажется, нынешний день не будет (их точно и не было). Потом Л[аврский] еще что-то поговорил с А[ндреем] Е[горовичем], и вдруг тот, вероятно, желая сказать какую-нибудь любезность, обратился ко мне и сказал:

— Ну, прислал ты мне... кипу...

Дело шло о моей задаче, которую я принес к А[ндрею] Е[горовичу] и, не застав его дома, отдал жене его. Я отвечал довольно резко:

— Я не прислал, а сам принес.

— Да, ну, без меня оставил, все равно, — сказал А[ндрей] Е[горович] и прибавил: — извини, что я не так сказал.

Видимо — он обиделся... Я мало тужил об этом, хотя дорогою Л[аврский] и давал мне наставления, что это не годится, что он так и сельскому свящ[еннику] не сказал бы...

Дома все было хорошо.

10-го, не предполагая, что будут серьезные классы, я пошел в сем[инарию] часам к 9-ти. Пришел, а у нас уже сидит А[ндрей] Е[горович] в классе. Я не пошел на первые часы, а ушел в комнату к А. И. Л. и там пролежал, читая Апостолов. В 10 часов я просил П. В. Л. вычеркнуть меня из журнала, и он согласился, с привычной важностью и покровительственным тоном... Подлый дурак или глупый подлец!.. В этот день я начал терять надежду, что И. М. С[ладкопевце]в<sup>1</sup> будет учить у нас немецкому языку.

Потом ничего не помню до 14-го числа, в которое был у нас А. А. С., св[ященник] соб[ора], переведенный труда от п[ечерского] у[чилища]. Он сказал нам, что у И. И. Л[ебединского] действительно сватает дочь С. А. Д[обротворский], но что они еще торгуются... Он дает 1 500 ас[сигнациями], а жен[их] просит 1 500 серебр[ом]... А между тем моя тетушка, оч[ень] хорошо и близко знакомая с Л[ебединскими], спрашивала их об этом деле, и они сказали, что удивляются, с чего берутся эти слухи о сватовстве. В этот же день в 3 часа попол[удни] присылали к пап[аше], чтобы он готовился служить в соборе с владыкой,

---

<sup>1</sup> Сладкопевцев Иван Максимович, как будет видно дальше, пользовался большой любовью Н. А. Д-ва. В тамбовской дух. семинарии он был профессором логики и психологии. Н. Г. Чернышевский характеризует его как человека „достойного уважения и любви“. Оставил статью „Из воспоминаний о Н. А. Д-ве“.



по случаю баллотировки дворянства. Пап[аша] был чрезвычайно рад, и всем, даже мне, сказывал, что его преосв[ященный] назначил служить с ним. Вечер[ом] пап[аша] <sup>1</sup> Ав[ксентия] В[ас.] понамаря к Леб[единскому] известить его, что завтра, 15 генв[аря], будет у нас заутреня в 6 час. и потому и не угодно ли ему будет притти в церковь, если хочет служить заутреню. Это часто случалось прежде, и потому пап[аша] и послал к нему. Приходит Ав[ксентий] В[ас.] и говорит, что И. И. Л[ебединский] велел сказать, что пр[еосвященный] все меняет, кого служить назначил, и что, может быть, пап[аше] служить не велит, что Леб[единский] идет сейчас к преосв[ященному] и если пап[аше] нужно служить, то он повестит, а если не повестит, то чтобы он и не готовился... Пап[аша] ужасно расстроился и начал обычную филиппику против Л[ебединского], сравнивая его с Нероном, тираном и пр. и пр... Правду сказать, впроч[ем] дело очень подлое!..

15-го числа служил с арх[иереем] вместо пап[аши] А. А. В. Мир[ские] св[ященники] и прочие остались те же... В классе у меня все хорошо. С учениками в мире и добром согласии. А[ндрей] Е[горович] все косится на меня, и я отвечаю ему тем же.

16-го (помнится) вздумали мы с пап[ашей] с'ездить в Кунавино, к дяденьке, у которого мы не были целую зиму и который на святках нарочно заезжал к нам, чтобы побранить, что долго не были.

22 фев[раля] 1852 г.

Приехавши туда, мы нашли у них Ф. М. М. с женой, М. П. и наших родных — Ф[австу] В[асильевну] с М[ихаилом] Ив[ановичем] <sup>2</sup>. Встретили и приняли нас хорошо, против нашего ожидания. Меня засадили играть в карты с Ф. М. и М[их.] И[ван.]. Как сел я играть, в первую же игру М[их.] И[ван.] обремизился, и Ф. М. записал за ним консиляцию, несмотря на то, что играли втроем только. Удивленный этим, я спросил: что это, — у вас консиляции разве пишутся?

— У нас все пишется, где нам побольше идет... Мы ведь что... деревня матушка... У нас все по-своему. Деревня — так деревня и есть.

Я был поражен таким заносчивым и обидчивым ответом и вспомнил, между прочим, гордость смирения!.. В. О.

Однако, пробормотав что-то такое, должно быть — в изви-

<sup>1</sup> Очевидно, пропущено слово „послал“.

<sup>2</sup> Благообразовы.



нение, хотя косвенное, я продолжал играть, наблюдая великую осторожность в словах, и по окончании игры — что же? Ф. М. изволил прогневаться на М[их.] И[ван.] за то, что он очень часто повторял: «да, ну же», «скорее», «чего тут думать-то» и пр. и т. п. «Нет, нет, нет, — вы спешите», кричал упрямый старик, и не пустил его играть вторую пульку. Сначала мы принимали все это за шутку, но он начал дов[ольно] громко кричать: «нет, вам некогда, вы спешите», и во избежание соблазна М[их.] И[ван.] отступился от старика, который даже и не извинился потом, хоть бы шутя. Впрочем на вторую пульку сел сначала сам пап[аша] и дяд[юшка], а потом, когда они ушли за каким-то делом, то сел пришедший потом Э. А. В.<sup>1</sup>, другой священник в К[унавине], и я... Следовательно, как бы то ни было, а я поправил первую ошибку...

У Э. А. взял я книг творений св. Василия две части, и жизнь В[асилия] В[еликого], которая у него переплетена отдельно от прочих прибавлений к Твор[ениям] св[ятых] отцов. Все было хорошо. Пап[аша] поторопился оттуда, пот[ому] что дал слово мам[аше] приехать домой пораньше. Действительно, — в девятом мы выехали оттуда, и в десять были дома. Но у нас есть очень хорошие часы, которые постоянно бывают впереди и которые на этот раз ушли более часа вперед. По этим часам мы приехали в одиннадцатом уже часу, и пап[аша] подвергся от мам[аши] нареканиям, что поздно воротился. Пап[аша] расстроился, не ужинал, кажется, не спал ночь, и вообще все это было очень дурно.

17-го янв[аря] пап[аша] снова назначен был служить с преосв[ященным] и на этот раз служил действительно. Преосв[ященный] же служил в этот день по случаю начатия выборов у купечества; с его стороны, говорят, это очень похвально и выгодно.

В этот же день, пришед из класса, я пошел в двор[янское] собр[ание] на хоры, чтобы посмотреть на выборы. Отыскав там В[асилия] И[вановича], моего почтеннейшего дядюшку, я пошел с ним и долго не мог ничего видеть потому, что сначала не счел за нужное надеть очки, а тут, при таком многочисленном обществе, было совестно. Наконец, пришел ко мне сам В[асилий] И[ванович], и, когда я поведал ему свое горе, посоветовал мне надеть очки, уверяя, что это «ничего», и что тут можно посмотреть на очень хорошенькую форму одного гусара, Мяс... Я послушался, — впроч[ем], когда уже народу стало поменьше, — и

---

<sup>1</sup> Элпидифор Алексеевич.



не раскаялся: воистину, — в очках увидел я новый свет!.. Это, должно быть, очень хорошо, — быть человеком с хорошим зрением!.. Гусар М[яс.] действительно заслуживает того, чтобы посмотреть на него как по костюму, так и по физиономии. Здесь же видел я Mat. и узнал, что он уже не учится в гимназии, а исключился и числится на службе в двор[янском] собр[ании]. Сколько можно было видеть, я смотрел, — и любовался Львом А. Фост[иковым] <sup>1</sup>. Как он хорошо держит себя: именно «лев», в фешьюнабельном значении этого слова!.. Да, хорошо, что я очки надел... Здесь пробыл я часов до трех, и в класс после обеда уже не пошел.

17 июня.

Пора возобновить забытый мой дневник, излить в нем новые живые впечатления, которые я ныне получил. Да, — это стоит того, чтобы записать, и я займусь этим теперь же, пока еще не прошел первый пыл моего восторга, который, — надо заметить, — проходит необыкновенно скоро. Оставляю все свои воспоминания и заметки: теперь не до них; когда-нибудь в другое время. Я слишком занят настоящим. Нынешний день я познакомился с Ив[аном] Мак[симовичем] Сладкопевцевым, — давнишнее мое желание и цель, к которой я стремился с пламенной ревностью, но которая никогда бы не была, вероятно, достигнута без особенно счастливого стечения обстоятельств. Вот в чем дело. Ив[ан] Макс[имович] после пасхи нынешней стал учить у нас немецкому языку вместо Порфирия А[сафьевича] <sup>2</sup>, который отказался по случаю определения своего в попы к Покрову. По этому случаю Ив[ан] Макс[имович] немного узнал меня, особенно потому, что он уже познакомился с пап[ашей] на свадьбе (у Лебед[инского], у которого таки взял дочь С. А. Д[обротворский]). Потом женился товарищ и бывший друг Ив. М[аксим.]<sup>3</sup>, А. А. Крылов <sup>3</sup>, и взял дочь гордеевского священника, в которой-то степени родственницу моей тетушке В. В. К[олосовской]. И[ван] М[аксимович] был шафером; тетушка была на свадьбе: они познакомились. После того как-то И[ван] М[аксимович] был и у них, то есть у моего дядюшки, Л. И. К[олосовского], с тетушкой В. В., и тут-то был разговор обо мне. Тетенька, которой я уши прожужжал И[ваном] М[аксимовичем],

<sup>1</sup> Архитектор ниж. губ. комиссии по дорожным и строительным делам. Звали его Лев Васильевич. Д-в, очевидно, описался в отчестве.

<sup>2</sup> П. А. Владимирский — преподаватель ниж. дух. семинарии.

<sup>3</sup> Вероятно, Крылов А-андр Андреевич, магистр СПб. дух. академии, профессор ниж. дух. семинарии.



сказала ему о моей чрезвычайной привязанности к нему; И[ван] М[аксимович] оч[ень] ловко отклонил от себя это дов[ольно] щекотливое обстоятельство, похвалил меня, заговорил о моих занятиях и сказал даже, что он бы желал со мною познакомиться. Все это было довольно давно, но он с тех пор не переменял со мной своего обращения и на немецких классах не подавал ни малейшего вида, что отличает меня от других. Поэтому я боялся или, лучше, совестился — ни с того, ни с сего итти к нему, и ожидал все, не представится ли случай обратиться к нему, как к наставнику. Но такового не представилось, и я все не был знаком с ним, хотя и пламенно желал этого, т.-е. так пламенно, как только могу я желать, а у меня натура дов[ольно] холодная. Наконец, представился дов[ольно] благовидный предлог, под которым мог я явиться к И[вану] М[аксимовичу] и по крайней мере посмотреть, что из этого будет? Я спрашивал в сем[инарской] библ[иотеке] книгу; мне сказали, что она у Ив[ана] Макс[имовича], что он взял ее очень давно и что я могу попросить эту книгу у него. В самом деле — не было ничего проще, и к кому-нибудь другому я бы, ни минуты не задумавшись, сходил и взял. Но при мысли, что нужно итти к Ивану Макс[имовичу], мне было как-то неловко, как-то боязно, и я все не мог решиться сходить к нему, и вероятно не пошел бы вовсе, если бы не помогли тут особенные счастливые обстоятельства, которые как-то вообще довольно ко мне благосклонны, особенно во всем, что касается внешности. В самое время моего глубокого раздумья, которое обыкновенно начиналось во мне всякий раз, как мне было нечего больше думать, — моя тетушка сообщила мне о своем разговоре с Ив[аном] Макс[имовичем], дядюшка сказал мне о желании его, чтобы я пришел к нему, а с другой стороны И. А. В.<sup>1</sup> как-то сообщил мне, что итти к наставнику и выпросить книгу, взятую им из сем[инарской] библ[иотеки], нет ничего легче, что это делается очень часто и вообще всеми принимается, как вещь самая обыкновенная. Я наконец решился (NB: надо заметить, что г-н Ив. Г. Жур[авлев]<sup>2</sup> прежде отговаривал меня от этого, представляя, что это неловко); но, решившись, просбирался с неделю и наконец ныне зашел к нему почти нечаянно, почти не думая итти к нему. Вот судьба! Впрочем некогда, некогда — спрятать скорее, завтра окончу рассказ о своих похождениях.

---

<sup>1</sup> Вероятно, И. А. Веселовский, товарищ Д-ва по семинарии.

<sup>2</sup> Товарищ Д-ва по семинарии, вместе с ним Д-в поехал в СПб поступать в дух. академию.



[ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА 1852 г.]<sup>1</sup>.

[2 с е н т я б р я].

... пока я не видал ее. Но взошедши в сад и очутившись с ней лицом к лицу, я понял всю глупость затеваемой проделки. В самом деле, не глупо ли пускаться в такие об'яснения шестнадцатилетнему мальчику с двенадцатилетней девочкой? Будь бы у нас пятью-шестью годами больше на плечах, это еще бы куда ни шло!.. Но теперь... смешно... А все-таки я не вдруг решился отказаться от своего замысла. Она была окружена прочими детьми; я постарался отсторонить их всех и остался с ней наедине. Я подзвал ее к кусту крыжовника, поднял нижние ветки и указал ей ягоды, которые она тотчас и начала рвать. А она очень любит крыжовник. Несколько раз хотел я заговорить с ней о том, что было у меня на душе, подходил к предмету и с той и другой стороны, заговаривал потом, что она последний раз уже гуляет с нами по саду, и о том, что она исколет о крыжовник свои хорошенькие ручки; но доводя разговор до «настоящей точки», я вставал на этой точке и не мог продолжать дальше. Своею шаловливостью, резвостью и беззаботностью она более страшила меня, нежели бы могла устроить суровой неприступностью какая-нибудь светская красавица. Притом же эта женская насмешливость, в которой проглядывало даже что-то похожее на презрение, еще более связывала меня и отнимала у меня охоту говорить. Нерешительность моя дошла до отчаяния, и я, не смея просить позволения, просто, без спросу наклонился и поцеловал ее ручку в то время, как она, доставая ягоду крыжовника, приблизилась не-

---

<sup>1</sup> Судя по нумерации страниц этой тетрадки, недостает 2 страниц. Даты в рукописи нет. Этот отрывок написан на особой тетради, отдельно от „Дневника“ 1852 г. Вставлен здесь в силу хронологической последовательности.



сколько к моим губам. Много хотел я сказать при этом, но сумел сказать только очень глупые четыре слова: «ах, как вы рвете-то!» В ответ на это она очаровательно передразнила меня и продолжала рвать ягоды. Потом мы бегали и гуляли по саду, и в ней я заметил уже некоторую ко мне недоверчивость, которая впрочем вскоре рассеялась... Я старался делать ей всевозможные угождения, напевал ей разные вещи, называвшиеся в старину комплиментами, и успех был более, нежели я мог надеяться. Но, увы, то был успех для моего самолюбия, а не для сердца. Она понимала, какую «заднюю мысль» хотел я выразить моими словами, потому, что иногда улыбалась, а иногда с наружной досадой отвечала мне: «перестаньте, пожалуйста», или: «ну, уж вы»... и т. п. Но она оставалась холодна, и не подарила мне ни одного ласкового взгляда, хотя и смотрела на меня во все глаза, — прекрасные черные глаза, в которых так и просвечивалось женское лукавство и какое-то гордое, вовсе не женское, сознание своей силы, своего могущественного влияния... Нагулявшись в саду, пошли к нам пить чай. Я подавал ей чай и принимал у нее чашки и заставлял ее, против ее обыкновения, выпить две чашки вместо одной. Я ходил за ней из комнаты в комнату, говорил ей, что мне ее очень жалко, что я заплачу, что я хочу наглядеться на нее в последний раз, и т. п. глупости; так что, наконец, я успел порядочно надоесть ей. Между прочими шутками она сказала, что нашла для меня невесту. Эта шутка еще не кончена. К позднему вечеру, т.-е. к тому времени, когда нужно было подавать огонь, мы совсем уже помирились, и сели играть в короли. Сыграв игор пять, она скучилась этой игрой, и я, поставив себе за долг исполнять малейшие ее желания, тотчас смешал карты и спросил у ней, как она хочет играть. Она захотела в дураки, и я стал играть в эту ненавистную игру, и она была для меня очень приятна. Да и как же не быть приятною игре, когда напротив меня сидела она, моя красавица, моя жизнь, моя радость, да — жизнь и радость, потому, что когда она уехала, я почувствовал, будто что-то оторвалось у меня от сердца, и я стал жить не так полно, как прежде, и какая-то неведомая мне грусть посетила мою душу, и долго, долго мечтал я об ней...

3 сент[ября].

Вчера вдруг помешали мне писать и остановили в очень быстром скачке моем от «дураков» к грустным моим мечтам, на воей далеко не роскошной постели. Пользуясь свободными ми-



нутами, чтобы еще записать несколько отрадных, хотя и грустных воспоминаний, чтобы поговорить о ней хоть с самим собою, за недостатком другого собеседника, который бы с участием выслушал мои признания. Не могу не записать особенно приятного воспоминания о том, как мне в продолжение вечера еще раз удалось поцеловать ее восхитительную ручку, всегда пробуждающую во мне какие-то странные думы... Она сошла вниз и сидела там, я ждал ее на лестнице... Когда она пошла вверх по лестнице, я шутя сказал ей: «позвольте мне взойти рядом с вами!..» Она также шутя отвечала: «извольте-с»... И мы пошли было, но лестница у нас так узка, что двоим в ряд трудно пройти, и притом я нарочно старался жаться к ней... вследствие чего она и прошла вперед, а я остался позади, держа между тем ее за руку, которую она подала мне, шедши со мной рядом. Когда она была впереди, ручка ее, держась в моей руке, осталась назади у ней... она не видала... и я страстно, с каким-то ожесточением, — надо говорить правду, — поцеловал ее... Она только сказала: «ах, вы...», но руки не отняла... Наконец А[лександр] И[ванович] произнес роковое: «пора», и сердце сжалось у меня, а потом застучало так тоскливо, тоскливо... Ф[еничка] начала одеваться... оделась, стала прощаться с нашими, и я имел счастье почувствовать пожатие этой маленькой ручки, пожатие, которое отдалось как-то грустно и радостно в душе моей. Я проводил их до экипажа... Она села, а я пошел с А[лександром] И[вановичем] в опустелые комнаты их квартиры; затворили там окошки, осмотрели, не забыто ли чего, и наконец и А[лександр] И[ванович] сел в экипаж, — не видал, какой это был, — и я снова, в последний раз пожал руку Ф[еничке], закричал: «прощайте!», услышал в ответ: «до свиданья», и...

Прости, дорогая, прости!..

И вот два дня прошло без них, и я не исцеляюсь от тоски моей, а только все больше и больше грущу и печалюсь. Редко-редко я на минуту забуду о ней, но потом тотчас же снова что-нибудь напомним, или просто сердце само скажется и так жалобно заговорит о ее очаровательной прелести. Я не могу назвать, не могу прибрать имени для этого мрачного, грустного чувства, которое постоянно ощущаю в себе, с тех пор, как расстался с ней. Что-то подобное должно быть, кажется, после смерти близкого или нежно-любимого человека. Какая-то пустота кругом, как будто в мире нет более людей; какое-то безотрадное горе, как будто бы нет более на свете радостей; какое-то отвращение ко всякому занятию, как будто бы все предметы слишком ничтожны, когда не одушевляет их ее присутствие. А ведь случалось же и прежде,



что я не видался с ней не только по два дня, а и по целым неделям, но я все-таки был спокоен: я знал, что она недалеко, у нас в доме, может быть напротив, у окна, что мне стоит сделать несколько шагов, и я ее увижу... А теперь она так далеко-далеко, и я осужден подолгу, подолгу не видать ее восхитительного личика, не слышать ее чудного голосочка, и — увы! — никогда уже не целовать этой очаровательной ручки!.. Боже мой! Где это минутное очарование, этот поэтический призрак, которым я так недавно наслаждался?.. И опять осужден я возвращаться в этом грязном омуте, между этими немытыми, нечищенными физиономиями, в этой душной атмосфере педантских выходов, грубых ухваток и пошлых острот... И ничего в вознаграждение в эту бедственную жизнь, ни одного светлого проблеска ума и чувства в этой тьме невежества и грубости, ни одного отрадного дня за дни и месяцы тоски и горя. А бывало я каждое почти воскресенье наслаждался обществом этого милого созданья и забывал всю пошлость моей всегдашней, обыкновенной жизни... А теперь... О, я сойду с ума или сделаюсь мизантропом, что почти одно и то же, и во всяком случае одно другого стоит... Скорее, скорее... спать пора... Не отнимайте лишнего часа спокойствия у этой животной жизни!..

9 ноября.

О, как она хороша!.. И как идет к ней эта прическа и это белое платье!.. Чудно хорошо!.. А между тем это еще не распутившийся цветок!.. Что же будет через год, через два? И кто будет обладать всем этим? Нынешний вечер я готов был пожертвовать всем моим умом, познаниями, благородством, лучшими убеждениями — за поверхностное образование, пошлую болтовню и развязные манеры светского фата... Нынешний вечер я пожалел, что я так дурен лицом, а это со мной не часто бывает. Наши сношения продолжаются попрежнему... Напрасно я думал, что между нами прервана цепь знакомства: мы видимся чуть ли не чаще прежнего, но все это — не то, что прежде. Не так вольно, не так свободно. Главное, что меня тревожит, — я не могу знать, что у них делается постоянно, и без моего ведома может к ним в дом втереться какой-нибудь милый вор и похитить сердце воровки моего покоя!.. Это меня очень занимает и даже как будто сердце немного ворочается при этой мысли... Из этого я прямо вывожу, что я ревную, и, след[овательно], люблю, люблю, глубоко, хоть и не пламенно, потому что это не в моей натуре.



Я три года наблюдал в себе помаленьку это чувство и вижу по ходу дела, что это даром не кончится. Конечно, тут не будет никогда рыцарской борьбы с обстоятельствами, не будет даже внешних признаков борьбы, но тем не менее мне предстоит выдержать борьбу внутреннюю, неприметную, но жестокую и разрушительную для моих надежд и убеждений. Я имею горестное утешение в том, что понимаю себя с моим еще неустановившимся характером, с моими шаткими убеждениями, с моей апатической ленью, даже с моей страстью корчить из себя «рыцаря печального образа», Печорина, или по малой мере, Тамарина <sup>1</sup>. Знаю, что тут много поддельного, что это просто кровь кипит и сил избыток, что со временем все это пройдет, и я сам буду смеяться над собой. Но все это придет еще нескоро, а до тех пор ничто не помешает мне бороться, страдать и внутренне представлять себя героем нашего времени или по крайней мере романа... Я вижу, что она прекрасна, и при взгляде на нее у меня сердце, как птичка в клетке, запрыгает, и душа просится навстречу ее душе, выражающейся в лице ее... В то же время рассудок уверяет меня, что мне нет никакой надежды, что полюбить меня она не может, жениться на ней мне невозможно, обольстить ее не могу, насиловать в исступлении страсти... но уже это верх безумия во всех отношениях. Насильно... Я очень хорошо знаю все это и, кроме того, знаю, что в жизни встречу я других хорошеньких, которые будут мне более по плечу... Но все это нисколько не мешает мне видеть ее красоту, рваться к ней навстречу, томиться желанием, досадовать на себя и на мою мачеху-природу... и выхожу я такой же дурак, как и все, но только дурак сознательный, дурак весом и мерою, с глупостью рассужденной и обсужденной... Стало быть, мое желание быть пустым светским человеком довольно справедливо. Глупость  $\times$  на глупость = глупость. В проигрыше быть нельзя. А между тем участь светского дурака или умника — как угодно — гораздо лучше участи дурака или умника ученого, кабинетного. Во всяком порядочном обществе пошлый любезник гораздо лучше принимается, чем мрачный ученый, и между тем как первый наслаждается триумфом, гордому таланту с высоты своих умозрений, презрительно взирающему на этот свет, остается только, бессильной злобой пламенея, завидовать счастью глупого болтуна. Впрочем я не знаю, с чего мне вздумалось озлиться: ныне подобных соперников у меня не было, и я был еще награжден милым комплиментом, что я очень хорошо со-

---

<sup>1</sup> Печорин—герой романа М. Лермонтова „Герой нашего времени“. Тамарин—герой повести М. Авдеева „Варенька“.



чиняю... (Надобно заметить, что я написал статейку для газеты <sup>1</sup>, которой редактор — ее отец; каж[ется] это помогает его благосклонности ко мне и доставляет мне случай чаще с ними видеться, пот[ому] что он уверен, что одной стат[ьей] не кончится). Но, кажется, на все эти мысли навело меня неоднократное напоминание о каком-то Nicolas S. Снач[ала] мать ее А[нна] Ф[едоровна] говорила, что шутила с отцом S. о будущей свадьбе дочери с его сыном. Не знаю почему, мне показалось, что шутка могла иметь тайный смысл и со временем исполниться. И я начал придумывать различные препятствия для этого брака и, придумав, несколько успокоился, как будто кроме S. еще и женихов не могло быть на свете. Потом и сама она, Ф[еничка], говорила о нем, сказывала, что пишет ему письма (это чистый вздор: она очень трудно пишет по-мелкому!), и что если она пойдет в монастырь, то и он за нею... Это тоже пустяки, вздор, но очень милая мысль, — пришла ей в голову — идти в монастырь по тому поводу, что умерла старая няня... и с какой важностью она говорит об этом, как выхваляет прелести монастырского житья!.. Мне почему-то досадно на такое положение дел, но я не ненавижу этого Nicolas, а мне просто хочется — с ним познакомиться, да и покороче... Что я стал бы делать дальше, я и сам теперь не знаю. Рассудок — злой советник! — говорит, что я бы его потом постарался одурачить, а остатки прежнего романтизма — самая глупая вещь! — внушают, что я бы сдал ему Ф[еничку] с рук на руки и довольствовался бы тем, что она жена моего лучшего друга, след[овательно] и мой друг. Еще есть советник — очень грубый, чувственный, — который говорит, что я обольстил бы ее и потом отдал дружку... Мудреного нет, что я скорее приму третье, чем второе решение, но первое всего привлекательнее... только жаль — средств нет. Да и к чему? Ей 12, мне 16. Когда ей будет 17, мне будет 21, я только еще кончу курс в ак[адемии], и во всяком случае о женитьбе нельзя думать... Просто овладеть — хоть бы возможно было — совестно, жалко, грустно, не смею... Она возбуждает во мне такое чистое чувство! А уж дальше 17 такие красавицы не засиживаются, а если засидятся, значит есть какая-нибудь особенная причина... Вот как я рассудителен... А между тем я не могу да и не хочу противиться моему страстному влечению, и отдаюсь ее прелестям, без всяких определенных намерений... Сказать правду — я нахожу в этом

<sup>1</sup> Для „Нижег. Губ. Ведом.“ судя по сохранившемуся архиву Д-ва, было написано им три статьи: 1) „Мысли при гробе Козьмы Минина“. 6 ноября 1852 г.—2) „О погоде“. 16 ноября 1852 г.—3) „Благородный спектакль в Нижнем-Новгороде“. 6 января 1853 г.



какое-то удовольствие. Эта безнадежность, столь верно, математически рассчитанная мною, мне нравится, я нахожу в этом что-то особенное, необыкновенное, и мне хочется выставить себя человеком, имеющим полное и законное право ненавидеть весь мир и жаловаться на судьбу. Во мне-таки есть порядочный запас ненависти против людей, — свойство ума холодного, осторожного, подозрительного, — и злопамятности против судьбы — признак сердца сухого, чорствого при всем этом. Я уже сказал, что не могу не чувствовать красоты, и первый взгляд на хорошенькую женщину рождает во мне желание познакомиться с ней, просто для того, чтобы быть знакомым, без всяких расчетов чувственности или самолюбия, хотя невидимо-то, разумеется, тут действует <sup>1</sup>

---

---

<sup>1</sup> На этом слове рукопись обрывается.



## ДНЕВНИКИ [1852—1853].<sup>1</sup>

11 ноября.

Вот и завтра!.. Оно продолжалось до сих пор, и теперь уже поздно описывать подробности моего знакомства с ним<sup>2</sup>, когда оно так неожиданно прерывается. Да, я с ним познакомился, и даже наши отношения достигли некоторой короткости, но я был недостойн этого счастья, и оно улетело от меня. Теперь не будет вокруг меня ни одной души, к которой я чувствовал бы сердечную привязанность (исключая, разумеется, ближайших родных — отца и матери), с которой мог бы отдохнуть в веселом или умном разговоре от пустоты моей жизни... Боже мой! Люди пристращаются к красоте природы, к картинам, статуям, к деньгам, и они не имеют препятствий для наслаждения ими. Все эти вещи могут принадлежать им, быть их неотъемлемой собственностью, если только не принадлежат всем, что также не мешает всякому наслаждаться ими... Чем же виноват я, что привязываюсь к человеку, превосходнейшему творению божью? Чем я несчастлив, что моя душа не любит ничего в мире, кроме такой же души? Ужели преступление то, что я инстинктивно отгадываю ум, благородство, доброту человека и, отгадавши, всеми силами души моей привязываюсь к нему? И за что же наказывать меня, за что отнимать у меня мое счастье, когда оно так чисто, невинно и благородно? Сколько ни имел я привязанностей, всегда злая судьба умчит от меня далеко любимый предмет, и в душе — тоскливое воспоминание и горькое сознание своего несчастья... Я рожден с чрезвычайно симпатическим сердцем: слезы сострадания чаще всех вытекали бывало из глаз моих. Я никогда не мог жить без любви, без привязанности к кому бы то ни

<sup>1</sup> Возобновляется прерванный вставкой „Дневник 1852 г.“.

<sup>2</sup> И. М. Сладкопевцев.



было. Это было так, что я себя ни запомню. Но эта постоянная насмешка судьбы, по которой все мои надежды и мечты обыкновенно разлетались прахом, постоянно сушит и охлаждает мое сердце, и нет ничего мудреного, что скоро оно будет твердо и холодно, как камень. Вот хоть бы и теперь — что вдруг понадобилось Ив[ану] Макс[имовичу] в Тамбове? Чем ему не хорошо здесь? Что за обстоятельства?.. А между тем я страдаю, и еще как страдаю, тем более, что мне этого нельзя ни перед кем выказывать: все станут смеяться. Я бешусь только внутренно и произношу тысячу проклятий... Но какие проклятия, какие слова выразят то, что я чувствую теперь в глубине души моей! Я пробовал все энергические восклицания русского народа, которыми он выражает свои сильные ощущения, но все, что я знаю, — слабо, не выражает... и я попрежнему взволнован, и попрежнему в душе моей кипит и бурлит страшное беспокойство. Я теперь наделал бы чорт знает что, весь мир перевернул бы вверх дном, выцарапал бы глаза, откусил бы пальцы тому негодяю, тому мерзавцу, который подписал увольнение Ив[ану] Макс[имовичу]. Но увы — это ни к чему не поведет, и мне остается только стараться смирить свои бешеные порывы... И еще считают меня за человека хладнокровного, чуть не флегматика!.. тогда как самые пламенные чувства, самые неистовые страсти скрываются под этой холодной оболочкой всегдашнего равнодушия. Если б мне вдруг сказали, что меня исключают из сем[инарии], это не поразило бы меня так, как известие об отъезде Ив[ана] Макс[имовича]. О, как огромно это бедствие, как незаменима моя потеря! С кем теперь могу я провести вечер так незаметно, так счастливо, как с ним! В чьем разговоре могу я отвести душу, забыться от этих мелких неудовольствий, составляющих несчастье моей жизни!.. Я никогда не поверял ему сердечных тайн, не имел даже надлежащей свободы в разговоре с ним, но при всем том одна мысль — быть с ним, говорить с ним, — делала меня счастливым, и после свидания с ним, и особенно после вечера, проведенного с ним наедине, я долго-долго наслаждался воспоминанием и долго был под влиянием обаятельного голоса и обращения... Что-то особенное привлекало меня к нему, возбуждало во мне более, нежели просто привязанность — какое-то благоговение к нему. И точно при всей короткости наших отношений я уважал его, как не уважал ни одного профессора, ни самого ректора или архиерея, словом — как не уважал ни одного начальника. Ни одним словом, ни одним движением не решился бы я оскорбить его; просьбу его считал я законом для себя. Вздумай бы он публично наказать меня, я послушался бы, пере-



нес наказание, и мое расположение к нему нисколько бы от того не уменьшилось... Как собака, я был привязан к нему, и для него я готов был сделать все, не рассуждая о последствиях. За него я стоял горой, и готов был возненавидеть человека, который стал бы доказывать мне, что Ив[ан] Макс[имович] нехороший человек. Но, к счастью, этого никогда не случилось: его любили и хвалили все. Его душа, благородная и высокая, во всех более или менее возбуждала чувство любви и уважения. Но конечно никто не любил его более меня... Я следил за его взглядом, за каждым движением, подмечал каждое изменение его голоса, и все в нем казалось мне совершенным, превосходным... и вдруг, о, боже мой!.. лишиться всего этого, лишиться так внезапно, так неожиданно! Как хотите, но это жестоко, это невыносимо!.. «О, жизнь, жизнь, — говорил он, — чего-то в ней не случается, куда-то не кидают нас обстоятельства!» Но он едет на родину, к друзьям и знакомым, он не оставляет здесь ничего, что бы ему было особенно дорого, — что ему? Побудет там месяц-другой, и позабудет всех нижегородцев, с которыми он не успел еще сродниться... Да и что могло здесь представиться ему интересного, достойного его внимания? Все пошло, глупо, мелко, ничто не удовлетворяет порывов высокого ума, глубоко чувствующего сердца. Но я остаюсь без него, как в пустыне без проводника и товарища, от меня он уносит лучшую половину души моей, так же, как уносит мои лучшие надежды и желания. Нынешний вечер сидел я у него, и чудные, непонятные желания томнили меня... Голова моя горела: мне хотелось — то расплакаться, то разбить себе череп, то броситься к нему на шею, расцеловать его, расцеловать его руки, припасть к ногам его. С грустным отчаянием смотрел я на него, наглядывался, может быть, в последний раз, и никогда еще, казалось мне, черные волосы его не лежали так хорошо, в чудном беспорядке на голове его, никогда смуглое мужественное лицо его не было так привлекательно, никогда в темно-голубых его глазах не отражалось столько ума, благородства, добродушия и этого огня и блеска, в котором выказывалась сильная и могучая душа его. Я мысленно прощался с ним, и сердце мое надрывалось... И вот жизнь наша: были знакомые, в хороших отношениях, души наши сроднились несколько, и вдруг — несколько сот верст расстояния разделяют нас, и мы ничего не знаем друг о друге, и мы чужие один другому, и нет между нами ничего общего... Я даже не могу иметь и последнего утешения разлучающихся — не могу просить от него тех «нескольких строк», которые так жадно получил бы я от него! Не знаю даже, станет ли у меня духу высказать ему,



как я был привязан к нему, высказать хоть сотую долю истины? Господи! Неужто же мы расстанемся, как простые знакомые, которые случайно сошлись и должны разойтись также случайно? О, не дай, господи! Даруй мне силу открыть ему мое сердце и ему внимание выслушать меня и благосклонность принять мои признания не с легким смехом, но хоть с легким чувством!..

19 ноября 1852 года.

Он наконец окончательно простился со мной, кумир души моей, мой идеал, мой добрый гений!.. Коротко и неожиданно для меня было наше прощание, и я не успел высказать многого, что хотел сказать, и только едва успел выпросить у него позволения — писать к нему. Нынче после класса я зашел к нему: нет дома. Посидев у подлекаря в больнице, я опять пошел к нему, опять не застал, походил и побыл еще в больнице и наконец нашел его дома. Он был несколько расстроен, занимался сборами, на меня обращал очень мало внимания и, наконец, напившись чаю, он собрался идти на именины к А. Е.<sup>1</sup> — в последний раз провести вечер в кругу нижегородских знакомых. Я пошел вместе с ним; дорога была оч[ень] неровная и скользкая, ночь очень темная, разговаривать было очень неловко. Однакоже я начал было что-то, надеясь высказать ему очень многое, но вдруг он сказал, что надо взять извозчика, крикнул «извозчик», тотчас же явился какой-то, и только успел я сказать ему: «прощайте же, Ив[ан] М[аксимович]», он пожал мне крепко руку, поцеловал трижды, пожелал бы счастливым, но не так, как он, и сел в сани. Тут я просил у него позволения писать к нему, хоть не отсюда, а из другого места. Он сказал, что ему будет очень приятно, и что отсюда ему будет еще интереснее, «а уж если вы будете в академии, то разумеется»... Потом он еще раз сказал «прощайте», пожал мне руку и скрылся из глаз моих в темноте ночи. — Вот и прощанье наше! Мне чрезвычайно грустно и как-то тяжело на сердце, особенно потому, что я не высказал ему всего, что хотел высказать, и расстался с ним просто, без всяких особенных объяснений. Но я напишу к нему. Подожду месяц, уверюсь окончательно, что мое теперешнее чувство не порыв разгоряченного воображения, не пустая фантазия, не обман сердца, и тогда выскажу ему все, что волнует душу мою. Но чтобы навсегда была драгоценна для меня память его, я даю

---

<sup>1</sup> Очевидно, А. Е. Востоков.



обещание пред своею совестью<sup>1</sup>, . . . . .  
. . . . . я решительно хочу оградиться  
этим воспоминанием, как щитом и покровом... Да и от какой ни-  
зости не удержит образ этого благородного, мужественного, до-  
брого и вполне умного человека... Во мне всегда мысль о его  
достоинствах возбуждала благородное чувство и стремление к  
подражанию, и я с новой силой, с новой энергией принимался за  
дело, и ум мой как будто прояснялся, и терпение возрастало, и  
все существо мое оживлялось и возвышалось, и какое-то свя-  
щенное одушевление разливалось во мне и поддерживало меня  
в моих занятиях. О, как жаль, что я теперь могу жить одним  
воспоминанием, и что не может теперь уже повториться влияние  
его на меня, столько благотворное для меня и делавшее меня  
так счастливым, так веселым, так довольным!.. Прощай — все!..

Нижний-Новгород.  
31 дек[абря] 1852 г.

---

<sup>1</sup> В рукописи перечеркнуто 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> строк. На рукописи сделана рукою Чернышевского надпись: „Эти строки зачеркнуты мною, потому что в них были семейные тайны. Н. Чернышевский“.



## ЗАМЕТКИ

6 января 1853 г.

Отчего люди, у которых в основании характера лежит гордость, обыкновенно так хороши бывают в обществе и так нестерпимы в семейной жизни и вообще с близкими людьми? Вопрос довольно занимательный и не совсем легкий. Немногие замечают этот факт, и еще меньшее число людей стараются раз'яснить его. Все вообще понимают, что существуют такие люди, которые совсем иначе ведут себя в обществе, нежели как дома, но обыкновенно приписывают это просто притворству. Если хотите, здесь есть и притворство, но только притворство бессознательное, притворство, которого не понимает сам притворщик. Посмотрите повнимательнее на подобных людей, — вы заметите, что все они горды во глубине души своей и что эта гордость составляет основу их характера. Основываясь на этом факте, я и говорю, что различие поведения некоторых людей в обществе и в семействе происходит именно вследствие развития в них гордости. Но каким образом она приводит их к такому поведению, этого я уже не умею об'яснить... Можно бы предположить, что гордец, видя, что общества ему не переделать и что здесь нескоро его заметят и оценят, поневоле подчиняется сам его условиям и как бы в вознаграждение за это дома уже разворачивается и показывает, что он сам себе господин. Но против этого говорит то, что и те люди, которые ничем не стесняются в обществе и встречают в нем только почет и уважения, — точно так же дома бывают совсем не те ласковые, веселые, добрые люди, как пред чужими... Можно также думать, что пред чужими гордый человек еще опасается высказаться, думая о своей репутации, о том, «что скажут»; напротив, дома, пред своими, близкими, он без опасения высказывает свои мысли и желания и заставляет исполнять их, зная, что эти люди уже тесно соединены с ним и обыкновенно некоторым образом от него зависят. В пользу этого мне-



ния может говорить то, что гордые люди обыкновенно бывают очень скромны. Но почему же бы гордому человеку более дорожить мнением чужих людей, нежели своих домашних? Почему не опасаться ему, что над ним засмеются и будут упрекать его свои, когда он так боится этого от чужих? А между тем никакие насмешки и брань не спасут от тиранства гордого человека домашних его, и он все так же хочет все подчинить своей воле, так же всем недоволен, и даже еще более раздражается противоречием, тогда как в обществе он обыкновенно молчит и сносит всякую досаду... Еще можно привести то, что в обществе обыкновенно все понятия сглажены и сравнены по одному образцу, и как бы ни был горд человек, но он не может оскорбиться постоянно принятыми приличиями, так же, как не может вносить в них ничего индивидуального, никаких своих требований, если только он сколько-нибудь имеет рассудка. Напротив, дома, с друзьями и близкими, он высказывается уже с своим характером, понятиями, привычками, и тут-то дает понять свою власть и гордость своего характера, по которому он хочет, чтобы его слушали и почитали, а не свои желания выполняли все, связанные с ним близкими отношениями. Это мнение подтверждается тем, что подобные люди дают себя чувствовать не только тем, которые неразлучно связаны с ними или зависят от них, но всем вообще, кто только с ними коротко и тесно познакомится или подружится. Но это применимо только в частности... А отчего же гордые люди менее сердятся в обществе, менее печалются и менее требуют почтения, нежели в домашней жизни, и даже приносят часто в семейство стоны, жалобы и упреки за те огорчения, о которых или <sup>1</sup> промолчали в обществе, только-что получивши их?.. Все это остается неразрешимым, и я решительно не нахожу основательного решения этого вопроса. Может быть, все приведенные причины действуют вместе, но не на всех же и не всегда же! а факт всегда одинаков... Надо об этом почитать о развитии понятия чести у Искандера: он, может быть, наведет меня на какие-нибудь мысли.

19 января.

...Этот старик <sup>2</sup> очень глуп, но тем не менее в этом случае это мнение может выразить мнение людей его времени или, пожалуй, людей и ныне существующих, но старых и отсталых. Внесем же сюда это мнение, отражающее в себе понятия той давно-прошедшей эпохи. Вот какую речь сказал он нам, ни к селу, ни

<sup>1</sup> Очевидно, описка, надо — они.

<sup>2</sup> О. Паисий.



к городу, на классе догматического богословия. «Местоимение «этот» есть испорченное местоимение «тот», чрез прибавление к нему этой д е б е л о й буквы э. Потому склонять его во всех падежах следует, как тот. Тот, та, то — этот, эта, это; те, тех, — эте, этех, и проч... Местоимение «этот» введено недавно некоторыми людьми, имеющими страсть ко всякого рода нововведениям, и бог знает, как могло оно войти во всеобщее употребление, так, что теперь употребляют его даже люди, имеющие вкус и знающие правила языка?.. Недавно еще сильно спорили об этих местоимениях. Журналисты и романисты старались защищать их, а филологи и грамматикеры отвергали их и предлагали: сей, оный и прочая. Тогда, между прочим, на сих, оных, ибо, поелику и подобные частицы было страшное гонение воздвигнуто, их хотели совсем изгнать из изящной литературы. Но, разумеется, основания у этих нововводителей были самые шаткие. Они говорили будто слова: сей и пр. — слова только книжные, не употребляющиеся в живой речи; но, конечно, это не основание. Мало ли у нас пишут такого, чего не говорят. Пожалуй, хотели же ввести новое правописание — писать слова так, как выговариваются. Один даже и грамматику написал, и роман написал по своей орфографии. Но его осмеяли, роман похвалили, а правописание осмеяли и грамматику осмеяли. Так теперь и это: к чему изгонять было эти местоимения, получившие уже свое место в русском языке? Если они и были не употребительны, то ведь потому, что их не употребляли; стали бы употреблять, и вот они были бы в употреблении, как и тот, и этот... Прихоть, желание отличиться чем-нибудь новым!..» И в порыве негодования старик прибавил к этому, с желчной иронией: «И странно, как это могли против слова «сей» восстать! Ведь это слово происходит от французского «сэ», и потому, как все французское, должно быть модное, светское слово!..» Нечего сказать: понятия, убеждения!.. Если кто будет читать эти строки из умных людей, пусть заметит, у кого я учился!.. Эти понятия высказывает мой профессор богословия, архимандрит, педант, — и подобный вздор о разных предметах мне суждено выслушивать каждый день по два часа, в продолжение нынешнего года!!!

24 я н в [а р я] 1853 г о д а.

Сегодня минуло мне семнадцать лет, и потому я хочу написать что-нибудь в моих заметках, или *mémoires*, как я называл их год тому назад. Не знаю, что мне писать здесь, но, по обыкновению моему, думаю заняться рассмотрением прошедшего года в



отнош[ении] ко мне. Но для этого надобно подумать, а я ничего не помышлял об этом до сего часа... Начну с этих записок. Хотя передо мной и нет теперь первых листов их за прошлый год, но я помню ясно, что в тот год я хуже писал: нынче у меня рука тверже, и как-то размашистее пишу я. Во-вторых, я припоминаю, что в начале прошлого года я записал спор свой и поражение В. С.<sup>1</sup>, теперь я иначе смотрю на это, и мне стыдно, что обратил внимание на подобную мелочь... Нынче подобных вещей со мной было уже с десятков, но я не внесу их сюда. Вот другое приобретение, довольно важное. Потом — тогда я все собирался ехать в университет, и между тем ничего не делал; нынче мои предположения определеннее, и я готовлюсь их выполнить. Тогда мне представлялось, что в университете лучше учиться, чем в акад[емии]. Но я считал тогда совершенно излишним думать о том, что будет по окончании курса; теперь я подумал об этом и нашел, что разница между тем и другим самая малая, а между тем сберегается в 4 года около 1 000 р. сер[ебром] — вещь немаловажная. Кроме того, заметно даже мне самому (впрочем это не диво: я люблю наблюдать за собой), что я сделался гораздо серьезнее, положительнее, чем прежде. Бывало я хотел все исчислить, все понять и узнать; науки казались мне лучше всего, и моей страстью к книгам я хотел доказывать для себя самого — бескорыстное служение и природное призвание к науке. Ныне я в своих мечтах не забываю и деньги и, рассчитывая на славу, рассчитываю вместе и на барыши, хотя еще не могу отказаться от плана — употребить их опять-таки для приобретения новой славы. Страсть мою к книгам я не называю нынче влечением к науке, а настоящим ее именем, и вижу в ней только признак того, что я большой библиофил, пот[ому] что я люблю книги, какого бы рода они ни были, и сгораю желанием, увидя книгу, не узнать то, что в ней написано, но только узнать, что эта за книга, какова и пр. Самому чтению какой бы то ни было книги я большею частью предаюсь только для удовольствия сказать себе: я читал то и то; эта, и другая, и третья, и десятая книга мне известны... Поэтому-то я так люблю ныне читать журналы и преимущ[ественно] отдел библиографии и журнальные заметки. Недавно присоединилось сюда и другое побуждение: я читаю иное для того, что это пригодится на приемном экзамене. Далее пока я не простираюсь. Литературные цели мои достигаются пока только записыванием, списыванием и писаньем. Кстати замечу, что в дек[абре] прошлого года послал я 12 сти-

---

<sup>1</sup> В. И. Соколов.



хотворений<sup>1</sup> своих в редакцию Сына Отеч[ества], приняв поэтическое имя Владимира Ленского. Нынче я уже не об'являл никаких требований, — не то что в ноябре 1850 г., когда я просил от редакции Москвитянина 100 руб. сер[ебром], обещая прислать 40 плохих стихотворений. Это давно лежит у меня на совести, и если когда-нибудь выведут меня на чистую воду, то я не знаю, что еще может быть для меня стыднее этого?.. Писал я также три статейки для Ниж[егородских] Вед[омостей], но одну цензор не пропустил, — невиннейшую статью — о погоде; другие две<sup>2</sup>, кажется, сгибли у редактора, по крайней мере я доселе остаюсь для них, т.-е. они для меня остаются, — во мраке неизвестности. Но это все пока вздор; гораздо важнее для меня приобретение некоторых положительных познаний, кой-какой навык — малый — в немецком языке и большая установленность или твердость взгляда и убеждений. В начале прошлого года я как-то все сбивался: хотел походить на Печорина и Тамирина, хотел толковать, как Чацкий<sup>3</sup>, а между тем представлялся каким-то Вихляевым<sup>4</sup> и особенно похож был на Шамилова. Изображение этого человека глубоко укололо мое самолюбие, я устыдился, и если не тотчас принялся за дело, то, по крайней мере, сознал потребность труда, перестал заноситься в высшие сферы и мало-по-малу исправляюсь теперь. Конечно, много здесь подействовало на меня и время, но не могу не сознать, что и чтение «Богатого жениха» также способствовало этому. Оно пробудило и определило для меня давно спавшую во мне и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда, и показало все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых. Я от души поблагодарил Писемского. Кто знает, — может быть он помог мне, чтобы я со временем лучше мог поблагодарить его!?<sup>5</sup>. Нужно заметить еще одно приятное приобретение: я освободился, наконец, от влияния В. Л[аврск]ого. Вообще, степенью моего уважения и расположения к этому человеку я измеряю

---

<sup>1</sup> Списки стихотворений Д-ва см. во „Временнике Пушкинского Дома“, СПб, 1913, стр. 11—27.

<sup>2</sup> „Мысли при гробе Козьмы Минина“, 6/XI 1852 г.; „Благородный спектакль в Н.-Новгороде“, 6/I 1853 г.

<sup>3</sup> Герой комедии Грибоедова „Горе от ума“.

<sup>4</sup> Очевидно, герой того водевиля, о котором Ф. Достоевский пишет в своей статье 1861 г. Под видом Виссирона Вихляева, полагает Д-ий, был выведен Болинский. См. „Время“ 1861 г., V.

<sup>5</sup> „Богатый жених“ печатался в „Современнике“ в 1851—52 гг. В „Реестре“ 1852 г. Д-в записал: 1) „Очень замечат[ельное] произв[едение] нового таланта“. 2) „Читаешь и чувствуешь, что это писано талантом, и талантом не дюжинным. Я решительно полюбил П. за один этот роман“.



мои нравственные и умственные успехи. Было время, — я как-то боялся его: замечал каждое его слово, которое могло иметь отношение ко мне, не смел противоречить его мнениям, любил выставлять себя пред ним с хорошей стороны и пр. Ныне я уже не имею к нему столько уважения, не смеюсь его островам, свободно могу высказывать при нем свое мнение, не боюсь показывать ему свои сочинения, говорить с ним о том, что я делаю, смеяться над тем, чем он восхищается, и уважать то, над чем он смеется. Только еще, как памятник давно прошедшего, осталось во мне желание говорить с ним о моей душевной жизни и удовольствие — пересказывать ему все, что встретится мне смешного. Но надеюсь скоро избавиться и от этого. Чудное дело, как подумать, что значит школьный товарищ. Не сойдишь бы я с ним, — я уверен, что мое развитие пошло бы совершенно иначе. Я-то на него, конечно, не имел влияния, но он на меня — довольно значительное. Не могу еще решить, хорошо или худо было это влияние, но оно состояло вот в чем: он научил меня, по природе серьезного, смеяться над всем, что только попадется на глаза; он заставил меня, человека дов[ольно] основательного и медленного, смотреть на предметы поверхностно, произносить об них суждение, посмотревши только форму и не касаясь содержания; из ума моего он сделал остроумие, из презрения ко многому — насмешку над этим многим, из внимательности — находчивость. Быть может, это мне и пригодится, но теперь это дурно, не говоря уже о том, что от этого страдает теперь мое необ'ятное самолюбие. Но довольно о нем; обращусь к другому человеку, другому знакомому прошлого года, который успел оставить во мне самое чистое, самое сладостное воспоминание. Это Иван Максимыч!.. Я уже писал здесь о моей к нему привязанности. Теперь могу только прибавить, что она не уничтожается с течением времени, как я опасался, а продолжается все так же, как и прежде. Даже теперь я как будто все более и более начинаю понимать его, как будто в отдалении он представляется мне в большем свете, и я лучше могу рассмотреть превосходные черты великой души его. Положа руку на сердце, говорю, что я не знаю никого лучше Ивана Максимыча, без всяких исключений. Великость моей к нему привязанности я могу выразить вот чем. От природы добрый, но нестерпимо гордый, я не отвечаю обыкновенно на оскорбления (разумеется, действительное оскорбление, а не на шутку какую-нибудь или неосторожное слово), но мое молчание продолжается очень надолго, если не навсегда. Точно так же — если я замечу, что меня принимают слишком сухо и презрительно, я перестаю туда ходить и



после того не внимаю уже первому зову. Это у меня случается даже с родными. Но в отношении к Ив[ану] Макс[имычу] я чувствую совершенно не то. И смело говорю, что если б он меня обидел, — если б случилось такое несчастье, — то я заплакал бы от досады на себя, наделал бы кучу неприятностей другим, но ничего худого не подумал бы об Ив[ане] Макс[имыче]. Напротив, я постарался бы заслужить от него прощение в том, что мог заслужить от него упрек, мог довести его до оскорбления, — его, который так великодушен, так высоко-благороден. Если бы он не захотел принимать меня, то я, отложив гордость в сторону, пришел бы к нему со слезами умолять его, чтобы он позволил мне снова наслаждаться его беседой... Многие не поймут в этом ничего, но человек, имеющий в себе гордость, поймет из этого всю великость моей привязанности. А что я не лгу — свидетель в этом совесть моя. Что я не обманываюсь — свидетель мой рассудок, который, кажется, довольно уже окреп и довольно ясно различает ложь от истины, по крайней мере в своей душе. Я хотел еще записать кое-что, но это воспоминание так хорошо, этот предмет так прекрасен для меня, что на нем хочу я окончить нынешний день, с желанием, чтоб и ночью посетило меня во сне мое прелестное видение, мой идеал — в образе Ив[ана] Макс[имыча].

17 февраля.

Запишу нынче вчерашние впечатления; это может мне пригодиться для справок. Вчера приходил к нам П. М. Доб[ровольский]. Он в 1850 г. кончил курс в семинарии, не поехал в академию и до сих пор готовился к поступлению в университет. Все это время жил он у кн. Гр[узинского] и потом у кн. Оболенского в качестве домашнего учителя. Теперь он едет в Москву учиться юриспруденции. Явился он таким франтом, «форсом», как говорят у нас, в очках и с весьма развязными приемами. В самом начале меня поразили книжные выражения, неловко вставленные в живую и пустую болтовню. Но, когда еще он говорил о деле, все было хорошо (он приходил к пап[аше] по делу); говорил об ученьи — ничего; желание выказать себя энциклопедистом по этой части (учоный) понятно для меня, точно так же, как и все его учоные замашки и выражения не превышали моих понятий. Но вот пошла речь о жизни вельмож, о «светских», как он говорил, — и тут мне показался человеком очень moves tones и кроме того даже пустым человеком, который, хотя имеет понятие о внешности «светской», но не имеет породы. Он говорил обо всем, кривлялся и ломался, с великой



непринужденностью, но все это мне почему-то не нравилось. Врал он беспощадно, хвалился своим умом и способностями (что доказывал тем, что он выучивал по 800 француз[ских] слов в день) и совершенно очаровал пап[ашу]. Но я не завидовал похвалам, которые потом пап[аша] расточал ему...

15 марта 1853 года.

Свершились желания! Давно задуманное и жданное исполнено! Что же я так равнодушен, что же так холодно принял известие об окончании моего дела? Или я привык уже к этой мысли, или сомнение, все еще тревожащее меня, препятствует мне радоваться вполне? Или я даже разочаровался?.. Не знаю; я еще не разберу хорошенько своих чувств и мыслей касательно этого предмета. Верно только то, что чувств, мне кажется, совсем нет, а мыслей, непосредственно сюда относящихся, также немного... Однако замечу здесь все, что нужно, и расскажу историю моего дела.

Август и сентябрь прошлого года были бурны для моей душевной жизни. Во мне происходила борьба, тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей ее силе. Конечно, я не проводил ночей без сна, не проливал ведрами слез, не стонал и не жаловался, даже не молился, потому, что подобные выходки не в моем характере, а молиться — сердце мое черство и холодно к религии, а я тогда даже и не заботился согреть его теплотой молитвы. Это самое, вероятно, делало еще тяжелее борьбу мою. Я совершенно опустил, ничего не делал, не писал, мало даже читал... Что-то такое тяготило меня и, указывая на всю суету мирскую, говорило: К чему? Что тебя здесь ожидает? Тебе суждено пройти незамеченным в твоей жизни, и при первой попытке выдвинуться из толпы, обстоятельства, как ничтожного червя, раздавят тебя... И ничего ты не сделаешь, ничего не можешь ты сделать, несмотря на всю твою самонадеянность, и припоминался мне желчный стих Лермонтова:

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой!..

А между тем все дело было очень просто, причины такого состояния очень нехитрые. — Мне непременно хотелось поступить в университет. Папенька не хотел этого, пот[ому] что при его средствах это было невозможно. Но он не говорил мне этого, и представлял только невыгоды университетского воспитания и превосходство академического. Тогда этого рода доказательствами меня невозможно было убедить: я был непоколебимо уверен, что если могу где-нибудь учиться в высшем заведении, то



это только в университете. Но между тем я видел ясно, что для моего отца действительно очень трудно, почти невозможно было содержать меня в университете. Конечно, будь я порешительнее, я бы объявил, что хочу этого, и что проживу там на 50 целковых в год, только бы учиться в университете. Но я не хотел и не мог этого; решительного объяснения не было, а во мне кровь кипела, воображение работало, рассудок едва сдерживал порывы страсти. Счастье или несчастье мое, что у меня нет крепкой воли!.. А то бы наделал я дела. Теперь же случилось так, что, по пословице, сила есть, да воли нет... и все дело окончилось тем, что я раза три поговорил с родными, так грустно и жалобно, с таким отчаянным видом, — который однакож никого не тронул, — походил несколько времени, повеся нос, помурлыкал про себя Кольцова:

Долго ль буду я  
Сиднем дома жить?..

да

Путь широкий давно...

да из Лермонтова:

Не верь себе...

и

В минуту жизни трудную...

да еще из Баратынского:

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...

Жутко было мне тогда; но наконец папенька сказал, что мое желание выполнить невозможно, что тысячу рублей ассигнациями в год он мне определить не может, а меньше нельзя. Больше он слушать ничего не хотел, как ни уверял я его, что половины этой суммы для меня слишком достаточно. И как только сказали, что этого нельзя, я успокоился, потому что добиваться невозможного я никогда не стараюсь. И стихи Гете:

Невозможное возможно  
Человеку одному—

не для меня писаны.

Но при всем том, я не мог помириться с мыслью — остаться еще на два года в семинарии, где ученье было очень незавидное. — Благородный отзыв Ивана Максимыча о петербургской академии решил дело: ему первому сообщил я мысль отправиться туда. Он сказал: «хорошо», и его одобрения было для меня очень довольно, чтоб начать дело. На это дело папенька согласился легче; не было возражений о трудности учиться, ни о возможности поступить туда; сказано было только несколько слов о моей молодости, но я представил, что молодому еще легче



учиться, и дело было слажено. До отъезда еще Ивана Максимыча, я мог уже (в начале ноября) сообщить ему, что я решился непременно ехать в пет[ербургскую] академию. Превосходный этот человек с участием принял мои слова, дал несколько советов и даже проговорил прошение, которое я должен был подать к графу Протасову, так что я написал теперь прошение почти с его слов. В декабре начал приставать уже к папеньке, чтобы сходил к нашему о. ректору и спросился его. Но в декабре не собрались, а в январе начали уже возникать сомнения насчет выгод и пользы учения в пет[ербургской] академии. Думали и сомневались, решались и передумывали, ходили к ректору, не заставляли его дома и опять раздумывали целый месяц. Наконец 3-го февраля пап[енька] сходил к ректору, — тот одобрил и мое желание, и меня самого. В этот же вечер написал я просьбу к графу Протасову, об[ер]-прокурору св. синода; но долго еще лежала она без употребления; наконец получил я приказание переписать ее, и 18 февр[аля] папенька снова ходил к о. ректору, показал просьбу, и ректор несколько поправил ее. 19 февр[аля] папенька пошел к архиерею и спросил также его благословения на это дело. Преосвящ[енный] Иеремия принял даже участие в этом деле и приказал принести к нему просьбу, обещаясь послать ее от себя. 24 февр[аля] папенька принес к преосв[ященному] мое прошение, он посмотрел и сказал: «хорошо, подавайте». Пап[енька] удивился такому обороту дела и сказал: «ваше преосвященство! эта просьба написана на имя графа; не прикажете ли переменить и написать на ваше имя». Тогда преосвященный еще посмотрел прошение и сказал, что если уж так, то «нужно подать просьбу еще на мое имя. Вы уже подайте от своего имени». 26 числа, в четверг на масленице, папенька подал преосвящ[енному] просьбу к нему о моем желании, приложив и мое прошение к обер-прокурору. В это время был у преосв[ященного] и отец ректор семинарии, они поговорили между собой, и пр[еосвященный] сказал моему отцу: «ваше желание будет исполнено». 27 числа, на другой день, архиерей сдал мое дело в семинарское правление с резолюцией: «представить мне сем[инарского] правл[ения] справку о его поведении и успехах обстоятельную». На первой неделе делами преосв[ященный] не занимался, и потому эта справка, состоящая из моего аттестата, подана была ему уже 9 марта. 10-го он сдал все дело в консисторию, чтобы там некто Городков заготовил от него письмо обо мне к графу. В этот же день вечером моя просьба была еще раз переписана, потому что нашлась в ней ошибка и каплюшка салом. 11-го марта черновое письмо подано к преосв[ященному],

и он, исправив его, снова дал в консисторию переписать. 12-го марта переписали и подали ему. 13-го отослали с отходящей почтой в Спбург. Вот моя история, не длинная и не важная. По окончании дела мне бы следовало радоваться, а я очень равнодушен. Правду сказать, — я и теперь еще не уверен в превосходстве академического образования, и мысль поступить в университет не оставляет меня. Впрочем это по обстоятельствам. Главным образом соблазняет меня авторство, и если мне хочется в Петербург, то не по желанию видеть Северную Пальмиру, не по расчетам на превосходство столичного образования: это все на втором плане, это только средство. На первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами. Прежде я безотчетно увлекался этой мыслью, а теперь уже начинаю подумывать, что

То кровь кипит, то сил избыток...

Надежда на журналистов для меня очень плоха, пот[ому] что, не доучившись год в семинарии, я в академии должен буду заниматься очень сильно, и времени праздного у меня не будет, и притом я не знаю новых языков, след[овательно], переводное дело уже не по моей части, а иначе как начать?.. Подумаешь, подумаешь, пишешь стихотворение:

Мучат сомнения душу тревожную...

и потом опять какая-то апатия нападет на душу, как будто это до меня и не касается. Одна надежда на премудрый промысл поддерживает меня. С тех пор, как благодетельная уверенность в благости и неусыпной заботливости о нас божией посетила меня, мне кажется, что я даже несравненно легче снесу, если меня и прогонят назад в Нижний из академии. Этого я также имею причины опасаться, хотя и не теряю надежды сдать, хоть кое-как, приемный экзамен. Много теперь нужно мне трудиться; необычайная энергия требуется, чтобы поддержать себя, а между тем я как будто и не думаю об этом, и едва-едва, потихоньку, принимаюсь готовиться. А тут еще классные уроки, задачи и, пуще всего надоедающие, классы, особенно о. Паисия, драгоценного моего инспектора и бесценного преподавателя догматического богословия, с присловьями Цицерона и Квинтилиана, с анекдотами Суворова и Балакирева, с допотопными понятиями о науке и литературе, и при всем этом — с совершенным отсутствием здравого смысла, с пустейшей головой, с отвратительной претензией на подлое (плебейское) остроумие и, наконец, с положительной бездарностью преподавания!.. Скоро ли то я избавлюсь от этого педанта, глупца из глупцов?.. А что, ежели придется воротиться к нему?..



от-21 .атэспэреп  
-роп йэшдохто с н.  
оп .рвнжвэ эн н т  
-онввд анэро р в ,р  
-дохсвэоп в нэреву  
-рэвнну в атнпүтсеп  
-ввЛ .мвэтсвэтротс  
в рэтэрох энм нлсэ  
эн ,уqnмввЛП онуно  
свэ отс :рннввэвввв  
тнотс энввп эж моввс  
к эджэвП .нмввотсвс  
-св онвнрвн эжв эвс

## ПСИХАТОРИУМ

7 марта 1853 г.

1-й час пополудни.

Ныне сподобился я причащения пречистых тайн Христовых, и принял намерение с этого времени строже наблюдать за собою. Не знаю, будет ли у меня сил давать себе каждый день подробный отчет в своих прегрешениях, но по крайней мере прошу бога моего, чтобы он дал мне помощь, хотя начало благое. Боже мой! Как мало еще прошло времени, и как уже много лежит на моей совести! Вчера, во время самой исповеди, я осудил духовника своего и потом скрыл это на покаянье; кроме того, я сказал не все грехи, и это не потому, что позабыл их или не хотел, но потому, что не решился сказать духовнику, что еще рано разрешать меня, что я еще не все сказал... Потом — я сетовал на отца духовного, что он не так много спрашивал меня; но разве я должен ожидать пророческого, а не сам говорить о своих прегрешениях? Только вышел из алтаря, и сделался виновен, в страхе человеческом, ватем человекоугодие и, хотя легкий, смех с товарищами присоединился к этому. Потом суетные помышления самолюбия, гордости, рассеянность во время молитвы, лень к богослужению, осуждение других — увеличивали число грехов моих, а некоторыми приступал я к великому таинству. В эти великие часы даже вошло во мне несколько раз сомнение о важнейших истинах спасения, и при всем этом похоть плоти также не оставляла меня. Это все было во храме божием, и вот новый грех — презрение святыни.. Потом суетные помыслы и житейские заботы заняли меня по приходе домой, осуждение начальства также было. И при всех этих прегрешениях все-таки было во мне как-то сомнение, гордая мысль, что я еще лучше других в нравственном отношении. И доселе не оставляет меня эта мысль о Господе. Прости меня и избавь от этого наваждения лукавого. Спал я в эту ночь много, и неблагоприятные сновиде-

ния тревожили меня... Проснувшись, долго я не вставал с постели, нежил плоть свою. Вставши, молился не с достаточным благоговением, осудил отца своего, досадовал и беспокоился по мирским расчетам, пошедши к обедне, не прошел прямо в церковь, пот[ому] что еще рано было, и показал суетность, легкомыслие, человекоугодие. Как будто забыл я даже, к чему готовился! До половины литургии редко посещала меня мысль о великом таинстве причащения, к которому приступал я, и мысль моя блуждала по распутьям мира. Похоть очес даже проникла в душу мою, и как я ни старался воздержаться, но так глубоко развращение плоти овладело духом моим, что нечистые мысли и здесь не оставили меня. Гордость и мирские расчеты и помыслы до самой последней минуты не оставляли меня: мне не хотелось причаститься последним, после людей, которые хуже меня, и с этой мыслью я пробирался вперед, более, впрочем, для того, чтобы после избежать упрека родных в том, будто я не смел пройти вперед. Такие-то мысли овладели мной. Но благоутробие господа и спаса моего пощадило меня, и я сподобился причаститься... Только — да не в суд и не во осуждение будет мне причащение, — об этом молю господа!

12-й час пополудни.

После принятия св. тайн еще с большим неразумием поступал я. Не подумал я тогда о том, чего я сподобился, не представил всей великости человеколюбия божия, не предался радости о духе святе, но начал греховным помыслом мирским, и потом согрешил самым словом: начал уверять другого в том, в чем сам не был уверен. Затем без благоговения ждал я окончания литургии, рассеянно слушал благодарные молитвы, а по выходе из церкви согрешил осуждением ближнего, насмешкою, легкомысленными замечаниями... Много пил я чаю, более ел, чем нужно, и таким образом нарушил пост столько необходимый, особенно мне, для укрощения плотских пожеланий и страстей. При самом обеде согрешил я смехом неподобающим, а потом шуточной ложью. Много нечистых мыслей во все это время возникало в душей моей... Презрел я при этом и позабыл одно приказание, данное мне отцом моим: это тоже грехом было, пот[ому] что свидетельствует о моей небрежности и недостатке уважения к родителям... Заблаговестили к вечерне; мне представился случай не идти в церковь, и я рад был этому — не пошел. Я хотел идти, сознавал, что нужно идти, но меня одолела греховная привычка, я согрешил сознательно, пот[ому] что мне скучно в храме божием!.. Вот так сильно во мне отчуждение от жизни божией!



Вот уже сколько развращено мое сердце! После того опять досадовал я и осуждал мысленно, давая заметить это и наружно, духовника своего; досадовал на благочестие других людей и хотел сомневаться в самых даже добрых действиях ближних моих: так мало во мне братской любви!.. Отправившись к всенощной, я предавался дорогой славолубивым мечтаниям, а за божественной службой всенощ[ного] бд[ения] скучился, рассеялся мыслью, глядел по сторонам, и снова похоть очес и скверные помыслы одолели меня. Кроме того, несколько раз хотелось мне смеяться, и я улыбался; и всегда насчет моих ближних, присутствовавших и отсутствовавших. Обнаружил также преступную легкомысленность, давая благие обещания и тут же признавая, что я не могу или не захочу их исполнить. Имел уже я случай обнаружить и гордость свою, говоря без должной готовности и простосердечия с моими родителями. Наконец, к грехам моим должен еще отнести я и недостаток самонаблюдения. Первый день, и я уже ослабел, и я уже ослабил много свой надзор за собою: что же будет после?.. Сотой доли грехов моих нет в этом длинном перечне; их знает все только всеведущий... Но при всем том я доволен нынешним днем в нравств[енном] отн[ошении]. Навождение ли это духа гордости или действит[ельно] сравнит[ельно] этот день лучше других дней моей жизни? — прости мне, господи, мою гордость, мои сомнения, мои грехи... Каюсь перед тобою и смиряюсь; не остави меня твоею благодатию! господи, помилуй меня!..

8 март[а]

12 час пополудни.

Нынче я вошел в ближайшее соприкосновение с миром и еще более ослабел в добрых намерениях и предался миру. Поутру еще, вставши дов[ольно] поздно и без внимания помолившись, чтоб только черед отвести, показал я рассеянность, неуместную плотскую веселость и предавался смеху и гневу. Позабыл я кротость, к[ото]рая вчера так мне нравилась и так казалось легкою. Потом за литургией опять стоял я рассеянно, и опять соблазнились очи мои, и опять осуждал я ближних моих. Пришед от обедни, я сделался виновен в чревоугодии и тщеславии, обнаружившемся во внешних действиях. Потом имел я продолжительный разговор с моей матерью, и в нем выказал свое неуважение к родителям, свою надменность, самомнение, чрезмерную требовательность, досаду и внутреннее недовольство своим состоянием. При этом хитрость и ложь также были частию и в продолжение дня они несколько раз повторялись. Пошел я в

собор слушать анафему и при самом вступлении в храм стал смеяться и разговаривать и старался пройти с особенной гордостью и важностью. Мечты и надежды житейские, планы славолюбия занимали меня в то время, как говорила проповедь, а потом я всячески старался пробраться на клирос, чтобы слышать пение протодиакона, — без всякого благоговения к месту, где был, и не внимая божественной службе. Затем до конца службы чувства мои нисколько не соответствовали святости места и торжеств[енному] обряду. После обеда еще более грешил я человекоугодливости насмешливыми замечаниями над другими и даже над священнослужителями. Грех еще более увеличился тем, что я делал это без всякой видимой даже нужды, только по привычке и по влечению к глупой страсти. Осуждение и ропот на начальство, недоверчивость к ближним, двоязычие и двоедушные присоединялись к числу прегрешений моих. Вчера грешил я более мыслию, ныне более грешил уже словом. Обман и ложь, и в шутку, и в правду, повторялись неск[олько] раз. За вечерней снова скучился и устал я во храме, а после опять позволил себе смеяться над священными лицами и предметами для того только, чтобы меня считали вертопрахом, а вернее — вовсе без цели. Господи! Удержи язык мой от зла!.. Затем честолюбие и славолюбие занимали меня весь вечер, на место плотских помышлений, одолевавших с утра. И при всем этом забыт был всегда пекущийся о нас божий промысл, и я располагал свои действия, как будто бы его не было!.. Недостаток самонаблюдения ныне еще более. Многого не помню я из нынешних грехов моих... Боже! Помилуй и пощади меня! . . . . .  
1  
. . . . .

---

<sup>1</sup> На рукописи помечено: „Остальные листы этого вздора я бросил как ненужные. Довольно этого образца. Н. Чернышевский“.



## ВСТРЕЧА ХРИСТОВА ПРАЗДНИКА

1853 год.

(Пасха 19 апр[еля]).

Нижний-Новгород.

19 апр[еля].

Нынче, как я думаю, в последний раз на много лет — встречал я праздник на родине. Недурно поэтому записать мои впечатления и настоящие мысли, чтобы впоследствии сравнить встречу праздника на чужой стороне и сказать, хуже или лучше проводить этот светлый день в кругу родных, чем с чужими...

Вчера — часов в семь — вышел я из дома, чтобы погулять по городу, зайти в разные церкви и посмотреть их (пот[ому] что я, — каюсь, — более половины здешних церквей совершенно не знаю). Вышел я, и — помню — какое-то особенное чувство легкости и свежести нашел в себе в это время. В воздухе было очень тихо и — главное — веяло по-весеннему. Нигде еще не было заметно особенных приготовлений к празднику, но мне почему-то казалось, что все полно какого-то ожидания и готовится встретить что-то важное. Впрочем только на этом и остановились мои наблюдения по поводу праздника. Зашедши в церковь благовещ[ения] пр[есвятой] богородицы, я нашел тут книгу Деяний раскрытую, но не читаемую, дьячков, расхаживавших довольно суетливо, и одного бывшего школьного товарища, с которым и проговорил довольно долго об его обстоятельствах. Потом попался мне учитель и эконо́м сем[инарии] и, сказавши несколько слов, пригласил посмотреть, как убрал он сем[инарскую] церковь. Я хотел зайти и туда, но наперед зашел к одному товарищу и проговорил с ним о разных психологич[еских] тонкостях почти до 10-ти часов. Вышед из сем[инарии], хотел я зайти в соборы, находящиеся в кремле, вошел в кремль, но сыро повеяло на меня с Волги холодный и ночной ветер, угрюмо воз-

вышались зубцы крепости, не внушили мне доверия оклики часовых, и, увидав какую-то массу поблизости памятника Минину, я вспомнил о городских сплетнях насчет воров (в которых подозревали именно солдат) и воротился. Зашел потом в одну лавку и понес покупку домой. Здесь пробыл более, нежели до половины одиннадцатого, и без четв[ерти] 11-го опять пошел гулять по городу. Тут уже я как-то нарочно хотел видеть везде приготовления к празднику, посматривал в очки и в стеклышко в окна каждого дома, желая увидеть, не собираются ли обитатели и обитательницы к заутрене, однакож ничего не увидел. Прошел в кремль, где уже в это время было довольно народу, и увидел прекрасную иллюминацию на успенском соборе. По четырем колоннам на одной из стен собора развешаны были разноцветные фонари, в середине и наверху (а вероятно, и внизу: я не рассмотрел) были также из фонарей составлены круги (которые можно бы принять и за звезды, если бы средний фонарь не был темного цвета), и колонны соединены между собою поясками, — также из фонарей, — белого и голубого цвета. Наверху горела звезда, которой сияние было сделано очень хорошо. Но особенный эффект производила картина воскресения, писан[ная] на холсте и поставленная в середине между двумя колоннами и между основанием и крышей собора. Со всех сторон, — и снизу, и по бокам, — она обставлена была синими фонарями, а вверху было сделано сияние, которое также очень хорошо изображалось цветными фонарями и шкаликами. За картиною поставлены были свечи. При малейшем ветре картина колебалась, и как бы действительно Христос восставал из гроба, всюду разливая от себя светносные лучи. Точно так же и сияние над картиною как будто в самом деле исходило из одной точки, — переливалось и мерцало, как звездочки на безоблачном небе. Это было прекрасно. Я вошел в самый собор, походил, но не нашел в нем ничего замечательного, может быть потому, что не умел искать. Потом вошел я и в собор архангельский, стоящий возле и освещаемый в это время снаружи светом от иллюминации собора успенского. В нем нашел я доску, на которой начертано истор[ическое] изв[ещение] об этой церкви, но которой я за темнотою не мог прочитать, и потом еще надгробные камни и надписи над несколькими князьями нижегородскими. Это когда-нибудь можно обозреть пообстоятельнее... Потом отправился я в собор кафедральный, и там нашел несколько слушателей вокруг какого-то мещанина, читавшего книгу Деяний — об Анании и Сапфире. Здесь мне делать было нечего: собор я уже дов[ольно] знаю, и вышел вон. Выходя из собора, услы-



шал я, что архиерей будет служить в своей крестовой церкви, и это почему-то довольно неприятно подействовало на меня. Отсюда я уже прямо пошел к своей церкви — Николая Чудотворца. Здесь в ограде, довольно просторной, было очень весело. Разноцветные фонари развешаны были на перилах ограды и на деревцах вновь разводимого сада; а треугольники, на которых посажены были плошки, окружали всю церковь в нижнем ее ярусе. Я походил вокруг церкви, вошел в самую церковь, в которой было уже несколько народу, потом опять вышел, взобрался на колокольню, чтобы посмотреть, нет ли еще освещения на каких-ниб[удь] церквях, но ничего не видал, а сказали мне только, что зажжены бочки у церкви кладбища Петра и Павла. Я был на колокольне, когда стало бить двенадцать на каланче. Я поспешил сойти вниз, посмотреть еще на церковь снаружи, и мне очень понравилось простое украшение на ней: на колокольне были из разноцветных фонарей составлены буквы Х и В = Христос воскрес. Потом в церкви началась лития: мне было как-то тяжело стоять... Но вот взялись за хоругви, вошел священник и диакон с крестом и свещею, и раздалось под сводами храма сначала: «воскресение твое, Христе спасе», а потом пошли вокруг церкви, и та же песнь огласила воздух, сливаясь с веселым звоном колоколов церкви. После того весело было уже стоять утреню, и я присоединил свой голос и воспевал радостные песни пасхи, вслед за певчими. В половине утрени я устал; как-то ногам и спине тяжело стало. Это было во время эктении. Но вот опять раздалась веселая священная песнь пасхального радования, и опять забыл я свою усталость. Несколько раз так было со мной, — и я не желал скорого окончания службы, пот[ому] что знаю, как после будет хотеться — хоть малую часть услышать из того, чем наполнена эта служба, но уже поздно будет. Я не воспитал в себе чувствительность сердца, но в этот день я почему-то очень живо чувствую радость духовн[ую], внутреннюю<sup>1</sup>. . . . .

Может быть — оттого разве, что внешние побуждения действуют очень сильно.. Но радость эта чистая, и только немного примешивается мысль о розговеньи, да и то не о процессе принятия пищи, не о вкусе скоромного, а тоже о самом розговеньи, в котором есть что-то особенное, в этот день... После утрени я христосовался с знакомыми и видел (хотя сам не делал), что другие — люди почтенные и важные — христосуются с подчи-

<sup>1</sup> В этом месте, возможно, отсутствует лист. Словами „Может быть“ начинается новый лист, вкладной, органически не связанный с предыдущим.

ненными, со слугами, с нищими... Это хорошо, умирительно действует на меня... Вот эта примиряющая, вседейственная сила христианства! Вот отблески чудного единодушия и любви первенствующей братии общества Христова!.. Обедню стоял я также весело, и легко было у меня на сердце... Пришед от обедни домой, я с'ел только кусок просфоры и уснул. Проснулся уже в семь часов (обедня отошла в 4-е); самовар был на столе; пасха и кулич тоже стояли на столике, и как-то благодатно действуют они на меня, не потому, что они хороши сами по себе, но они во мне возбуждают мысли о чем-то высшем, таинственном как-будто... Что они выражают и почему такое успокаивающее влияние они имеют на меня — этого я и сам не могу объяснить даже самому себе... Но мысль о родном круге, мысль о святой любви и общении и еще какие-то благородные мысли всегда посещают меня при этом, буду ли я сыт или голоден, хочу или не хочу вкусить этой пасхи. Так же точно благодатно и ныне разговелся я, и был очень рад и счастлив. Часов в 11-ть пошли мы с папенькой к некоторым знакомым с визитом, и все это так весело, не то, что в новый год или масленицу. В воздухе пахнет весной, солнце так приветно, на земле начинает зеленеть трава, колокола церкви[ые] весело перезванивают, во многих местах видна безграничная даль разлившейся Волги, везде ликование, на дороге на каждом шагу видишь христосующихся, знакомых и даже не знакомых между собою, в домах все так приветно и радушно... Чего еще душе? Что найдет она лучше этого в мире сетования и плача?.. Для иных, конечно, неполно и блаженство пасхи, по домашним обстоятельствам, но все же веселее человек в эти минуты... Вот и я весел, несмотря на то, что у меня нездоров папенька, а я его очень люблю... Но воскресение подаст ему здоровье, для вящего служения ему и его прославления в церкви!.. А потом опять вечерня, — такая же радостная, пасхальная. После нее, при прекрасной во всех отношениях погоде, прогулка по кремлю и по площади. Потом опять семейный круг, самовар и куличи... Только конец дня омрачился для меня тем, что я его провел слишком уже чувственно. От обеда и разн[ых] закусок мне сделалось даже тяжело, и чистая радость заменилась плотскою... Папенька вечером ныне же в лучшем расположении духа, благодаря радости праздника... А я вот клонюсь уже ко сну и не чувствую теперь ничего, кроме тяжести телесной и приятного воспоминания. Но если бы этот день проведен был, как должно, — какое блаженство, невозмутимое и ненарушимое, водворилось бы в сердце, как несравненная и незаменима показалась бы нам радость пасхальная, как предвкушение блаженства небесного!..



## ДНЕВНИКИ 1854—1855 гг.

### [О смерти матери]<sup>1</sup>.

...  
...  
... получил я свои лучшие качества, с ней сроднился я с первых дней моего детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был, для нее было все, все, что я ни делал. Она понимала эту любовь; но я не успел показать ее на деле, не успел осуществить то, чем хотел ее радовать... Мало радостных минут доставил я ей... Я был слишком горд; я не хотел прежде времени высказывать даже ей, моей дорогой, своих гордых планов и надежд, думал, что будет время — на деле увидит она, какого сына имеет, и сколько он любит ее... Не случилось так... И почему же не верить мне, что она смотрит на меня с высоты небес, радуется... Нет, нет, нет, если это правда, если она видит меня, мою тоску, мои терзания, мои сомнения, — она умолит бога, чтобы он послал ее вразумить бедного, жалкого сына... Иначе ей будет рай не в рай, если только она не разлюбила меня. Мать моя! Милая, дорогая моя! Я всего лишился в тебе. Видишь, я плачу... Мне тяжело, мне горько... Помолись за меня, чтобы бог остановил меня на краю гибели!.. Ведь ты чистая праведница, и бог услышит тебя... Явись мне, утешь меня... Дай мне веру, надежду. С надеждою можно жить в мире... Неужели же расстояние между нами так непроходимо, что и материнское сердце не услышит мольбы страдающего сына?.. Или в самом деле должен думать, что ты не существуешь более, и что я тоже машина... Но зачем же эта страшная тоска, эта грусть, эти сомнения... Мать моя... Верю, что ты любишь меня. Вразуми, научи беспомощного!.. Заставь меня верить и утешаться будущим!.. Мое положение так горько, так страшно, так отчаянно,

---

<sup>1</sup> Сколько листов отсутствует, определить нельзя.

что теперь ничто на земле не утешит меня. Самая драгоценная радость обратится у меня в печаль, самая громкая слава, богатство, всевозможные успехи — только заставят содрогнуться мое сердце, при одной мысли — что если бы это знала мама... Как бы мы с ней порадовались!.. И эта мысль тяжким громадным камнем падет мне на сердце, и не будет мне счастья в счастье одинокого эгоизма...

[Отрывок 1855 г.]<sup>1</sup>.

18 дек[абря]. Побывавши у П.<sup>2</sup>, я всегда выношу новый запас анекдотов и острот... Это довольно странно, потому, что наши разговоры с ним совсем не могут быть названы пустой светской болтовней... Мы затрагиваем великие вопросы, и наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо... Да, теперь эта великая цель занимает меня необыкновенно сильно... К несчастью, — я очень ясно вижу и свое настоящее положение и положение русского народа в эту минуту, и потому не могу увлекаться обольстительными мечтами, какие позволяет себе Щ[еглов]<sup>3</sup>. Я чувствую, что реформатором, революционером я не призван быть... Не прогремит мое имя, не оселит его слава дерзкого предпринимателя и совершителя великого переворота... Тихо и медленно буду я действовать, незаметно стану подготавливать умы; именье (если оно будет у меня) жизнь, безопасность личную я отдам на жертву великому делу — это тогда только, когда самопожертвование будет означать верный успех... Иначе... К чему губить жизнь, которая еще может быть полезна?.. Нужно ясно поставить свое положение: что я такое? Бедный студент, которого все достойное заключается в 30 руб. сер[ебром], находящийся в долгах у разных лиц, да в голове и руках, которые он еще не знает, как употребить... Мои средства — опять только я, но я без средств... Что же тут делать? Мои сообщники: один — решительный, благородный, но страшно заносчивый и не имеющий ко мне никакого уважения

<sup>1</sup> На оригинале рукой Н. Чернышевского написано: „это, наверное, относится к 1855 году“.

<sup>2</sup> Очевидно, Игн. Паржницкий, студент Гл. пед. ин-та, на первом же году перешедший в мед.-хир. академию.

<sup>3</sup> Щеглов Дм. Фед., историк. Окончил курс в Гл. пед. ин-те, педагог, автор статей в „Библиотеке для Чтения“ и в изданиях Катаева, археолог, автор антисоциалистической „Истории социальных систем“ („СПБ“, 1889), директор гимназий в Новочеркасске и Одессе. Умер в 1902 г.



человек... другой — человек умный, но смотрящий на все с какой-то странной точки, над всем смеющийся и ничем не возмущающийся, очень молодой и легкомысленный... Еще несколько человек, понимающих дело, но ограничивающихся презрением и ненавистью к злу, не заботясь о средствах исправить, уничтожить его. Горькое положение!.. А между тем, что касается до меня, я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота!.. Сын священника, воспитанный в строгих правилах христианск[ой] веры и нравственности, — родившийся в центре Руси, прошедший первые годы жизни в ближайшем соприкосновении с простым и средним классом общества, бывший чем-то в роде оракула в своем маленьком кружке, потом — собственным рассудком, при всем (всех. — В. П.) этих обстоятельствах, дошедший до убеждения в несправедливости некоторых начал, которые внушены б[ыли] мне с первых лет детства; понявший ничтожность и пустоту того кружка, в котором так любили и ласкали меня, — наконец, вырвавшийся из него на свет божий и смело взглянувший на оставленный мною мир, увидевший все, что в нем было возмутительного, ложного и пошлого, — я чувствую теперь, что более, нежели кто-нибудь, имею силы и возможности взяться за свое дело... «Сам я был тем, чем вы, господа», скажу я своим жалким собратьям... «вот история моей жизни... И я теперь несравненно больше доволен собой, чем в то время, когда был похож на вас»...

Меня постигло страшное несчастье — смерть отца и матери, — но оно убедило меня окончательно в правоте моего дела, в несуществовании тех призраков, которые сстроило себе восточное воображение и которое навязывают нам насильно вопреки здравому смыслу. Оно ожесточило меня против той таинственной силы, которую у нас смеют называть благою и милосердною, не обращая внимания на зло, рассеянное в мире, на жестокие удары, которые направляются этой силой на самих же ее хвалителей!..

---

## ЗАКУЛИСНЫЕ ТАЙНЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ

1855 г. СПб.

Говорят, скоро выйдут в свет стихотворения Нового Поэта. По уверению П. М. Ш-го и Н. П. Т[урчанино]ва <sup>1</sup>, который слышал от Ч[ернышевско]го, это есть не кто иной, как И. И. Панаев.

Ч[ернышевски]й издал свою магистерскую диссертацию. В О т е ч [е с т в е н н ы х] З а п [и с к а х] № VI написана очень дельная рецензия на нее; автор, по словам самого Ч[ернышевско]го, — Дудышкин.

Недавно удалось мне слышать одну из неизданных эпиграмм Пушкина <sup>2</sup>. Вот она:

Жил да был петух индейский;  
Цапле руку предложил,  
При дворе взял чин лакейский  
И в супружество вступил...  
Он просил детей, как дара,  
И услышал Саваоф:  
Уродилась цаплей пара...  
Не родилось петухов...

И продекламировал мне эту эпиграмму сам д[ействительный] с[татский] с[оветник] и камергер!.. <sup>3</sup>.

Другой анекдот о Пушкине. Когда его просили или приказывали ему написать стихи к Александровской колонне, то он стал в недоумении, будто бы, склонять: столб... столба... столбу...

Нужно заметить на память событие, доказывающее, как у нас в России не терпят вольного духа. Составитель какой-то поваренной книги, говоря об одном кушаньи, сказал, что нужно с ним сделать то и то, замесить, помаслить, помазать, дать взойти

<sup>1</sup> Товарищ Д-ва по Гл. пед. ин-ту, историк.

<sup>2</sup> Эпиграмма в действительности написана Е. А. Баратынским и С. А. Соболевским в 1825 г.

<sup>3</sup> Вероятно, Серг. Павл. Галахов.



и пр., пр. и, наконец, поставить в печку — в вольный дух. Цензор ужаснулся, увидя это, и чуть не остановил печатания всей книги; наконец, решился пропустить, заменив вольный дух словами: умеренное тепло...

Л. Н. Т., обративший общее внимание своим «Детством и Отрочеством», есть гр. Толстой, теперь он находится в Севастополе.

Ростислав есть тоже Толстой Ф.<sup>1</sup>, автор «Трех возрастов».

В отчете министра нар[одного] просв[ещения] (Ж. М. Н. Пр. 1855 г. № IV), напечатана великолепная бессмыслица, что студенты Гл[авного] пед[агогического] инст[итута] единодушно изъявили желание служить государю на военном поприще, оставаясь при том верными и обязанностям своего звания (?). Эта непонятная оговорка требует объяснения. Дело было вот каким образом. Желание военной службы было действительно единодушное или почти единодушное, т. е. желала этого одна душа нашего директора, да еще, может быть, человека три-четыре были немного склонны к этому желанию. У директора есть несколько приближенных к нему студентов, и он напустил их, чтобы студенты шли проситься в военную службу. Те объявили о желании директора, и на другой день человек двадцать отправились, некоторые из любопытства, другие — из желания выказаться пред начальником, третьи — чтобы посмеяться над всей этой комедией. Пришли к директору, и старый хитрец показал вид, что это желание его удивляет. Объяснился с ним за всех А. М. Гр-в<sup>2</sup>, насмешивший всех тем, что повторял беспрестанно, как мы содержимся на казне и ничем не можем жертвовать, кроме себя. Однакоже наконец директор представил министру, что студенты единодушно желают учиться маршировке и ружейной и артиллерийской стрельбе, не прерывая своих ученых занятий, — чтобы быть готовыми защищать отечество в случае нужды. Это представление возбудило в большей части студентов негодование и ужас. Многие решительно хотели отказаться от чести участвовать в единодушном директорском патриотизме. К счастью, представление не было приведено в исполнение, и институт получил только благодарность монаршую за искусный маневр директора.

Рассказывают наверное, что Фон-Визин и Гоголь были преданы онанизму, и этому обстоятельству приписывают даже душевное расстройство Гоголя.

---

<sup>1</sup> Граф Толстой Феоф. Матв.

<sup>2</sup> Возможно, Груздев Ал. М.

Награды, по чести и должности, сыплются на почтенного И. И. Давыдова<sup>1</sup>, и потомство, прочитав его автобиографию в словаре Москов[ского] университета, почтет в нем великого человека. Но есть другого рода возгласы, адресованные к его личности. Вот один:

### К портрету И. И. Д.

Он при Уварове-франдузе  
Был с атеистами в союзе  
И, русских-немцев идеал,  
За университет стоял.  
Он при Ширинском при монахе  
Ел просфоры, жил в божьем страхе,  
На Никитенко доносил,  
С митрополитами крестил.  
Теперь же с кем его сравню я?  
Когда латынь и аллилуя  
Легли, сожрав друг друга, в гроб,  
И всей науке бреют лоб,—  
Он повернул свой парус вольный  
И стал рукою богомольной  
На честь науки,—сын на мать,—  
Доносы Панину писать.

Н. И. Греч торжественно рассказывал о друге своем Ф. В. Булгарине, что он иногда носит синие очки, и это служит вернейшим признаком получения им накануне нескольких оплеух. Открытием этой привычки обязан был Николай Иванович следующему случаю. Давно уж когда-то у Булг[арина] была молодая жена, а у Греча взрослый сын, который вздумал за ней поволочиться. Дело шло на лад, и однажды Фаддей имел неосторожность застать их *en flagrant délire*. По своему обыкновению, он обратился к молодому Гречу с речью, которая, вероятно, напоминала очень живо способ выражения, употребляемый героями Булгаринских романов, потому что молодой человек не вытерпел и поколотил друга отца своего. Вскипев гневом, Фаддей надел синие очки и отправился к Гречу-рёге жаловаться на Греча-fils. Не сказывая фамилии Ловласа, он только поведал другу трагическое происшествие и объявил, что, обиды не стерпев, он порядочно поколотил мальчишку. Греч посмеялся, но, уходя, Булг[арин] шепнул ему: «я скажу тебе, Н. И., это был твой сын»... — Ну, что же, — говорит Н. И., — ты, Ф. В., был совершенно в своем праве, и я не сержусь на тебя»... «Вот истин-

<sup>1</sup> Давыдов Иван Иванович с 1817 г. по 1847 г. был профессором московского ун-та, с 1847 г. по 1858—директором Гл. пед. ин-та, ординарный академик, председатель II отделения Академии Наук.



ная дружба», воскликнул тогда оскорбленный муж: «а я не знал, как мне сказать тебе было... Вот нарочно надел синие очки, чтобы не совестно было смотреть на тебя»... Вскоре приезжает сын Греча домой, и отец расспрашивает его, что такое произошло у них с Булг[ариным]... Сын начинает оправдываться, и, повторив часть выражений Б[улгарина] пред отцом, доказывает, что не мог же он за такие грубости не поколотить Ф. В. при всем уважении... и пр. Дело объяснилось, и с тех пор неоднократно примечено, что, получив оплеуху или потерпев какое-нибудь другое посягательство на собственную персону, Булгарин вслед за тем надевает синие очки.

О Булгарине есть эпиграмма Пушкина:

К Смирдину, как ни зайдешь,  
Ничего себе не купишь,  
Иль Сенковского найдешь,  
Иль на Булгарина наступишь...

Пушкин же характеризует:

Благороден, как Булгарин  
Бескорыстен так, как Греч...

Нельзя не записать кстати пародии «Братьев-разбойников», написанной, как говорят, Мятлевым<sup>1</sup>, и рисующей очень хорошо личности Греча и Булгарина.

Не стая птиц, но как собаки,  
Готовые из-за костей  
Загрызть и ближних и друзей,  
К Булгарину, в числе гостей,  
Собрались разные писаки.  
Какая смесь лиц и умов,  
Способностей и состоянья!  
Из немцев, поляков, жидов  
Здесь русских критиков собрание.  
Здесь цель одна для всех сердец:  
Не верить никаким законам.  
Меж ними зрится тот беглец,  
Что приставал ко всем знаменам,  
Песоцкий, букинист-варяг,  
И множество других бродяг:  
Язвинский, Шпиц, Межевич грязный,  
Сам Греч, действительный дыган.  
Шпионство, злость, подрыв, обман,—  
Вот узы избранных мерзавцев!..  
Тот их, кто по миру пустил,  
Двух или трех книгопродавцев,

---

<sup>1</sup> Пародия в действительности принадлежит Н. И. Куликову, драматургу и режиссеру Александринского театра в СПб. Точный текст, без пропусков, см. „Русская Старина“ 1885 г., февраль, стр. 471—473. Названа она „Братья журналисты“.

Кто ближнего из-за чернил  
Перед правительством чернил,  
Кому смешна пустая честность,  
Кто ум и гений не щадит,  
Кого бесчестье веселит,  
Как Греча странного известность...

аскрылись подлые уста,  
Речь о писателях заходит,  
РИ на невинных клевета  
Из уст в другие переходит...  
Но, сплетен истощив запас,  
Умолкли все... Их занимает  
Фаддея старого рассказ,  
И все вокруг его внимает.

„Нас только двое: Греч и я;  
Взросли мы розно; наша дружба—  
Как баснь: „Крестьянин и змея“...  
Наскутила нам честь и служба,  
И согласились меж собой  
Мы издавать журнал большой,  
В сотрудники себе мы взяли  
Таких же неучей, точь-в-точь,—  
Свои грехи на них слагали,  
А пикнут,—отгоняли прочь...

Бывало в пору ту лихую,  
Статейку пустим удалую,  
Браним и хвалим под рукой,  
И вес имеем над толпой...  
Кто не робел меня и Греча...  
Сберется ль где-нибудь род веча,—  
Туда, как братья, и кричим,  
Всех громче судим, рассуждаем,  
На счет хозяев пьем, едим,  
Всех, как Иуды, лобызаем,  
И, как Иуда, предадим,  
И сребренники получим...

И что ж? Попались молодцы!..  
Мы с Пушкиным не совладали;  
Он нас клеймил; как подлецы,  
С тех пор мы в общем мненьи стали,—  
И я чуть не попал в острог;  
Но вынести больше Греча мог:  
Я бегал под двумя орлами!  
Я уцелел,—он изнемог...

С трудом поддерживая связи  
(Хоть и в чинах, а все из грязи,  
И мне во всем был по плечу),  
Он трусил всех, твердя всечасно:  
„Мне стыдно здесь, в Париж хочу!“  
Я сам себя ему напрасно  
В пример бесстыдстваставляя;  
Он в Петербурге всех стыдился,  
И путешествовать пустился.  
Оттоль статейки присылал,



В них русским льстил, других ругал,  
 Но тем не выиграл у трона;  
 Лишь за границею стяжал  
 Он имя русского шпиона...  
 А наша связь свое взяла!  
 Вновь с Гречем мы соединились...  
 Стыдливость глупая прошла,  
 С ней честь и совесть удалились.  
 Воскресли мы; сильнее с тех пор  
 Взяла нас злость на всех известных,  
 Душа рвалась при виде честных,  
 Алкала сплетень, лжи и ссор...  
 Нам тошен был журнал правдивый,  
 Поэт, художник и актер  
 И в юноше талант счастливый!..  
 На всех двойной точили нож,  
 Всех под сюркуп вели... И что ж?  
 Из всех лишь одного большого  
 Нам страшно резать старика:  
 На Николая Полевого  
 Не подымается рука! "...

Интересны также подробности юбилея, который праздновал Греч в конце прошлого года, но о них когда-нибудь после <sup>1</sup>.

Вот песенка, сочиненная каким-то Соколовым, или Вл. Соколовским <sup>2</sup>, по восшествию на престол Ник[олая] Павл[овича]:

Русский император  
 В вечность отошел,  
 Ему оператор  
 Брюхо распорол.  
 Плачет государство,  
 Плачет весь народ;  
 Едет к нам на царство  
 Константин урод.  
 Но творцу вселенной,  
 Богу вышних сил,  
 Царь благословенный  
 Грамоту вручил.  
 Манифест читая,  
 Сжалился творец,  
 Дал нам Николая,  
 Сукин сын, подлец.

Песня сама по себе ничтожна и пуста, но замечательна потому, что из-за нее поднят б[ыл] целый судебный процесс, в котором захватили и Искандера. История этого процесса и последствий его и дала ему повод написать книгу: «Тюрьма и ссылка».

<sup>1</sup> См. собр. сочин. Н. А. Д-ва под ред. Е. В. Аничкова, изд. „Деятель“, т. IX, стр. 3—7 и 512—514.

<sup>2</sup> Написана Вл. Игн. Соколовским, товарищем Герцена по университету.

1856 г. 1 янв[аря]. Сегодня я был у Ж. Говорил о новостях нашей политики и литературы, и между прочим я узнал несколько фактов дов[ольно] интересных. Вот, напр[имер], недавно г. Монферран <sup>1</sup> сделал комиссии, учрежденной для постройки исак[иевского] собора, след[ующее] предложение: в Италии заказаны барельефы (для каких-то простенков исак[иевского] соб[ора]). Гипсовые модели этих барельефов хранились в Спб, для того, чтоб их можно было, когда нужно, поставить, посмотреть, словом, как модели. Но они были в сыром месте, отчего испортились и развалились. Вследствие чего г. Монферран просил комиссию разрешить вылить новые формы и по ним сделать модели, и как те, так и другие хранить — для будущих надобностей. На все это нужно отпустить 6.000 руб. сер[ебром]. Комиссия разрешила — к этому едва ли что нужно прибавлять; разве еще то, что большая часть прежних моделей барельефных украшает, говорят, стены в домах людей, имеющих непосредственное участие в стройке собора.

Такого же рода история была при постройке благовещенского моста. Для его сооружения разрешено было возить из-за границы чугун без пошлины. Так в таможне и принимали чугун — для благовещ[енского] моста, нисколько не заботясь осматривать его и записывать его количество. В продолжение 6 лет непрерывно возили чугун для моста, на завод Берта, наконец Б[ерт] <sup>2</sup> усовестился и перестал возить. Дело так бы и кончилось, но один таможенный чиновник, на глазах которого происходило все это дело, но который ничего не получил при этом, рассчитал, что он может получить здесь некоторые выгоды. Зная достоверно, что один получил за эту спекуляцию 100 000, другой 50 000, третий 30 000 и т. д., он явился к каждому из них и требовал <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, если они не хотят, чтоб он донес. Те его прогнали. Он явился и к Берту, тот тоже ничего ему не дал. Тогда чиновник действительно донес... Пошло было дело. Все оно едва не обрушилось на Пашкова <sup>3</sup>, который, впрочем, по глупости своей, позволяя брать другим, сам однако ничем здесь не воспользовался. Но принужденный принять похмелье в чужом пиру, он хлопотал, бегал, просил, другие тоже не жалели ни хлопот, ни денег, и дело было решено тем, что дан был выговор чиновнику, который принимал чугун, за то, что он не записывал количества...

<sup>1</sup> Архитектор, строитель исак[иевского] собора.

<sup>2</sup> Берт Карл, владелец франко-русского судостроительного завода.

<sup>3</sup> Пашков М. В.—управляющий департаментом внешней торговли.



Подобную таможенную штуку рассказывают о князе А. С. Меншикове<sup>1</sup>. Он, по бедности своей, выпросил у Н[иколая] П[авловича] дозволения выписывать из-за границы разного рода вещей на 25 000 руб. сер[ебром], как позволено посланникам. Ему позволили. Присылают из-за границы тюк на имя кн. Менш[икова]. Присылают ему уведомление и просят пожаловать в таможенную. Он говорит, что ему некогда; просят прислать доверенное лицо; он говорит, что хочет сам лично осмотреть вещи, которые ему присланы. После нескольких переговоров, он наконец просит, чт[о]б[ы] вещи прислали к нему на квартиру. И это для него делают: присылают вещи и с ними чиновника для того, чт[о]б[ы] рассмотреть, что есть в тюках. Чиновник приезжает, спрашивает князя; ему говорят, что князь занят и не может принять его. Делать нечего; чиновник собирается ехать с тюком назад. Вдруг выходит князь: «куда вы тащите мои вещи?..» — «Обратно в таможенную, в[аше] с[иятельство], мне сказали, что вы теперь не можете заняться рассмотрением присланных вам вещей...» «Ну, да, теперь я не могу, мне некогда; да для чего же вам везти этот тюк обратно, оставьте его у меня, а завтра или послезавтра придите: мы его освидетельствуем вместе»... Чиновник видит, что делать нечего, оставляет вещи и уходит. Является завтра — князю некогда; является послезавтра — князя нет дома; является еще через день — у князя гости... Наконец улучшает удобную минуту, застаёт князя: он выходит к нему и говорит: «а я уже разобрал мои вещи без вас, мне нужно было... Тут все верно: все вещи, которые значатся в описи, все налицо»... — Но, в[аше] с[иятельство], по правилам должен таможен[ный] чиновник присутствовать при распечатывании тюков... «Так что же? Может быть, вы боитесь, что я украл здесь что-нибудь», говорит князь, с видом оскорбленного достоинства... — Помилуйте, в[аше] с[иятельство]... но... только... — «Так что же вы — из чего хлопчите?.. Я вам говорю, что верно... Я думаю, мне-то вы можете поверить»... И так происходило каждый раз, когда присылались посылки кн. Меншикову. Говорят, что он, вместо 25 000, получил тысяч на сто разных вещей.

26 числа дек[абря] был пожар на Нев[ском] проспекте. Горел дом Энгельгардта, в котором находится магазин рус[ских] изделий. Купцы сложились все и дали пожарной команде 2 000 руб., чт[о]б[ы] они оставили в покое ту часть дома, где не было огня,

---

<sup>1</sup> Был дипломатом, во время крымской войны одно время был главнокомандующим.

и ничего там не крали. Действительно, — ни у кого не пропало ни одной вещи. Поплатились только те, которые имели магазины в том краю, который ближе к католич[еской] церкви и который именно подвержен был действию огня. Говорят, что и те, которые живут в доме католич[еской] церкви, употребили ту же меру, для сохранения себя от усердия пожарной команды... В газетах превозносили деятельность, неустрашимость и пр. полиции. На пожаре был Николай Николаевич.

2 я н в [а р я]. В декабрь[ской] книжке С о в р [е м е н н и к а] помещено начало заметок Нового Поэта о петерб[ургской] жизни. Там толкуется о разных литераторах, и именно: литератор, к которому все ходят читать свои произведения, — Тургенев; литератор, любящий водку, — Писемский; литератор, которого все поднимали и который кричал все «выше, выше», — Достоевский Ф. — Панаеву также принадлежат «Литературные гномы», помещ[енные] в 1854 г. в С о в р [е м е н н и к е]... Там гном в золотых очках — Кони, а гном с мочалкой на голове — В. Зотов. Кстати — Зотову принадлеж[ит] фельетон в Спб. В [е д о м о с т я х] о декабр[ьской] журналистике... Писемский, рассказывают, большой эгоист, думает о себе весьма много, произведения свои читает беспрестанно, так что одному человеку пришлось слышать от него Плотничью артель в различных обществах 12 раз. Григорович — человек на первый раз довольно пустой — светский, но очень добрый. У него есть *idée fixe* — собирать отличные произведения фарфоровые. Однажды, собираясь ехать в Москву, он получил фаянс[овое] японское блюдо, за которое просили с него 100 руб.; он заплатил, но у него не осталось денег на первый класс; он поехал в третьем... Там делал сбор в пользу пленных англичан — до 50 руб., потом зашел в вагон перв[ого] класса, заболтался со знакомыми, хотел там остаться, но был с позором выпровожен кондуктором. Этот случай тоже упомянут в С о в [р е м е н н и к е] (Смесь жел. дор. 1855 г. № XI).

3 я н в [а р я]. Чудеса рассказывают про Александра Николаевича. Просто хочется верить и не верится. Напр[имер], недавно говорили, что один чиновник донес на другого, что он дурно отзывался о государе: Александр велел, по закону Петра еще, наградить доносчика 5-ю рублями, и внести это в формулярный список, а болтуну чиновнику внушить — быть поосторожнее... Один студент также что-то острил насчет перемен формы, беспрестанно возобновляемых Александром. На него донесли, схватили его, представили царю. Тот спросил его, зачем



он решился высказывать в публичном месте свои скороспелые суждения. Студент оправдался тем, что он сказал это с досады, не имея денег на новую обмундировку. Александр — приказал ему выдать, сколько нужно на покупку новой формы... Из Киева донесли, что тамошние студенты и, кажется, поляки, составили праздник, узнав о взятии Севастополя, и пили за здоровье Пел[л]иссье<sup>1</sup>. Александр приказал... оставить студентов за это без обеда... Наконец, вот как рассказывают историю Мордвинова, столько наделавшую шуму. Это — человек, лично знакомый с Герценом и имеющий тенденции совершенно такие же, как и этот человек. Он ездил по России, распространял сочинения и идеи Искандера, даже говорят, что он был один из главных двигателей контрабанды, ввозивших в Россию сочинения Искандера... Наконец он приехал в Тамбов. Кроме своих резких суждений, он отличился там, говорят, еще тем, что прибил несколько объявлений, в которых говорилось, что англофр[анцузы] воюют теперь совсем не против рус[ского] народа, а против личности царя, против тиранства, что они хотят уничтожения рабства в России. Другие говорят еще, что он собрал к себе на обед всю тамбов[скую] знать и здесь прочитал им составленную им правдивую биографию Николая... Как бы то ни было, его схватили, — в Петербурге, кажется, — потом посадили в крепость. Сидел он там дов[ольно] долго. Наконец гр. Орлов является к государю с огромным докладом о Мордвинове, как государственном преступнике, заговорщике, бунтовщике и т. п. Александр узнал, в чем вина Мордвинова, и сказал только: «мне прискорбно, что говорят дурно о моем незабвенном родителе, и я бы этого не желал; но что говорят обо мне — так мне это решительно все равно. Мордвинов довольно уже наказан заключением: выпустить его»... — И Мордвинов действительно выпущен... Не знаю, что и думать о таком образе действий. Это всех поражает в высшей степени. И так привык русский народ к казням и ссылкам, что теперь почти никто не хочет верить бескорыстия и искренности Александрова великодушия. Одни говорят, что все эти рассказы вздор, пух, сети, расставляемые тайною полициею для новичков, которые, поверив им, начнут болтать теперь все, что у них есть на уме. Другие делают ужасное, сверхъестественное предположение. Теперь, говорят они, не будут заключать и ссылать вольнодумцев, но систему аббата Диэгриньи переменят на

---

<sup>1</sup> Французский маршал. Звание маршала получил за взятие Малахова кургана во время крымской войны.

систему Родена: их будут уничтожать. Грановский умер скоропостижно, написав свой «восточ[ный] вопрос». Искандер, говорят, тоже умер, и вскоре после письма к Александру... Недолго проживет и Мордвинов... Сердце отказывается верить этой злодейской, махиявелевской политике... А впрочем, почему мы знаем, какие начала господствовали и господствуют в нашем государств[енном] управлении... Нам этого не сказывают...

4 янв[аря]. Муравьев послан был на Кавказ за то, что разбил на маневрах Николая Павловича. Штрандманну он за то же самое сказал дурака; тот сказал, что он подаст в отставку. Н[иколай] Пав[лоевич] сказал: «ступай, за таким болваном не погонюсь»... Штрандманн — остался!.. Другого генерала также он обругал болваном: тот на другой день подал в отставку. Царь сказал, что он вчера погорячился. Генерал отвечал: «в[аше] в[еличество], вы можете всегда горячиться, когда вам только будет угодно», и все-таки вышел. Фамилия его <sup>1</sup>...

5 янв[аря]. Литературная новость: на И. И. Д[авыдова] написаны две эпиграммы. Одна сочинена кем-то <sup>2</sup>, говорят, — в Москве, и читается так:

Подлец душой, подлец из видов,  
Душеприказчик старых баб,  
И. И. сын Давыдов,  
Презренный Лазаревых раб <sup>3</sup>.

Это — подпись к его портрету.

Другая эпиграмма составлена Данилевским Г. П. не очень давно и гласит так:

Когда с Д[авыдовым] встречаюсь я порой,  
При людях как-то мне неловко и конфузно,—  
Как будто кто передо мной  
Показывает гузно.

Стихотворение: «Он при Уварове-французе» тоже принадлежит Данилевскому, и последний куплет его имеет след[ующий] вариант:

Он повернул свой парус дерзкий  
И стал доносчик богомерзкий  
На просвещение, светлый крин,—  
Науке русской сукин сын!..

<sup>1</sup> Фамилия не указана..

<sup>2</sup> Эпиграмма сочинена поэтом Ив. Петр. Ключниковым, в неискорженном виде напечатана в „Изв. отд. р. яз. и сл. Академии Наук“. 1912, XVII, кн. 4, стр. 7—8.

<sup>3</sup> Лазарев—попечитель Лазаревского института восточных языков в Москве; в этом институте Давыдов был инспектором.



6. я н в [а р я]. (?) <sup>1</sup> рассказал мне о том, каким образом еще в недавнее время принимали в Харьк[овский] университет. Там постоянно назначали для приемного экзамена одних и тех же профессоров, и профессора эти — старички большею частью — очень хорошо умели пользоваться случаем. Иные, поделикатнее, давали уроки новопоступающим, другие даже не совестились просто брать. Этому потакал и даже сам принимал в этом некоторое участие сам ректор — Артемовский-Гулак. Но особенно отличался здесь профессор латин[ской] слов[есности] Лукьянович, восп[итанник] Гл[авного пед[агогического] инст[итута]. Он, напр[имер], одному молодому человеку, который хотел просить давать ему уроки, сказал прямо: «да, хорошо... а знаете, что у меня теперь дом достраивается, деньги нужны, — принесите мне вперед 100 рублей». Года два или три тому восстали против этого проф[ессора] Ходнев, Костырь, Каченовский, два Лавровских — вообще все молодое. Чтобы поступить поделикатнее, решили составить комиссию экзаменаторов, в которую назначить уже не обычных профессоров, экзаменовавших прежде, а других. Лукьянович не хотел согласиться... Ему Костырь говорил сначала вежливо: «полноте, Ив. Лук., вам уже вероятно, надоело это — возиться с новичками; вы столько раз экзаменовали, и все одно и то же... Предоставьте уж кому-нибудь другому»... «Нет-с, ничего, это ведь моя обязанность», отвечал Лук[ьянович]: «да я и не тягочусь этим нисколько»... Несмотря на это, его заставили уступить... Экзамен приемный производился торжественно: в присутствии комиссии профессоров, ректора и помощника попечителя. При этом случилось на первый раз несколько историй, вследствие которых, напр[имер], Ходнев должен б[ыл] выдти из университета... На самом экзамене — вдруг, напр[имер], упал к дверям залы, за которыми стояли праздно зевавшие студенты — цветок. Лавровский бросился и поднял, посмотрел: в цветке была записочка, в которой экзаменуемый уведомлял кого-то о доставшейся ему теме, чт[о]б[ы] другой состряпал бы за него пробное сочинение. Лавр[овский] показал это ректору... Говорят, ныне злоупотребления в универс[итете] при экзаменах уменьшаются.

Впрочем, подобного рода истории совершаются и здесь, в Спб. В недавнее время запрещено профессорам давать уроки экзаменуемым, а прежде этого Устрялов получал по 25 р. за урок, и К. нажил себе дом частными уроками такого рода, при прие-

<sup>1</sup> Стояла какая-то буква, похожая на Б, зачеркнута самим Д-вым, очевидно по конспиративным соображениям. Так поступает он в нескольких случаях.



мах и выпусках. Петрашевский, кончив экзамен в унив[ерситете], бегал по коридорам и кричал всем, что латин[ский] профессор поставил ему 5 за то, что он дал ему 200 руб., хотя он ничего не знал. Что касается до здешнего законоучителя, прот. Райковского, то он приобрел себе, кажется, всеобщую знаменитость своим взяточничеством. Рассказывают, что ни один студент не пройдет сквозь его руки, не давши ему поживиться на свой счет. В этом году поступали в унив[ерситет] двое моих знакомых, один был совершенно беден, другой имел состояние; они явились оба к Райк[овскому] вместе, и один сказал о другом, что это его родственник, что они — бедные люди, что просят его обратить внимание на них, — и дали ему 75 руб. На экзаменах один из них срезался, поп поставил ему а. «Что это значит — единица», — спросил испугавшийся студент. «Да единица», — отвечал, улыбаясь поп, — «идите». Оказалось, что он ему выставил тройку. Замечательно, что Райковский не ставит прямо баллов, как другие профессора, но отмечает буквами разных азбук: а, а, N, b, б, β и т. п., значения которых никто не знает. Разумеется, это для того, чт[о]б[ы] не отдать тотчас списков и иметь их в своих руках для поправки. Действит[ельно], студент, после плохого экзамена, явившийся к Райковскому и давший ему взятку, может быть уверен, что балл его будет поправлен самим попом.

7 я н в [а р я]. Перед праздниками ныне случилось происшествие в Спб. город[ской] думе. Дело началось с того, что гражд[анский] спб. губернатор Смирнов, живущий возле Литов[ского] рынка, нашел, что на дворе у него запах дурной. Ему сказали, что это от того, что недалеко находится рынок, где бьют скотину. По поводу этого обстоятельства Смирнов предложил призвать в думу всех мясников, чтобы заставить их бить скотину на бойне, а не на рынке. Призвали, — говорят им о деле, мужики слушают, разиня рот, и, не смея противоречить, готовы уже покориться судьбе, мысленно охая и высчитывая все невыгоды этого нового приказа, столь несправедливо подрывающего их в эти плохие времена... Но нашелся один богатый и бойкий мясник, который решился об'яснить губернатору невозможность и нелепость исполнения этого поведения. «Крупную скотину можно бить на бойне», говорил он, «и мы возим ее туда. А с мелкой скотиной этого делать нельзя. Там зарежут теленка или барана, или поросенка на Гутуевском острову да и бросят, — он и лежит пока в куче, а потом вези еще их, а пока везешь, особенно летом, кровь-то запечется, шкурка-то подопреет, черви накинута; шкурку-то станешь сдирать, — а она не сдирается... Скотинка-то и



испортится вся... Так ежели этак станем делать, так, глядишь, у вашего же превосх[одительст]ва не будет ни баранины, ни телятины»... Мужик еще говорил в этом роде, как Смирнов закричал на него и на всех мясников, обнаруживших сочувствие его речи: «Следовательно, вы не хотите»... Мясники опять задумались, зашептали... но прежний оратор снова заговорил вслух: «Да чего тут хотеть-то, в[аше] пр[евосходительст]во, коли нельзя... Тут не об хотеньи дело-то... Рад бы хотел, да не можно»... Смирнов рассердился... велел составить протокол о несогласии некоторых. Несогласный мясник вздумал посмотреть, что на них пишут, как Смирнов вдруг закричал на него: «эй, ты, поди прочь». Не предполагая, что подобная речь относилась к нему, мужик продолжал смотреть... Тогда Смирнов, в ярости, подбежал к нему и оттолкнул его от стола. Мясник обратился к своим товарищам и сказал насмешливо: «Эх, ребята, уж наших бить начинают»... Смирнов одумался, что поступил неловко, и, чт[о]б[ы] все последствия обратить на голову мясников, велел составить генерал-губернатору донесение об ослушании властям, которое было оказано писцу, а генерал-губернатор и прочие власти чуть не сделали из этого государственного возмущения. Однакож, как-то государь узнал всю правду. На рождество Игнатьев <sup>1</sup> приехал в дворец поздно и извинялся болезнью. Александр сказал ему, между прочим: «а, кстати: ведь дело-то о мясниках оказалось совсем не так, как вы представляли... Я советую вам полечиться», прибавил он потом... Однако, чем дело кончилось, еще неизвестно.

8 я [н] в [а р я]. В артилл[ерийском] училище был сегодня обед в честь Хрулева <sup>2</sup>. Хрулев, сказывают, корчит простого русского человека, но в сущности — бестия, не хуже других. На обеде был Мих[аил] Николаевич. Ростовцев <sup>3</sup> плакал от умиления во все время, когда говорили Хрулеву разные приветствия. Когда провозгласили тост за здоровье генерал-инспектора арт[иллерии] Корфа, множество присутствовавших зашикали, и начавшиеся «ура!» тотчас прекратились. Впрочем этот обед (стоивший более 4 000 р. сер[ебром]. С генер[ала] по 50 р., с штаб- 25 и с обер-офиц[ера] 10 руб.) обошелся без приключений.

---

<sup>1</sup> Игнатьев Пав. Ник., петербургский генерал-губернатор в 1854—1861.

<sup>2</sup> Хрулев Степан Александрович—генерал-лейтенант, ранен при обороне Севастополя.

<sup>3</sup> Ростовцев Як. Ив. ген.-ад'ютант, главный начальник военно-учебных заведений.

Обед Тотлебена<sup>1</sup>, — напротив, наделал чудес... Там все напились до того, что И[ван] П[етрович] Шульгин, проф[ессор], стал приставать к Тотлебену, который у него когда-то учился и учился плохо... «Ну, что ты», говорит, — «свинья»... Офицерам, окружавшим Тотл[ебена], это не понравилось; они, чтобы отомстить Шульгину, решили качать его... Шульг[ин] начал упрашивать, чт[о]б[ы] его оставили в покое, офицеры не отставали. Тогда за него заступился Я к о б и, акад[емик]: встал перед ним и сказал: если кто только осмелится тронуть Ив[ана] Петр[овича], я тотчас выброшу за окно этого господина... Ему сначала посоветовали быть поскромнее, «иначе вас выведут отсюда» — сказали ему. Но пьяный академик ничего слушать не хотел, и первого офицера, подступившего к Шульгину, действительно схватил за шиворот и оттолкнул очень значительно... Кончилось тем, что Якоби едва убежал в какой-то чулан от ярости офицеров, а потом, вышедши, заставлен был просить извинения у того, которого он толкнул так невежливо... Вот как подвизаются наши академики на поприще мирных искусств. Вот как проявляют свою силу!

На этом обеде Майков<sup>2</sup> читал стихи Тотлебену. Эти стихи напечатаны во 2 № С п б. В е д [о м о с т е й], но в печати выпущен один куплет, предпоследний. Вот он:

И вот теперь открылись вежды:  
Во все колокола звоня,  
Россия смотрит, как невежды  
Бегут, как тѣни от огня ..

9 я н в [а р я]. Вышнегр[адский]<sup>3</sup> рассказал мне несколько сведений об Уварове, бывшем министре народ[ного] просвещения. Вот, напр[имер], анекдот. Однажды Николай Павлович гулял с Марией Ник[олаевной] в Летнем Саду, и им повстречался студент, который не только не отдал чести государю, но даже не посторонился, т.-е. посторонился, но весьма мало, так, что потерял шинелью своею о шинель Николай Павл[овича]... Против обыкновения, царь не остановил его, не закричал на него, а только через несколько дней, на каком-то выходе во дворце, сказал Уварову: «твои студенты совсем меня затолкали: на днях мы гуляли с дочерью, и один из студентов чуть с ног меня не сшиб»... Уваров затрясся, побледнел от страха и произнес, заикаясь: «государь! я его уничтожу»... Вышн[еградский] говорит, что, довольный этим уничтожением, Николай велел оставить студента в покое.

<sup>1</sup> Тотлебен Эдуард Иванович — ранен при обороне Севастополя.

<sup>2</sup> Майков Аполлон Николаевич.

<sup>3</sup> Вышнеградский Николай Алексеевич — экстраординарный профессор Гл. пед. ин-та, брат Вышнеградского И. А., министра финансов.



Другого рода история произошла с одним пройдохой-немцем. Этот немец профессорствует теперь в одном из наших университетов и вот как рассказывает о своем профессорстве. «Явился я», говорит, «к гр. Уварову с письмом от Германа, бывшего учителя графа; в это время был у него ректор Харьк[овского] университета. Граф разговаривал с ним, греясь перед камином; я стоял в стороне. Только вдруг заметил я, что огонь в камине начал погасать; я, будь не плох, прокрался по стенке, подошел к камину, сзади графа, и раздул огонь; ему вдруг стало теплее, и он обратил на меня внимание, поблагодарил и, рассмеявшись, несколькими ласковыми словами, спросил вдруг ректора, нет ли у него места ад'юнкта-профессора для этого молодого человека. У того нашлось место, и я так[им] обр[азом] сделался профессором»... И этот господин, без зазрения совести рассказывает о том, какой ценой купил он свое профессорство.

В[ышнеградский] сообщил мне еще, что, в последнее время правления Уварова, министерством решительно управляли немка Фон-дер-Фур, к которой Уваров летом каждый день ездил на дачу, Комовский<sup>1</sup>, счастливый соперник Ув[арова] у этой женщины, и несколько немцев, между прочим Миддендорф<sup>2</sup>, которым позволено было тогда воровать, сколько душе угодно.

10 я н в [а р я]. Вот, в pendant к рассказам о маневрах, еще анекдот. Однажды назначено было одному генералу взять приступом Царское Село, а Мих[аил] Павл[ович] должен был защищать его. Приступ назначен б[ыл] в час, и Мих[аил] Павл[ович] с нетерпением ожидал его. Но генерал, сообразивши местность, нашел где-то незанятый войсками проход через болото, и так как в маневрах позволяется пользоваться всеми выгодами местности, то он и прошел в город через этот проход, — вошел, распустил войско по казармам и кончил дело. Между тем Мих[аил] Павл[ович] ждет тем с большим нетерпением, что после маневра назначен обед в Красном кабачке. Ждет он до двух, трех, четырех, пяти часов — и все ничего нет. Наконец, вышедши из терпенья, скачет он в Красный кабачек, сам не зная, что ему делать, как вдруг генерал, долженствовавший атаковать его, является к нему с тылу донести, что войска прошли в город благополучно... Штука показалась столь затейливой, что генералу этому, кажется, ничего не было за столь смелую проделку.

<sup>1</sup> Комовский Василий Дмитриевич, в 1838—1850 г. директор канцелярии министра народного просвещения.

<sup>2</sup> Миттендорф Фед. Ив. (1776—1856), директор Гл. пед. ин-та.

11 я н в [а р я]. По смерти Н[иколая] Павловича кто-то написал следующее двухстишие:

Усопшего царя напутствовали ревом—  
Греч, дважды сеченный, с кликушей Шевыревым  
Сокальский.

Это относится к статье Греча в Северной Пчеле и к стихам, кажется, Шевырева...<sup>1</sup>.

Кстати: над Шевыревым сострил один из студентов московских: пред празднованием юбилея, описывая все распоряжения для праздника, в письме к одному из петерб[ургских] студентов, он заключил: «наконец С. П. Шевырев будет петь стихи своего сочинения, а один из студентов будет аккомпанировать ему на арфе»...

12 я н в [а р я]. (?) рассказывал, что во время путешествия Александра Николаевича по России нашел он в каторжной работе одного старика, уже совершенно седого, истощенного, но все еще отличавшегося от прочих необыкновенной кроткостью и простодушием в лице. Ал[ександр] Ник[олаевич] обратил внимание на его физиономию и спросил, за что посадили его в рудники. Старик отвечал, что он сам этого не знает, и рассказал, что однажды он был где-то в гостинице, был немножко пьян и вышел на двор, чтобы высцаться. На дворе увидал он повозку и подошел к ней, как вдруг почувствовал, что его кто-то схватил сзади, посадил в повозку, закрыл и через несколько минут отправились... Ехали-ехали и наконец приехали в каторгу... Между тем старик не помнил за собой никакого преступления, никакой тайной связи, никакой дерзости... Ал[ександр] Ник[олаевич] записал его имя. Справились: в числе отправленных в ссылку такого не было... Отыскали как-то, кто назначен был провожать преступника в день, названный стариком... Старик жандарм был еще жив и признался, что на первой же станции преступник умел как-то, деньгами и просьбами, выхлопотать себе у него позволение выйти из повозки и пройтись по двору. Спустя мгновение его уже не было. Жандарм, не ожидая подобного явления, напился — и не мог догонять беглеца. Но хмель тотчас пропал у него, и он с удивительным присутствием духа схватил и посадил в кибитку человека, подвернувшегося ему под руку; запер его, тотчас отправился и, привезши к месту назначения, сдал под именем преступника, вверенного его хранению.

---

<sup>1</sup> К Шевыреву Д-з всегда относился резко отрицательно.



13 я н в [ а р я]. Однажды Ник[олай] Павл[ович] встретил на улице одного воспитанника Училища Правосведения, молодого человека, высокого, полного, здорового, и, прельстившись его молодецким видом, спросил: «хочешь ко мне в службу?» — «Я и готовлюсь к службе вашего величества», отвечал правовед. — «Дурак», крикнул император.

Другой подобный случай. Один тоже правовед шел мимо Зимнего дворца. Только что он поравнялся с под'ездом, как из дверей выходит Николай Павлович. Правовед остановился, чтобы не пересекать дорогу государю, и сделал ему честь. Николай Пав[лович] взглянул на него и вдруг спрашивает: «не в военную ли службу просишься?»... Правовед, который не хотел вовсе быть солдатом, отвечает: «я бы не посмел для этого останавливать ваше величество, так как недавно еще было запрещено беспокоить августейшее внимание подобными просьбами — на улицах». А действительно за несколько дней пред тем напечатано было в газетах, что кто хочет в военную службу, тот обращайся к особо назнач[енным] для этого людям, а не смей беспокоить государя на улице и на прогулке, как это до сих пор делали. Возмущенное таким ловким ответом, его величество вскричало: «болван!», село в экипаж и уехало.

14 я н в [ а р я]. Вот еще два анекдота о Райковском. Одна степная помещица привезла своего сына в университет. Он был до-в[ольно] хорошо подготовлен, кроме закона божия. Нашедши здесь знакомого священника, она просила его рекомендовать умного законоучителя, который мог бы приготовить его сына. Тот сказал ей, что приготовить может здесь каждый священник, но только от этого мало как пользы будет; а для успеха в экзамене нужно обратиться к университетскому законоучителю... Тут священник об'яснил им все дело и, будучи знаком с Райковским, взялся с'ездить к нему и попросить его об этом. Приезжает, рассказывает, в чем дело, и просит дать два-три урока молодому человеку, прибавляя, что ему дадут 150 руб. асс[игнациями] за урок (тогда еще были ассигнации)... Райковский отвечал: «с величайшим бы удовольствием сделал это для вас, но верите ли, решительно ни одной свободной минуты теперь не имею»... Дело было перед экзаменами.

В другой раз один студент, которому нужно было держать у попа окончательный экзамен, перед самым экзаменом однажды в университете, при всех студентах, спросил его: «не хотите ли, батюшка, купить кусок голланд[ского] отличного полотна, за дешевую цену: у меня есть теперь». Зная, что значит подобная

продажа перед экзаменом, Р[айковский] сказал ему: «да, мне нужно полотно, пришлите ко мне»... Накануне экзамена студент присылает кусок отличнейшего, дорогого голланд[ского] полотна и — выдерживает последний экзамен, но только на другой же день присылает человека, спросить, угодно ли батюшке купить полотно, — за 60 руб. кусок, — и если не угодно, то чт[о]б[ы] батюшка потрудился отослать его назад с этим человеком. Опасаясь скандалу, батюшка должен был отослать полотно.

15 янв[аря]. Генерал Симб[орский]<sup>1</sup> говорил у (?) в присутствии (?), который передал мне это, о Людовике Наполеоне, что этот человек необыкновенного ума и что он имел личные неприятности с Ник[олаем] Павловичем. Когда Мария Ник[олаевна] путешествовала по Германии, кажется, Швейцарии, Люд[овик] Нап[олеон] заметил однажды нашему посланнику Киселеву, что «вероятно, наша кузина [по Максимилиану] посетит и нас». Киселев отписал немедленно Н[иколаю] Павловичу, но этот, вопреки всем правилам вежливости, написал Киселеву да и к дочери, чт[о]б[ы] ни под каким видом не сметь заезжать во Францию. Киселев должен был передавать Люд[овику] Наполеону эти «ни под каким видом», — и, несмотря на весь лоск и смягчение фразы, тогда уже можно было видеть, говорил Кисел[ев], что этот человек даст щелчок рус[скому] императору.

16 янв[аря]. Однажды случился пожар в Спб. Николай Павлович проезжал мимо в самом начале пожара, остановился и начал наблюдать. Пожарная команда из ближайшей части была уже тут, но обер-полицмейстера еще не было. Прошло несколько минут, прежде чем заметили государя. Вдруг разнесся в толпе и в команде шопот: «Галахов, Галахов<sup>2</sup> едет», и дело закипело. Все стали деятельнее, везде работали; между тем Галахов появился только через несколько минут. Никол[ай] Павл[ович] озлился на то, что его величество менее замечают, чем Галахова, и, во-первых, не принял в соображение дальности расстояния, разругал его за поздний приезд, а потом осведомился, почему узнают его приближение задолго до приезда. Кто-то об'яснил ему, что это узнается по особенному крику кучера обер-полицмейстерского. Он даже берет взятки за это с квартальных и частных и брандмейстеров, чт[о]б[ы] показывать им заранее при-

<sup>1</sup> Было три генерала Симборских; о котором говорит Д-в, установить трудно.

<sup>2</sup> Галахов Ал. Павл., брат Галахова С. П., сыну которого Д-в давал уроки.



ближение начальника. А голос у него, действительно, был очень сильный и как-то страшный... Узнавши все это, Ник[олай] Пав[лович] сделал кучеру Галахова запрещение кричать при проезде по улицам, что, говорят, отняло у него частичку его постоянных доходов... Сам же Галахов, чт[о]б[ы] не подвергнуться другой раз выговору, распорядился касательно пожаров весьма ловко. Он приказал, чт[о]б[ы] по усмотрению огня в каком-нибудь здании тотчас отправляли к нему гонца, а шары вывешивать, погодили, и повесили только тогда, когда, по расчету, курьер уже должен быть у Галахова и довести до его сведения о пожаре; после этого выводить и запрягать пожарных лошадей. Так[им] образом, бывает обыкновенно, что обер-полицмейстер приезжает на пожар в одно время с пожарной командой, что ему доставляет благодарность высшего начальства и удивление его точности. Правда, иногда целый дом сгорит, прежде чем пожарные явятся тушить пожар; но что же делать? Надо же подождать начальника полиции. Иногда случается, впрочем, что Галахова не найдут дома и посылают за ним в другое место. Тогда, очевидно, он должен опоздать немножко. В этом случае, если, приезжая на пожар, находит он здесь кого-нибудь из царской фамилии или из близких к ним, он прямо старается броситься в какую-нибудь лужу, стать под пожарную трубу, потереться около обгорелых бревен и т. п. — и потом в таком виде явиться к высокой особе с свидетельствами своего усердия и неустрашимости. Если же нет ничего подобного, и пожар где-нибудь на Охте, то он преспокойно становится напротив горящего дома, закуривает от головешки сигару и, вдали от огня, покрикивает иногда на брандмейстера, который трудится в самом пламени.

С этим почтенным человеком случилась однажды такого рода история. Явилась к нему женщина жаловаться на мужа, который нещадно бьет ее. Галахов говорил сначала, что разбирать это не его дело; но потом, вняв ее слезным мольбам, велел прислать его к себе. «Да он один-то не пойдет к вам», отвечала она: «дайте мне жандарма, чтобы он его привел к вам»... Галахов согласился, призвал жандарма и приказал ему привести того человека, на которого укажет эта женщина. Отправляются, и женщина эта прямо идет в англ[ийский] магазин, набирает там на несколько тысяч рублей мелких вещей и велит уложить их в карету, которая как-то очутилась тут же, за деньгами же просит послать с ней одного из приказчиков, с которым она разочтется по счёту дома... Соглашаются; она выходит из магазина с приказчиком, и, указывая ему на дожидавшегося при входе жандарма, говорит: «ступайте с ним, а я поеду и сейчас буду

дома». Ничего не подозревая, приказчик отправляется с жандармом, является к Галахову, и тот грозно начинает вопрошать его: «как вы смеете вашу жену бить?»... Неженатый приказчик сильно сконфужен, не знает, что делать, а обер-пол[ицмейстер] ругает, ругает, ругает его — немилосердно... наконец... приказчик осмеливается представить свой счет, — и дело об'ясняется... Убыток в этом деле понес однако магазин, а не Галахов...

17 я н в [а р я]. Николай Павл[ович] однажды рассердился на то, что в лагери какого-то полка, близ Петербурга, ездило множество дам, и приказал, чтобы ни одной никогда не было. Приказание исполнено: с'езды прекратились. Но вдруг, через несколько дней, Николай Павл[ович] приезжает сам в лагери и встречает одну девицу, которая собиралась садиться в карету и уезжать. Он тотчас велел ее задержать и, не думая долго, закричал: «барабан!»... Притащили несчастную к барабану; с ней обморок, но ее, без чувств, все-таки положили головою на барабан, и так[им] обр[азом] обстригли ей косу. Затем Николай, очень довольный собою, отпустил ее. Это была дочь одного генерала, приехавшая повидаться с своим отцом.

18 я н в [а р я]. Сегодня попался мне извозчик, удельный крестьянин. Я разговорился с ним. Мужик очень неглупый. Он понимает, что он не государственный, а государынин крестьянин, и когда я спросил, кто же вами правит, так он отвечал мне очень просто: «а у нас управляющий есть, от государыни взят»... — «Кто же такой?». — «Да вот был прежде Волконский, а теперь Перовский у нас управляет». Мужик хвалит свое положение, и в самом деле — платит только 10 руб. асс[игнациями] в год с души и больше ничего не знает. Но, разговорясь побольше, он рассказал, что и им бывают тоже некоторые стеснения. — Что же такое? «Да, вот, сударь, теперь эти десятины косили. Бывало этого ничего мы не знали. А теперь мы, знаешь, особый участок и сеем, и пашем, и убираем, а хлеб ссыпается в запасные магазины». — Да ведь это для вашей же пользы, братец; это про запас делается, чтобы было где взять, когда неурожай будет, или обеднеет мужичек от чего-нибудь... «Э, барин, известное дело, что так бы следовало... Да ведь ежели бы весь хлеб, что соберут, в амбары-то сыпали да там и берегли, так его бы уж теперь и класть некуда. А то вот у нас управляющий был над двумя волостями (Старополье и еще что-то вроде Осмяны), Готов, — так на нем 90 000 посчитали казенного долга; ведь это немало денег 90 000... Да это еще



сочли столько, а что без счету-то пропало, так и говорить нечего... Бывало поедет в Петербург — поставишь ему корец с серебром, и не подымешь один-то; а и то еще не достанет, занимает по дороге. Отколе ему такие деньги брать было? Вестимо, что от мужиков тащил... Да вот, и теперь, бог знает, что с ним делают; ну, отдали под суд, сидел в остроге; хотели было и услать совсем, а теперь дело остановилось, из острога выпустили, и решения нет никакого»... — Да отчего же это так? Подарил что ли судей?... — «Нет, оно извольте видеть, — у него есть сестра что ли замужем, а у мужа-то ее сестра фрейлиной у государыни-то. Вот он, значит, через сестру-то и хлопочет у государыни. Уж бог их знает, как они кончат»...

19 янв[аря]. Недавно в Алекс[андринском] театре было представление Дмитрия Донского<sup>1</sup>. Когда актер сказал: «лучше смерть, чем позорный мир», все зрители встали с мест, и произошло волнение, весьма значительное... Кричали, говорят, «ура»!.. Галахов донес государю, который велел будто бы сказать театральной дирекции, что она очень неудачно выбрала время для представления этой пьесы.

Говорили еще, что на-днях мужики и купцы, собравшись и напившись в одном трактире, на Васил[ьевском] острове, тоже прониклись патриотическим одушевлением и переломали стулья и стекла, крича, что не нужно мира.

Вообще о мире говорят с неудовольствием, хотя войны никто не хочет. Это значит — положение скверное, да и выход-то из него не очень хорош...

Что-то, похожее на восстание и на ропот, было также на Сенной, в тот день, когда в русских газетах появилось первое известие о том, что Россия принимает мир от союзников. Дело дошло, говорят, до вмешательства полиции.

20 [января]. Одна барыня послала человека в модный магазин взять от модистки платье, которое ею было заказано. Так как платье нужно было очень скоро, она велела лакею ехать в карете, которая была для нее заложена. Лакей, по обычаю, стал на запятки и отправился. Приехал, взял платье, стал опять на запятки, а платье держит в руках. Вдруг пошел сильный дождь; лакей стоит с платьем на запятках, не смея сесть в карету. Дорога довольно длинна была, и платье все было испорчено дождем. Когда он его привез, надеть его не было никакой воз-

---

<sup>1</sup> „Дмитрий Донской“ — трагедия В. Озерова.

возможности. Лакей, разумеется, заплатился за это собственной личностью. Это — смешно...

Один офицер, приехавший на парад, который был назначен на Царицыном лугу, среди жестокой зимы, был в шубе; отправляясь на свое место, он снял, разумеется, шубу и отдал ее человеку, который за ним следовал, — чтобы он его дожидался и тотчас, по окончании парада, подал ему шубу... Парад продолжался несколько часов. Лакей мерзнул, не смел погреться обыкновенным русским способом, пот[ому] что боялся оставить шубу; не смел, конечно, и подумать о том, чт[о]б[ы] надеть барскую шубу на себя... По окончании парада, когда народ разошелся, его нашли мертвым: он замерз... Владелец шубы не отыскался, мож[ет] быть опасаясь, чтобы не осудили его за то, что смел с шубою явиться на парад: это ведь не по форме... Это же — ужасно...

(Случай этот описан Мицкевичем в *Przegląd Wojska* и упоминается Дарденкуром в *Etoile polaire*.)

21 янв[аря]. Носится слух, что сменяют Мусина-Пушкина. Давно было пора. Он много, кажется, наделал уже зла русскому просвещению. В цензуре он, как председательствующий, распоряжался совершенно по-татарски, так что один историк литературы делил ее на периоды: от Пушкина до татарского владычества, т.-е. до Пушкина же, — но уже не просто Пушкина, а Мусина, и от него до наших времен. М[усин]-Пушкин никак не хотел пропустить вторую часть «Мертвых душ», и она вышла благодаря содействию Константина Николаевича и засвидетельствованию Орлова, что в ней нет ничего противозаконного. Говорят даже, что М[усина]-Пушк[ина] уломали согласиться, предложивши ему напечатать несколько экземпляров *editione purgata* и ему доставить один из этих экземпляров, чт[о]б[ы] его православная душа не могла там ничем смутиться. Перепечатка первой части тоже встретила затруднения в мудрой голове его сиятельства...

Кроме того, он славится отличным соображением и обходительностью самою деликатною. Вот примеры.

Однажды, выходя из университета, он видит, что какой-то человек обращается к швейцару, который шел отворить ему дверь, и спрашивает, кому нужно подать прошение о том, чтобы дозволили слушать лекции в университете. Услышав об университете, которого он почитал себя полным властелином, М[усин]-Пушк[ин] без церемонии обратился к спрашивающему и закричал: «что ты тут расспрашиваешь? А, меня, болван, не видишь



разве?». Чиновник, хотевший слушать лекции, — был удивлен и отвечал, что он не знает, с кем имеет честь говорить. Попечитель распахнул свою шубу и, указывая на звезды свои, сказал: «этого ты не видишь? Теперь ты не знаешь меня?»... — По звездам вижу, что генерал, а по манерам, должно быть, — здешний попечитель, — сострил чиновник... Попечитель тут же вышел из себя, разругал его, как только мог хуже, чуть не прибил, окончил приказанием посадить его в карцер. Случилось, к несчастью, что чиновник этот близок был как-то к Нессельроду; он тотчас ему рассказал всю историю... Нессельр[оде] написал к Норову. Норов призвал к себе Пушкина. Пуш[кин] явился и прежде всего высказал свое оскорбление, что его смеют призывать нарочно, тогда как он имеет такие же права, старше по службе, больше орденов имеет, и пр. Норов, конечно, задетый этим, сказал ему: «я пригласил вас по праву министра, и только за тем, чтобы сделать вам выговор за ваше неделикатное и грубое обхождение с людьми, которые этого не заслуживают. Вы один из представителей рус[ского] просвещения, а каким вы себя показываете?»... Сказавши несколько назидательных слов в таком роде, Норов ушел, оставя попечителя в положении, далеко не утешительном.

Подобные вещи случаются с ним очень нередко, но выговоров он, разумеется, не получает за них. (?) <sup>1</sup> говорил мне: «мой брат поступал в университет, но для него не б[ыло] вакансии; нужно было попросить М[усина]-Пушкина. Меня взялся отрекомендовать ему один человек, которому П[ушкин] должен. Мы приехали и встретили прием, столь ласковый, обязательный и радушный, что я не хотел верить его неистовствам до тех пор, пока сам не увидел, как он гнался по Невскому с палкой за одним гимназистом, прошедшим мимо него, не сняв фуражки»...

Вышин[еградский] на лекции рассказывал также, что, по соображениям казенного интереса, М[усин]-Пушк[ин] не велел в петерб[ургских] гимназиях выписывать в каждой по несколько журналов, а приказал, чт[о]б[ы] каждая гимназия имела один журнал, и потом чт[о]б[ы] они менялись одна с другою своими книгами. Распоряжение очень экономическое.

22 я н в [а р я]. В один из последних годов жизни Ник[о-лая] Павл[овича] случилось с ним следующее происшествие. Ехал он раз летом по Невскому. Вдруг встречается старичек, в белой шляпе, в белом пальто, в белых панталонах, в белом

<sup>1</sup> Зачеркнуто в рукописи слово „он“.

жилете. При виде императора, он снимает шляпу и останавливается... Но царю показался подозрительным его костюм, блиставший цветом невинности, он приказал взять его... И вот, несчастного схватили, привели ни живого, ни мертвого, в часть, и потом, так как Галахову с ним делать было нечего (тут не было ни буйства, ни пьянства, ничего подобного), то его и отправили к Дубельту. Тот встретил его вопросом, к какому тайному обществу он принадлежит? Добряк разинул рот и решительно не знал, что ему отвечать: это еще больше утвердило Леонтия Вас[ильеви]ча в подозрении. Приступили к старику с ножом к горлу, бились несколько часов, заставили разговориться, и наконец узнали — что же? Что этот старик немец, экс-портной, ходит в парусинном пальто и брюках постоянно летом, для защиты от жара, и для дешевизны. «У меня две такой платье, — говорил он, — когда один загрознится, тогда жена мне другой вымоет, и у меня каждые неделя есть чистой платье». Наивность немца убедила, наконец, в его невинности; но, как взятый по высочайшему повелению, он не мог быть так отпущен, и его отпустили, взяв с него подписку, что больше не будет ходить в таком платье.

23 я н в [а р я]. Несмотря на официальные уверения, многие верят нашим подвигам в Крыму, особенно где замешаются стратегические соображения наших военачальников. Между самыми солдатами вот какие песни ходят:

Как четвертого числа

. . . . .

Кроме этой песни, показывающей уже достаточно, какой дух начинает появляться в верных войсках наших, есть еще другая, на тот манер. Выписываю и ее:

Как восьмого сентября

. . . . .

Не знаю, как в Крыму, но в Петербурге эти песни имеют большой успех. Их читают и списывают. Мне случалось встречать офицеров, которые знают их наизусть...<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Песни эти под заголовком „Песни крымских солдат“ были напечатаны Герценом в Полярной Звезде. Авторы их севастопольские офицеры, в том числе Л. Н. Толстой. Вторая песня сочинена главным образом им. В целях экономии места приводим только первые строки. Полностью эти длинные песни можно прочесть в книге: П. Б и р ю к о в. Л. Н. Толстой. Биография. Том I, глава VIII. Кроме того, эти песни полностью напечатать и нельзя: есть „крепкие“ слова и выражения, которые не принято печатать.



24 я н в [а р я]. На днях пришло известие, что И. И. Д[авыдов] получил чин тайного советника. Странно, что его никто не любит, все говорят о нем худо, а между тем беспрестанно сыплются на него чины и награды. Об'яснением этому, до некоторой степени, может служить следующий случай, который о нем рассказывают. Бывши еще профессором в Москве, но умевши уже поставить себя на видное место между профессорами, он женился. Через несколько времени родился у него сын, и он называет его Сергеем, и немедленно пишет к гр. С. С. Уварову, что, помня благодеяния графа, имея счастье пользоваться его милостями и пр. и пр., он не может отказать себе в удовольствии дать своему сыну имя, прославленное в России высоким представителем русск[ого] просвещения, чт[о]б[ы] всегда видеть в родном семействе отражение щедрот его сиятельства и пр. и пр. Граф с удовольствием получил письмо и послал новорожденному какой-то значительный подарок. В то же время И. И. пишет к кн. С. М. Голицыну письмо, точно в таком же роде: Голицын поступает, как Уваров. Затем, говорят, еще к какому-то сановнику отправил он подобное же послание... Тот тоже, очень довольный тем, что в честь его дают имена детям, — не оставил И. И. своими щедротами. Но и этого мало: почтенный профессор пишет еще умильное письмо к м[итрополиту] Филарету, священно-архимандриту Троицко-Сергиевой лавры, и говорит, что подвигнутый благоговейным воспоминанием тех священных минут, которые провел он в лавре, и желая поручить плод своей супружеской любви покрову святого угодника божия, которого обитель спасла всю Россию в годину испытания, и, вместе с тем, чт[о]б[ы] сохранить и утвердить в потомстве своем благодарную память о том, кто, будучи священноначальником этой обители в наше время, неутомимо поддерживает русское православие и обращает свое милостивое архипастырское внимание на самого ничтожного из рабов божиих, трудящихся на пользу общества (чему пример на себе видел он), — он решился назвать сына своего Сергием и испрашивает на это архипастырского благословения, освящения и пр. и пр... Митрополит тоже благословил его каким-то дорогим образом.

25 [я н в а р я]. На днях (?)<sup>1</sup> говорил с одним вятским чиновником, который знал А. И. Герцена, хотя ничего не знает об Искандере. Из рассказов его видно, что ни одного слова, ни одного факта не выдуманно, не преувеличено в «Тюрьме и

<sup>1</sup> По конспиративным соображениям Д-ым тщательно зачеркнута какая-то буква.

ссылке»<sup>1</sup>. Все так, как было. Даже еще можно пополнить многое. Напр[имер], Тюфяев был сначала губернатором в Твери, и там, за хорошее управление, дворяне из маскарада раз отвезли его в один уединенный дом и так высекли, что он, будучи потом вытолкнут на улицу, едва имел силы позвать извозчика, который довез его до дому. В Вятке же у него положен был окуп на все места; напр[имер], исправник платил ему 40 000 асс. в год и за то делал, что хотел. В Вятке Искандер был близок с купцами Репиными и Машковцевыми<sup>2</sup>. Машковцев<sup>3</sup> был взят в Москве вместе с ним и должен бы быть сослан, как и он. Но отец его похлопотал и, истратив тысяч до 80, успел наконец избавить сына от ссылки. Что касается до самого Герцена, то он мало имел сообщения с обществом и только кутил, как говорит чиновник, с этими купцами. У Корнилова, бывшего губернатором в Вятке после Тюфяева, был он в силе потому, гов[орит] тот же, что брат Машков[цева] был у Корн[илова] домовым доктором — и, след[овательно], мог рекомендовать Герцена, как человека отличного. Герц[ен] человек небольшого роста, *maigre et pale*, — брюнет, с постоянно пасмурным выражением лица. «Раз, помню, — рассказывает чиновник, — вошел он в собор во время обедни, — подошел к стене, облокотился на нее, посмотрел минуты три вокруг себя и ушел»... Теперь начинают и в Вятке, как, конечно, и в других захолустьях России, узнавать о заграничной деятельности Искандера, — и недавно купец Рязанцев<sup>4</sup>, который тоже знал Искандера в Вятке, говорил чиновнику этому: «Знаете ли что... Говорят, Герцен, который, помните, жил у нас, в Вятке, написал недавно книгу, в которой всех жителей и весь город описал самыми черными красками».

26 янв[аря]. Вот несколько анекдотов о Николае Павловиче из книги Головина<sup>5</sup>: *La Russie sous Nicolas I-er*. Paris. 1845 г.

1. Отзываемый в Россию из-за границы, но не слушаясь этого призыва, Головин написал Нессельроду письмо, несколько

<sup>1</sup> Так называется 2-я часть „Былое и думы“ Герцена.

<sup>2</sup> Герцен в „Былое и думы“ упоминает Машковцева Арк. Петр., Ег. Петр. и Владимира.

<sup>3</sup> Егор Петрович, привлечен был по делу Герцена, Огарева и других вместе со своим 14-летним братом Аркадием.

<sup>4</sup> Очевидно, городской голова г. Вятки Рязанцев М. Н.

<sup>5</sup> Головин Иван Гаврилович, публицист, эмигрант. См. „Деятели революционного движения в России“. Том I. М. 1928, изд. Вс. об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев.



колкое, которое канцлер немедленно представил Николаю. Он прочитал это письмо в своем маленьком кружке придворном и сказал потом: «Кто бы подумал, что брат нашего Головина мог быть автором подобного письма? И кто же это смеет говорить, что этот человек хорошо пишет? Ну, господа, я вас самих делаю судьями и в этом деле: что, это письмо хорошо написано?». Господа, разумеется, кланяются и говорят: «конечно, нет, государь; это письмо написано чрезвычайно дурно»... (p[age] 29). Вслед за тем имение Головина подверглось конфискации; он сам был отдан под суд и объявлен государственным преступником, достойным ссылки в Сибирь.

2. Однажды в светлое воскр[есение] Николай пошел после заутрени христосоваться с солдатами... «Христос воскрес», говорит он одному. «Неправда», отвечает солдат, который б[ыл] жид и оказал при этом редкую в своем племени отвагу и честность... Николай за это запретил принимать жидов в гвардию (р. 112).

3. Т. Zejelinsky (?) подделывал подпись Николая. Как начальник канцелярии совета министров, он, за большие деньги, стирал или переделывал приговоры царя. Один чиновник, удаленный им от должности, донес на него. Царь призвал его к себе и царским словом обещал прощение, если он признается. Он признался, и был отдан под суд. Перед судом он отверг свое признание и был отдан в солдаты. Но скоро ему Николай дал опять XIV-й класс. Награбленное им добро осталось при нем.

4. В Берлине Николай приготовил великолепнейшую табакерку в подарок живописцу Крюгеру. Он показал ее принцу Августу. Когда подарок был сделан, принц опять увидел подаренную табакерку у Крюгера и удивился, нашедши, что это совершенно другая. Он сказал об этом царю, и Николай признался, что первую у него украли, и что он, к сожалению, ничего не может сделать для искоренения этого зла (р. 120).

5. Николай выразил цель своего царствования таким образом: «я хочу прежде всего обеспечить спокойствие моего Александра, сделать спокойным царствование моего сына». И когда этот сын прибежал к нему поздравить с тем, что он в Познани спасся от известного ружейного выстрела, тайно пущенного в него, вероятно из какого-нибудь экипажа его свиты, то Николай сказал: «не нужно, чтобы в народе даже могла родиться мысль о том, что можно стрелять в царя».

6. Николай, во все продолжение своего царствования, не выучился правильно писать по-русски. Он постоянно писал

мне<sup>1</sup>, и никто не смел ему заметить ошибку. Между тем на полях Сев[ерной] Пчелы, любимого его чтения, есть его заметки, из которых одна говорит, что название губерн[ских] и уезд[ных] учреждений нужно писать с больших букв (р. 174).

7. Он испортил корабль «Россия», заставивши увеличить его размеры, вопреки мнениям людей специальных. Он претендовал на морские познания и часто берется управлять движением судна на море. Но тогда капитан корабля становится сзади его и знаками своими показывает работающим противное тому, что приказывает его величество. Этим корабль спасается от неминуемой гибели, к которой его должны бы привести приказы царя.

8. Он имеет тоже претензию на всевозможные военные таланты. Под Шумлой он (из подражания Наполеону, — под Монтэро) сделал выстрел из пушки; но ядро, пущенное им, не достигло цели, пот[ому], ч[то] он плохо рассчитал расстояние, что ему еще раньше заметил один из артиллер[ийских] офицеров. Зато на маневрах он командует превосходно, и с удивительной проницательностью замечает малейшую ошибку солдата в самых отдаленных рядах. Ни одна пуговка, ни один крючечек не избежит его пытливого взора, которым он чрезвычайно гордится.

27 янв[аря]. Николая весьма смущало его немецкое происхождение, и он, стараясь подделываться под русские нравы, называл императрицу бабой... Раз он привел ее в Преображ[енские] казармы и возгласил солдатам: «что, ребята, ведь это верно, в первый раз после Елизаветы баба пришла к вам в гости!...».

Обуянный непомерной гордостью, Николай вдруг ни с того ни с сего отозвал посольство из Франции и оставил там простого chargé d'affaires, Киселева. При этом он провозгласил весьма торжественно: «Франция недостойна того, чтобы иметь у себя моих посланников».

Николаю чрезвычайно нравилось, когда он внушал страх другим, и это, конечно, удавалось ему нередко. Раз он встретил, в Петергофе, кажется, в собственных аллеях е[го] в[еличест]ва, молодого человека, который зашел туда, замечтавшись, пот[ому] ч[то] был влюблен... Встретив внезапно царя и подвергшись влиянию его неподвижного взгляда, молодой человек до того перепугался, что не мог двинуться с места и даже вымолвить слово... Царь, довольный эффектом, отпустил его, не сотворив никакого зла; но потрясение было так сильно, что молодой человек впал после этого в продолжительную болезнь, во время

<sup>1</sup> Гисал в то время без „ять“.



которой его любезная вышла замуж. Узнав об этом по выздоровлении, сошел он с ума.

28 янв[аря]. Вот что пишет Фир... из (?) <sup>1</sup>: «В 1855 г. в сентябре он выехал из Коломны на Георгиевск. Дорога шла проселком — он запутался с своим ямщиком в лесу. Хлестал дождь, было темно и сыро, дороги не знали. Наконец ямщик отыскал старика-лесовщика, который указал деревушку, в которой могли они переночевать, и указал на свой дом. «Вот тут есть дворик, — сказал он. — Там моя хозяйка живет. Коли хошь, поезжай. Только сынишка умер, горюн; завтра отпевать». И в голосе его выразилось что-то похожее на грусть, что-то болезненное, суровое...»

Я вышел из засады (он скрывался за тарантасом). Мужик принял за чорта и начал креститься.

— Ну, делать нечего, в[аше] благородие, поедem в эту деревушку... Ишь, чорт, — воскликнул ямщик, подходя к лошади и давая каждой по тумаку.

Мы потащились по пням. Скоро в'ехали в деревушку. В одной только избушке горела лучина. Мы к ней-то и под'ехали. С трудом я вылез из телеги, по причине холода, от которого окоченели у меня все члены. Изба разделялась на два отделения. В чулане лежало несколько богомолков, а в самом большом отделении стоял гроб, возле которого сидела женщина лет 45 и горько плакала. Это была мать. «Что, это сын твой?» — Да, боярин, — проговорила она и принялась вопить. Я подошел к гробу, открыл полотно и увидел под ним человека лет 20. Какая-то презрительная улыбка замерла на его тонких губах и какая-то гордость и упорство обозначались на его бледном лбе, окаймленном темно-русыми волосами. «Отчего он умер?» — спросил я мать мертвеца, когда она перестала выть. — Да недель 10 назад управитель начал бить моего хозяина, что у него срубили три сосны, а он тут был и не вытерпел, да и дал в ухо управителю. Тогда его, горюна, схватили и высекли кнутами на барском дворе... с тех пор зачах...

... На другой день, когда я проснулся, в избе пахло ладаном; перед гробом, скрестивши руки, стоял мой угрюмый знакомец, лесовщик. Я увидал, как он украдкою утер кулаком слезу, которая скатилась по его бледному морщинистому лицу; он как будто стыдился своих слез и, когда заметил, что я стал, то с равнодушным видом отшел от гроба и сел на лавку... «Ну,

---

<sup>1</sup> По соображениям конспирации написано намеренно очень неразборчиво.

баба, пора выносить, — сказал он глухим голосом. — Ну, прощайся... вот тебе и один сын»... Мать повалилась на гроб, громко вопя. После нее подошел отец. Лицо его помертвело, руки тряслись... Он медленно наклонился, приложил наконец свои губы к холодному лицу своего сына... Он долго лежал так[им] обр[азом] на гробе. Вдруг глухие страшные рыдания вылетели из его груди, — рыдания без слез...

Вдруг старик стал, провел своею рукою по голове, выпрямился во весь свой рост и принял свое обычное спокойное выражение.

— Уж, видно, такая холопская доля... Уж, видно, так на роду написано... А хороший был малый... — Крестясь, он взялся за гроб, чтобы вынести его из избы»...

Он же пишет о том, как его принял директор пермской гимназии, И[ван] Ф[ролович] Грацианский. Человек этот, говорит он, очень недалек, но много о себе думает и распространяет ужас между учениками одним своим появлением. Мальчиков в гимназии секут немилосердно за то, напр[имер], что сходят с своего места... Обращение директора в таком роде. «Ваш предшественник был болван, — сказал он, — и я его уничтожу». Ученикам он говорит: «ты что тут стоишь, дубина?.. А ты, болван, что не учишься?»... и т. п. Но этого мало: считая себя знатоком учености, он требовал, чтобы преподавание согласовалось с его идеями, и каждому новому преподавателю читал свои мысли о преподавании некоторых учебных предметов... — Сколько я знаю брата Грацианского, М. Ф[роловича], так это, действительно, должен быть, судя по М. Фр[оловичу], человек очень ограниченный и грубый, — воспитанник рязанской семинарии. Впрочем, М. Ф. довольно имеет и доброты душевной.

29 янв[аря]. Недавно сказывали мне у (?), что на границе перехватили транспорт с золотом, отправлявшийся из России. Золото в монете, на сумму около 5 миллионов, залито было в куски сала и переправлялось через польскую границу, кажется, в Англию. Разумеется, после этого не замедлили под рукой (публично это не объявляют) прославить деятельность и честность нашей пограничной и таможенной стражи. Не принято в соображение только того, что это, как говорят, уже пятый или шестой транспорт... Остальные прошли благополучно...

Если из России вывозят золото, то в воздаяние из-за границы, преимущественно из Англии, ввозят в нее значительное количество бумажек, которые разве только слишком опытный



глаз отличит от настоящих русских бумажек. Сказывают, что в Лондоне русские кредитные билеты выставлены, как здесь выставляются образчики свадебных и визитных билетиков, — для показания искусства работы. Однажды русское посольство ввязалось в это дело и потребовало наказания подделывателей. Но по английским законам можно осудить только за подделку подписи в такого рода деле, и потому нужно было доказать, что подпись наших кассиров и управляющих на кредитных билетах действительно поддельная. Нужно было выписывать те лица, которых подпись была на поддельных билетах. Они явились в Англию и долго таскались по судам, уверяя, что это не их подпись, пока наконец добились до того, чтобы подделыватель заплатил штраф и подвергся короткому тюремному заключению... С тех пор из окон магазинов русские кредитные билеты исчезли, но продажа их все-таки не прекратилась, и огромные суммы их отправлялись в Россию до последнего времени. Хитрости, употребляемые при этом, невероятны. Присылают, напр[имер], бумажки в карандашах... Это было открыто совершенно случайно. Одному чиновнику понадобилось записать что-то, в то самое время, как прибыли новые карандаши; свой карандаш он потерял и выдернул один из новопривезенных. Стал чинить, — и вдруг оттуда выпадает маленький кусочек графита, а далее за ним свернутая бумажка лезет из пустой трубочки... Тотчас взяли другие, переломили, и во всех оказались ассигнации... После этого, разумеется, стали осторожнее, но все-таки продолжали провозить деньги — в переплете книг, в апельсинах, и т. п... Однажды какой-то жид уведомил, что такого-то числа придет в Кронштадт корабль, на котором привезены будут деньги. Зная это, отправили таможенных досмотрщиков далеко за Кронштадт; иностранный корабль действительно был здесь встречен, остановлен, — и подвергнут строжайшему обыску. Не нашедши ничего подозрительного на самом корабле, отодрали даже обшивку корабля, думая найти что-нибудь между досками; но и тут ничего не было... Заплатили несколько тысяч за убытки, и тем результаты осмотра ограничились. Сказывал только впоследствии чиновник таможенный, что во время его осмотра, на другой стороне корабля что-то глухо булькнуло в воду, и он видел потом что-то плывущее по морю, будто какой-то боченок... Но и в этом он сам не был уверен, или по крайней мере говорил, что не был уверен.

Впрочем, если большие мошенничества проходят даром, то маленькие строго наказываются. Один из русских фабрикан-

тов и капиталистов Корпус, говорил мне...<sup>1</sup>, купил за границей за несколько рублей, по случаю, две бумажки в 200 руб. каждая; приехавши в Россию, он сбыл их какому-то жида. Жид, обрадовавшись деньгами, не посмотрел бумажки и взял их, но сбыть ему их не удалось, его взяли и стали допрашивать. Он очень просто отвечал, что эти бумажки получил от купца Корпуса, который живет в Спб... Для очной ли ставки или так, по формам судопроизводства, только жида отправили в Спб. Здесь призвали и Корпуса. Почетный купец отозвался, что через его руки перешло столько денег, что он не может припомнить, бывали ли между ними фальшивые, — что жида этого, впрочем, он не знает, и никакого дела с ним не имел. Ему, как богатому купцу, разумеется, поверили, а жида осудили и сослали на поселение... После того Корпус говорил: «мне не 400 руб. было жалко, а купеческая честь пострадала бы, если бы я сказал, что отдал жида фальшивые бумажки... Впрочем, — ничто этим мошенникам жидам, не обдувай христиан»...

30 янв[аря]. Есть у нас один студент, который имеет дар нарисовать карикатуру и вообще сострить... Некоторые из его произведений заслуживают того, чтобы быть отмеченными здесь. Раз он, напр[имер], нарисовал ряд попов в ризах и в головных украшениях, которые мало-по-малу превращаются совершенно из скуфейки — в каску, а из камилавки в кивера, разного сорта... Подписано «Русское духовенство XX века»<sup>2</sup>. Это было в самый разгар военного николаевского деспотизма... Недавно он же нарисовал свиную голову на тарелке и подписал: усекновение честные главы Иоанна Давыдова... В свиной физиономии, как мне кажется, необыкновенно хорошо схвачено выражение физиономии Д[авыдова]... Он же написал раз комическое представление о том, как конференция Гл[авного] п[едагогического] и[нститута] рассуждала о вывеске институтской. Кроме характера многих профессоров, хорошо подмечено здесь и простосердечие А. С[мирнова]...

Другой студент Н... написал недавно премиленькую статейку «Хоры университетской залы во время концертов». Некоторые черты наших нравов и привычки властей подмечены довольно верно. Нужно желать, чтобы этот молодой мальчик развивался...

31 янв[аря]. В заключение месяца еще анекдот об

<sup>1</sup> Буква Д-ым тщательно замарана.

<sup>2</sup> Описка. Очевидно, надо читать „XIX века“.



И. И. Д[авыдове]. — Когда министерством управлял С. С. Уваров, наш И. И. был атеистом — явным и отъявленным... Но только что вступил в министерскую должность известный святоша Ширинский-Шихматов, как Дав[ыдов] сам сделался ханжей и пребогомольным человеком. Рассказывают, что в то время он устроил у себя маленькую комнату, всю уставил образами и затеплил пред ними неугасимую лампаду. Когда приезжал в институт Ширинский, Давыдову давали знать это, и он тотчас отправлялся, — не на встречу, как ныне делает пред А. С. Норовым, — но к себе — домой. Ширинский, приехав и вылезши из кареты, прежде всего спрашивал, где директор. Ему отвечали, что в своих комнатах. Министр отправляется в комнаты директора. «Где Иван Ив[анович]?» — спрашивает он у человека. — Они у себя-с, молятся, — отвечает лакей, — не приказали тревожить-с... Ширинский без доклада идет в молельную, тихо растворяет дверь и поражается — умилительным зрелищем: И. И. Д[авыдов] на коленях, со сложенными перстами, поднявши очи горе, воссылает о чем-то теплые молибы всевышнему и не примечает ничего, что вокруг него делается. Министр долго стоит, смотрит, наконец, пораженный благоговейным восторгом, сам падает на колени и соединяет свои молитвы с молитвою директора Гл[авного] п[едагогического] инст[итута]. Через несколько времени Д[авыдов] примечает его, и с удивлением смотрит на пришельца... Узнавши, кто это, прекращает молитву, встает, оправляется и начинает стыдливо извиняться. Но умиленный министр заключает его в свои объятия, называет его святым человеком, и... слезы их смешиваются...

После этого не диво, что при смерти Ширинского И. И. Д[авыдов] явился к одру умирающего и, изобразив в высоких красноречивых чертах потерю, которую мы терпим в лице Ш[иринского], заключил, что он только (т.-е. И. И. Д.) мог бы разве продолжать благие начинания Ш[иринско]го, что поэтому о нем-то не может ли походатайствовать умирающий министр перед государем, выпросивши назначение его на свое место!.. Тогда, говорят, жена Ш[иринско]го прогнала И. И., но он все-таки довольно близок еще к министерству. Кто знает, — может быть, и добьется...

---

## ДНЕВНИК

1857 г.

1857 г. 1 янв [а р я]. Должно быть, воля сильно действует на воображение, а воображение на все состояние организма. Этим даже привычку, даже искусство, даже гений можно, кажется, объяснить. Теперь, впрочем, дело идет только об объяснении явления, которое может быть приравнено разве к чудесам. Вчера у меня с утра страшно болела голова, как будто по вискам стучали молотом, а внутри мозг свинчивали в железных тисках. Часа два я пролежал, но облегчения не получил ни малейшего. В три часа нужно было отправиться на урок, к Куракиным,<sup>1</sup> и я пошел. В начале урока я едва мог говорить, потому что каждым словом моим стреляло в ухо, потом в виски, и затем происходило сжимание мозга... Ясно было, что я болел серьезно. Но к концу урока напал я на какой-то интересный предмет и начал себе говорить... Просидел я на уроке более, чем полтора часа, и пришедши в инст[итут], почувствовал себя немножко лучше. Но все еще голова болела сильно. С час пролежал я на диване, перед спальней, положивши голову на колени к Н. П. Т[урчанинову] и толкуя о чем-то с М. Ш[емановским]<sup>2</sup>. Т[урчанинов] советовал мне итти в больницу, но я, после долгих колебаний, решился итти к Гал[аховым]<sup>3</sup> встречать новый год... Перед отправлением к ним я с'ел пресквернейший институтский ужин и оделся, чт[о]б[ы] ехать... В этот короткий промежуток времени головная боль у меня прошла, — решительно «без всякой видимой побудительной причины» (как говорят у нас об Ал[е-

<sup>1</sup> Кавалергард кн. Куракин А-ндр. Бор. Урок Д-в давал сыновьям Борису и Анатолию. Сестру, о которой говорит дальше Д-в, звали Елизаветой.

<sup>2</sup> Мих. Шемановский, студент Гл. пед. ин-та, математик, оставил воспоминания.

<sup>3</sup> Галахов Серг. Павл., чиновник особых поручений V класса при управляющем почтовым департаментом. Д-в давал урок сыну Алексею.



ксандре] Ник[итиче]<sup>1</sup>, когда он ругает студентов)... Вышел я из института уже с очень слабым ощущением боли, а приехал к Гал[аховым] совершенно здоровый. Здесь меня встретили похвалами за стихи, которые я прислал к ним накануне, напутавши в них всякого вздору без складу и ладу. Им это понравилось, и С[ергей] П[авлович] написал на них ответ. еще более нескладный и нимало не остроумный, хотя при собственном его чтении нельзя не смеяться над этими стихами... Скоро явились сюда двое — Март.<sup>2</sup> и Бентенсон; с некоторых пор Март. эти бывают здесь каждый день и даже по несколько раз... Что они тут такое, я не знаю. Знаю только, что Март.-fils — честный и дельный человек, но весьма мало развитый, туповатый и решительно лишенный надежды когда-нибудь поумнеть, потому что он заражен страшными предрассудками, из которых самое важное консерваторство — в высшей степени апатичное и бессмысленное презрение к русс[кому] народу (себя он, конечно, исключает отсюда). Он обвиняет, напр[имер], народ за то, что он приучает чиновников к взяткам, и говорит: «положим, что чиновник вынуждает, требует, но ведь это только привыкшие чиновники, а этот же самый взяточник не брал же когда-нибудь взятку, начал же когда-нибудь, и это начало не могло быть сделано им: ему сначала дали взятку, а потом он стал брать их». Точно так он уверяет, что русский человек не понимает иной цели жизни, кроме того, чтобы нажиться (что мог бы он доказывать и филологически, если бы был филолог), что крестьян не надо учить грамоте потому, что они, как только выучатся, так своих знаний не на что иное не употребляют, кроме ябеды, что в русских пьянства нельзя искоренить потому, что лучших наслаждений они не понимают, и т. п. Отец его — словечка в простоте не скажет, все с ужимкой, и нередко театрально воодушевляется, говоря о злоупотреблениях, о честности высокой и т. п. Он, впрочем, говорит обыкновенно только о частных личностях и явлениях, и если ему нужно доказать какую-нибудь общую мысль, то он непременно употребит для доказательства какой-нибудь один факт, никогда более. Это чистейший практик; впрочем, и сын показывает наклонность к тому же и, вероятно, в старости уподобится отцу своему и в этом, как он уподобляется ему теперь в произношении слов. Мне ужасно дико слушать его произношение звуков ж, ч, ш, щ, — которые он выговаривает так мягко, что у него выходит: жьена, слушает,

<sup>1</sup> Инспектор Гл. пед. ин-та А. Н. Тихомандрицкий.

<sup>2</sup> Вероятно, Мартынов А-ндр Евст., знаменитый артист СПб театров.

служить и т. п. Даже слово ч о р т он выговаривает не ч о р т, а ч ё р т... Ужасно нежный господин...

К двенадцати часам готова б[ыла] закуска в роде ужина, потом конфеты и шампанское... Поздравления и все вообще было довольно одушевленно, по-домашнему; но мне не было удовольствия особенного для сердца. Только во рту было хорошо, да и то не надолго... Вечером Алеша сказал мне, что всем очень неприятно, что Нат[алия] Ал[ексеевна], его мама, была очень не в духе и что только со мной любезничала за то, что я потакаю ее капризам. При этом он прибавил, что он бы ее так и зарезал за ее mauvaise humeur, при общем весельи... Я ему сказал, конечно, обиняками, что он дурак и мерзавец, но он понял меня только в половину, да и то, конечно, не поверил мне. Что касается до меня, то я эту грусть хорошо понимаю, хотя и не знаю всех домашних тайн Галах[овых]. Просто женское самолюбие должно заставить ее страдать при виде мужа, который очень мало обращает на нее внимания и говорит с ней совершенно не тем тоном, как, напр[имер], с ее сестрой. Будь я за три комнаты и слышь только голос С[ергея] П[авловича] без слов, я отгадаю без ошибки, с кем он говорит, — с женой или с сестрой ее, — просто угадаю по переливам звуков его голоса... Нат[алия] Ал[ексеевна] не может не видеть и не понимать этого хотя инстинктивно (пот[ому] ч[то] рассуждать она не слишком любит, да и не знаю, умеет ли).

Сегодня чуть свет, т.-е. в начале 10-го, отправился я делать визиты. Зашел к Малоз[емову] <sup>1</sup>, застал его бреющимся и услышал от него, что в прежнее время, на его уже памяти, большая часть чиновников с удовольствием ездили поздравлять начальников, как действительных отцов и благодетелей; теперь же, держа каждый звонок, поздравитель шепчет тысячи проклятий и нелепому обычаю, и глупому или подлому начальнику. Один господин накануне нов[ого] года сказал М[алоземо]ву: «я к вам завтра уже не приеду, пот[ому] что я решился в этот день отдать себя на удовлетворение только врагов моих»... Я, впрочем, примеру этого господина не последовал и от Малоз[емова] поехал к Кур[акиным]. Дети уже встали, и я вошел к ним. Они были, кажется, очень рады и оставили меня выпить у них стакан чаю... Во время чаю заглянул в комнату и отец их; я поклонился. Он, взглянув на меня, сказал: oh vous êtes en (или à) bons amis — и ушел. Кроме меня, был тут еще Будеус, их воспитатель, ко-

---

<sup>1</sup> Малоземов А-ндр Як.—чиновник мин. финансов. Д-в летом в 1855 г. жил у него на даче, давал урок его сыну.



торый должен быть очень добр и не глуп, но не выказывает никакой образованности, — вероятно, потому, что плохо знает русский язык и не хочет на нем пускаться в рассуждения. Держит себя довольно независимо, и воспитанники его уважают. Здесь мне сказали, между прочим, что Адлерберг<sup>1</sup> уволен от управления почтовым ведомством и получил в подарок дом, где он жил, и 17 000 сер. в год содержания. Острили над тем, что такое подаяние сделано бедному, нуждающемуся человеку... У Галах[овых] же узнал я, что Адл[ерберг] и во время коронации получил 300.000 руб. сер[ебром], да сын его 100 000 руб. сер[ебром]. Все это, конечно, из сумм государств. казначейства, хоть Март., которого спросил я об этом, отвечал мне с очень дипломатической миной: «я вам об этом ничего не могу говорить, а я только вам сказываю факт, который знаю»... От Кур[акиных] отправился я к Княжевичу<sup>2</sup>, расписался... Потом к Касторскому<sup>3</sup>, которого не застал дома. Страшно иззябши, воротился в институт, заплативши целковый извозчику и получив благодарность, разумеется... В церкви у нас стоял молебен и удивлялся, что Ванька Давыдов, эконо́м Ильин и студент Зданевич так усердно молятся, — все в землю да в землю. Сц[иборский] указал мне на одну хорошенькую девушку, содержанку кончившего недавно курс унив[ерситета] студента Корелкина, и осуждал его за это. Я не нашел здесь ничего предосудительного и одобрил даже вкус Кор[елкина], когда рассмотрел девушку поближе. Если б я был немножко погорячее чувствами и ничем не занят, да если бы она еще не была занята, я в состоянии был бы в нее влюбиться.

Из института опять отправился я к Галах[овым]. С[ергей] Павлович получил крест Влад[имира] 3-ей ст[епени], но это его не радует, пот[ому] ч[то] назначен теперь главноупр[авляющим] почт[ового] вед[омства] Прянишников<sup>4</sup>, которого он не любит [et vice versa, конечно]. При мне был у него юноша из лица, Энгельгардт, вышедший в 1851 г. и до сих пор как-то неудачно существующий на службе. Он говорил, что мог бы получить место

---

<sup>1</sup> Адлерберг Влад. Фед., граф, непосредственный начальник С. П. Галахова.

<sup>2</sup> Княжевич Андр. Макс.—директор департамента госуд. казначейства, с 1858 г.—министр финансов.

<sup>3</sup> Касторский Мих. Ив.—профессор всеобщей истории в СПб университете, воспитанник Гл. пед. ин-та.

<sup>4</sup> Прянишников Фед. Иван., большой книголюб, владелец известной картинной галлерей, пожертвованной им б. Румянцевскому музею в Москве.

от Гвоздева<sup>1</sup>, но что с Гвоздевым он даже и знакомиться не хочет и что вообще в лице его подслуживаться и кланяться не выучили. С[ергей] П[авлович] заметил, что вот и он точно такого же характера и зато остался позади почти всех своих товарищей. Надо было узнать, действительно ли Гвоздев негодяй; если так, то, конечно, Энгельг[ардт] благородный человек. Впрочем, вид его свидетельствует в его пользу; тогда, когда согласишься, в нем неприятно поражает маленькая пошловатость, как в Тупылеве. Вслед затем явился Кознаков: он только-что получил генеральство, и, как сам говорит, только юноша при получении прапорщичьего чина может так радоваться, как он теперь рад... Видно, что человек не дальний, пороку не выдумает, впрочем — добрый, вероятно<sup>2</sup>. Был тут еще Свистунов<sup>3</sup>, важная персона и фат — Secrétaire d'Etat, как его называл С[ергей] П[авлович], который с ним впрочем все-таки на ты. Он защищал Прянишникова. Но самое замечательное, что я узнал из их разговора, это то, что Горчаков (не знаю — т[от], который вероятно, канцлер, да непременно канцлер) всегда бывает у себя с растегнутыми штанами и раз вышел т. о. к митрополиту, который к нему приехал с утренним визитом.

К обеду явились М. А. Март.-fils, Лев Катакази, Томили, Бентенсон. Лев Кат[акази] — личность невзрачная. Говорят, что он очень умен, но за это я не поручусь, потому что слышал, как он жалел о том, что он не надворный советник. Со мной впрочем он не говорил ничего, да и я с ним тоже... С Томилиным мы толковали немножко, и из этого немножко вывести не трудно было простое заключение, что он мошенник и подлец (в тесном значении слова). Он служил в управе благочин[ия] и выгнан по делу Стейнбока, незадолго до Арцыбушева (о котором напечатано уже и в Le Nord). Теперь он без места. Явившись к Г[алаховым], он облобызал С[ергея] П[авловича] и просил не оставить своим расположением... Несколько дней перед тем я его спрашивал об Арц[ыбушеве], и он защищал этого мошенника... «Однакоже, — сказал я, — Стейнбоковское дело»... — В Стейнбоковском деле ничего нет и не могло быть потому, что я сам производил его, — ответил он, и я, конечно, должен был замолчать... Сегодня опять зашла речь об этом, и опять Том[илин] защищал своего бывшего начальника против Март. — Он мне зло сделал, — говорил он: — когда дело запуталось, он по-

<sup>1</sup> Вероятно, Гвоздев Ан-др. Ан-др — директор деп. общих дел в М. В. Д.

<sup>2</sup> Был впоследствии губернатором Западной Сибири.

<sup>3</sup> Свистунов Ал. Ник. — д. ст. сов., камергер, член общего присутствия провиантского департамента военн. мин.



жертвовал мной, прямо сказал: «возьми, возьми, распни его»; он этим сам хотел выпутаться... Сам мне потом говорил это... Но все-таки я и теперь скажу, что он был честный человек. — «Однакоже, если на человеке вдруг два миллиона с половиной взыскания, то нужно же предположить»... Томилин вскочил с кушетки, на которой сидел, как бешеный. — Et vous sçavez ça, — вскричал он, — vous, un homme d'esprit, образованный человек, воспитанник Училища Правоведения, живущий в Петербурге? Стыдитесь!.. Да как же мог бы он, и пр... Март. хорошо объяснил, как мог бы он, и пр... Том[илин] заключил тем, что сказал, что дурак был бы Арц[ыбушев], если бы, нажив два миллиона с половиной, не пожертвовал полмиллиона, чт[о]б[ы] оправдаться... Это подало повод Мар-ву произнести несколько горячих слов против взяточничества и против рус[ского] народа, который даже не восстает против такого злоупотребления и считает его совершенно в порядке вещей... Томил[ин] выразил между прочим убеждение, что il faut chercher pour avoir quelque chose, на что Нат[алия] Ал[ексеевна] отвечала ему, что son mari a trop de noblesse pour cela (дело шло о С[ергее] П[авловиче]). На днях С[ергей] П[авлович] спрашивал Т[омилина], неужели он считает своею обязанностью принаровляться ко всякому начальнику во всем. Тот отвечал: «да». — Нет, — заметил С[ергей] П[авлович], — я бы скорее вышел в отставку, нежели стал бы подделываться к убеждениям начальника, которые не согласны с моими... — «Да ведь надо же чем-нибудь жить», — возразил Т[омилин]. — Я бы стал сапоги чистить или улицы мести, — героически отвечал С[ергей] П[авлович]. На деле, конечно, его героизм совсем не так далеко простирается, но и то хорошо, что он хоть не говорит подлостей, как Томил[ин]; притом до некоторой степени он в этом искренен. Если он и не в состоянии для правды пожертвовать тем, что имеет, то по крайней мере может отказаться от выгод, которые мог бы получить от подлости. За обедом стали говорить о каком-то Неклюдове (кажется), и С[ергей] П[авлович], любящий иногда озадачить, вдруг спросил: «est-ce, qu'il n'est pas encore tué?» На отрицательный ответ он заметил: «mais, au moins, il le sera bientôt?» — и затем объяснил, что его крестьянам давно бы пора уже покончить с ним... При этом я порадовался за крестьян С[ергея] П[авловича]. Но вслед за тем к С[ергею] П[авловичу] пришло кровожадное расположение и он, думая, очевидно, о Прянишникове и т. п., — выразил свое убеждение, что нужно убить всех дураков. Мне ужасно хотелось сказать ему, что в таком случае следовало начать с самоубийства, но к счастью я вспомнил во-время, что это бу-

дет грубость, и удержался. За обедом, очень длинным, которому конца не было (казалось мне), — пили шампанское и толковали о том, что хорошо быть богатым, как Морни <sup>1</sup>, напр[имер]. А я, за бокалом шампанского, думал, что хорошо иметь состояние, как Галаховы, напр[имер]. Но вскоре потом подумал я, что много есть людей, которые и мне могут позавидовать за то, что я каждый день могу есть мясо и пироги, ездить на извозчиках, иметь теплый воротник на шинели и т. п. А, пожалуй, найдутся и такие, которые позавидуют даже имеющим возможность есть хлеб каждый день... Мысли эти меня очень грустно потревожили, и социальные вопросы показались мне в эту минуту святее, чем когда-нибудь.

Приехавши в институт, в 9 часов вечера, я нашел здесь то же мелкое волнение по поводу елки у директора. Смеются большею частью над приглашенными (за глаза, конечно), и над самим Д[авыдовым], и над обществом, которое у него собирается, но во всех почти насмешках добрых товарищей видно, что они сами еще не стали выше этого приглашения, что они были бы очень рады попасть на место Мих[айловского] <sup>2</sup> или Бел[явского] <sup>3</sup>; некоторые даже прямо направляли остроты свои к тому, чтобы доказать, что эти господа не достойны приглашения и не могут оправдать его. Другие же толковали, что и внимание-то директора и вечер-то его не только не стоят внимания, но даже приносят бесчестье студенту, приглашенному туда; но только говорилося это с таким жаром, разговор продолжался, несмотря на мое желание прекратить его, так настоятельно, что опять мне было ясно, как задеты за живое эти господа и как их слова противоречат истинным чувствам их. Жалко, право, что притворство сделалось у нас так общим. Хорошо, что я имею теперь цель повыше институтских отличий и знаю людей, которых мое мнение и любовь дороже мне Давыдовских и прочих т. п. вниманий. А то, пожалуй, и я ведь увлекся бы подобными дразгмами, разумеется, отрицательно... И сколько бы крови от этого перепортилось...

2 я н в [а р я]. Если русский человек за что возьмется, так уже рад лоб разбить. Аккуратный немец Штейнман <sup>4</sup> явился сегодня на лекцию, только-что пробило 9 часов, а Савич <sup>5</sup> еще вчера

<sup>1</sup> Французский герцог, посол в России.

<sup>2</sup> Вероятно, Михайловский Николай—однокурсник Д-ва, филолог.

<sup>3</sup> Белявский А-др, однокурсник Д-ва, историк.

<sup>4</sup> Штейнман Ив. Богд.—профессор греческого языка в Гл. пед. ин-те, доктор философии.

<sup>5</sup> Савич Ал. Ник.—известный астроном, профессор ф.-м. фак. Гл. пед. ин-та.



нарочно приходил справляться, будут ли лекции. Что лучше? Вчера, конечно, сказали, что будут лекции, а сегодня сказали, что не будут. Впрочем инспе[ктор] еще вчера сказал мне, но директор заметил, что все-таки надобно собраться... Желал бы я спросить его — зачем?..

Из всех уехавших из Петербурга явился только Вегнер <sup>1</sup> и страшно ругался, что начальство так безалаберно.

З. <sup>2</sup> рассказывал много анекдотов о вчерашней елке и о глупости Б[елявского], М[ихайловского] и др. Но его анекдоты до того не характеристичны, что я все их позабыл. Заметил только одно, что лакей, проходя мимо студентов с каким-нибудь из угощений, обыкновенно говорит только: «хотите?» и, не дожидаясь ответа, стремится дальше. Это так и должно быть у И[вана] И[вановича], у которого студенты не смеют пить вина за столом и курить папиросы тогда, как все другие курят.

З[латовратский] рассказал мне странную вещь: когда-то еще в первый год нашей инстит[утской] жизни и, вероятно, в первые месяцы, сказал я [Н.] М[ихайловском]у, что у него больше развиты ноги, нежели голова. Это его так уязвило, что он до сих пор тяготится моей остротой. Я, несмотря на все усилия, не мог ее припомнить... Впрочем я и теперь еще не слишком высокого мнения о развитости головы Н. М[ихайловского]; мне все кажется, что он до сих пор ни о чем серьезно не думал и не умеет рассуждать о предметах высшей важности. Если он останется навсегда с этой умственной ленью, то я желаю ему (несмотря на природный его ум) лучше остаться под опекой религиозности и даже церковности, нежели жить собственной головой. У него вечно все будет скользить по поверхности, и он даже легко может сделаться просто добрым малым, на что теперь же подает большие надежды. Подвиг самопеределыванья будет для него труден, если не невозможен... А жаль, право: с таким живым умом и прекрасным сердцем он соединяет еще и некоторый талант, который при более глубоком и серьезном образовании мог бы принести даже значительную пользу... А вср эта проклятая лень, это увлечение разными животными порывами и неведение о высших целях человечества!

<sup>1</sup> Вегнер Егор, однокурсник Д-ва, историк.

<sup>2</sup> Вероятно, Златовратский Ал-ндр Петр., студент Гл. пед. ин-та, филолог, дядя писателя Н. Златовратского.—См. „Юбилейный сборник Литер. фонда“. СПб. 1909 г. В нем есть „Из воспоминаний о Н. А. Добролюбе“ Н. Н. Златовратского. В этих воспоминаниях даны из черновой рукописи Ал. Петр. Зл. воспоминания о Д-ве. См. также письма в „Материалах“, 379—381, 394—411, 424—425, 431—432, напечатанные с пропусками. Зл-ий свел Д-ва с литератором С. Т. Славутинским.

3 я н в [ а р я ]. Вчера вечером смотрел я «Ревизора» в Мих[ай-ловском театре]; идет он, конечно, плохо. В чтении он менее карикатурен, нежели на сцене. Макс[имов] хорошо исполняет роль Хлестакова, Бурдин — Земляники, Линская — дов[ольно] хорошо — жену городничего — и только. Сосницкий хорош как-то местами. Иногда же он, видно, что не понимает своего характера. Первое действие вообще плохо идет, не исключая и Бобч[инского] и Добч[инского], которые утрируют свою роль до невозможности. Последние действия лучше. Одна сцена показалась мне ненатуральною у самого Гоголя, и при игре Сосницкого это было еще заметнее: мошенник городничий сам начинает рассказывать, как будто маленькое дитя, предполагаемому ревизору все свои грешки, и об унтер-офиц[ерской] жене, и о взятках. Да он совсем не имел повода говорить об этом и, предполагая самый сильный донос, не должен был наводить ревизора на мысль о своих винах. Нечистая совесть способна скорее молчать, нежели говорить о своих винах. Можно допустить при этом страшную наглость и бесстыдство мошенника; но пред Хлестаковым он сильно струсил, а наглость как-то не ладит со страхом. Впрочем, вопрос этот, кажется, может подлежать спорам... Вчера говорили, что в театре был государь и очень смеялся... Много ли понял он тут, не знаю... За «Ревизором» шла пьеса «Уедет или нет», дрянь какая-то гр. Р[астопчиной]<sup>1</sup>, пьеса, которой бы никто смотреть не стал, если бы ее не играла Владимирова, на которую все время наведены были все имевшиеся в театре бинокли. Она, действительно, очень хороша собой... Странное дело: несколько дней тому назад я почувствовал в себе возможность влюбиться; а вчера, ни с того, ни с сего, вдруг мне припала охота учиться танцевать... Чорт знает, что это такое... Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом... Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению: чтобы сделать что-нибудь, я должен убаюкивать себя, не делать уступки обществу, а напротив, держаться от него дальше, питать желчь свою... При этом разумеется, конечно, что я не буду делать себе насилия и стану ругаться только до тех пор, пока это будет занимать меня и доставлять мне удовольствие... Делать то, что мне противно, я не люблю. Если даже разум убедит меня, что то, к чему имею я отвращение, благородно и нужно, — и тогда я сначала стараюсь приучить себя к мысли об этом, придать более интереса для себя к этому делу, словом, развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны с

---

<sup>1</sup> Д-в относился к Е. П. Растопчиной резко отрицательно.



абсолютной справедливостью, не были противны и моему личному чувству. Иначе — если я примусь за дело, для которого я еще не довольно развит и, следовательно, не гожусь, то, во-первых, выйдет из него — «не дело, только мука», а во-вторых, никогда не найдешь в своем отвлеченном рассудке столько сил, чтобы до конца выдержать пожертвование собственной личностью отвлеченному понятию, за которое бьешься.

Занимался у Срезневского <sup>1</sup>, был на уроке у Кур[акиных], а потом отправился с Аверкиевым <sup>2</sup> к А. Е. Разину <sup>3</sup>. В третий раз сегодня был я у этого человека и замечая, что с каждым разом он мне более нравится. Это живой человек жизни, дела... Он не слишком большой философ в теоретическом отношении и в прошедшее мое посещение я заметил уже, что в отвлеченных рассуждениях он обнаруживает даже какую-то узкость взгляда, но когда дело коснется непосредственно жизни, применений выработанных идей, тогда он лучше даже Черн[ышевского]... Он прошел страшную школу жизни, не получив нигде школьного образования, добившись всего сам собою, — и знает он чрезвычайно много, что не препятствует ему давать полную волю чувству, которое у него развито очень благородно. Сестра его жены превосходно играет на фортепиано, и его любимые мотивы, — заметил я, — производят и на меня самое благоприятное впечатление. Впрочем, по моему, музыке он предан даже немножко слишком. Теперь он купил 860 десятин земли в Тверской губ. и хочет завести ферму и заняться обработкой земли с помощью наемных рабочих. Это хорошо рекомендует его в житейском от-

<sup>1</sup> Срезневский Измаил Иванович, академик, славист. В Гл. пед. ин-те профессор по кафедре славянских наречий. Читал два курса, общий и специальный. Срезневский много заботился о том, чтобы развить в своих слушателях навыки к самостоятельной научной работе. Помимо ряда самостоятельно составленных лекций Д-в. представил Ср-му следующие работы: 1) „О польских училищах, из истории польской литературы Вишневского“ („Отчет Гл. пед. ин-та за 1855/6 уч. г.); 2) „Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева“ (памяти И. И. Срезневского, кн. I, стр. 388); „О древнеславянском переводе хроники Георгия Амартола (ibid. и отчет за 1856/7 уч. г.); „Употребление звуков в древнем славянском народном языке“. Письменная работа на экзамене. („Описание выставки в память столетия со дня рождения И. И. Срезневского. СПб 1913, стр. 26). В 1857 г. Добролюбов составил „Алфавитный указатель сочинений к обзору русской духовной литературы с 862 по 1720 г. архиепископа Филарета Гумилевского.—И. И. Срезневский работы Д-ва высоко ценил и указывал, что они заслуживают одобрения.

<sup>2</sup> Аверкиев Д. В.—беллетрист, драматург, критик и переводчик. Наиболее популярна драма „Каширская старина“.

<sup>3</sup> Разин А. Е.—популяризатор и автор ряда детских книжек. Д-в относился к нему, вопреки мнению А. А. Григорьева, положительно.

ношении. В обращении он оказывается все более добрым и простым человеком, чего я не подумал с первого раза, взглянув на эту огромную треххаршинную массу и услышав его самоуверенную, сдержанную речь, в которой всегда почти слышится какая-то *aggrèpe pensée*. Сегодня рассказал он, что Кут. заметил о Ник[олае], что он напоминает вывеску — шляпа, мундир, штаны — и все тут... В прошедший раз говорил он мне, как Дав[ыдов] поправлял в его статье вместо сталагмиты — сталактивы. Говорил он еще о Чумикове<sup>1</sup>, издателе нового журнала для воспитания. Этот человек был учителем, помощником инспектора в двух женских заведениях, выгнан оттуда за неспособность, поступил в ополчение, а теперь пустился в литер[атуру]. Дорогой, при возвращении от Р[азина], Ав[еркиев] рассказал мне содержание некоторых стихов Кускова<sup>2</sup>, их общего знакомого: он в самом деле, должно быть, имеет талант, как свидетельствует и Раз[ин], который, кажется, довольно строгий судья в отношении к произведениям своих знакомых. Авер[киев] тоже написал повесть и прочел ее Р[азин]у; тот сказал, что она не годится, а А[веркиев] переделал ее в комедию. Отрывки из нее читал я, но ничего не мог заключить о достоинстве пьесы.

4 я н в [а р я]. Ничего не может б[ыть] бесплоднее и убийственнее дня, какой я провел сегодня: я сидел с утра до вечера за Амартолом<sup>3</sup> и просмотрел с 12 больших листов рукописи... Это отвратительно до тошноты. А тут еще И[змаил] И[ванович] с своими увлечениями, ученостью и бранью на Грановского за то, что он не был ученым, а был просто даровитым человеком, ничего не сделавшим, по словам Ср[езневского], из своих дарований. Чорт знает, как повертывается у него язык говорить подобные вещи... Я был до того уничтожен сегодня, что только мог отмалчиваться<sup>4</sup>. Единственное развлечение нынешнего дня было урок у Куракиных. Анатолий К[уракин] непременно хотел узнать, как меня зовут, и потчевал черносливом, присланным ему из Бордо, — от бабушки: в этом выражалось его особенное рас-

<sup>1</sup> Чумиков А-ндр А-ндрович.

<sup>2</sup> Кусков Пл. А-ндр.—поэт и переводчик.

<sup>3</sup> Работа об Амартоле упоминается в отчете Гл. пед. ин-та за 1856/7 уч. год в числе „замечательнейших из сочинений, поданных студентами“.

<sup>4</sup> Разговоры о Грановском вызваны были статьей проф. В. В. Григорьева „Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве“. Статья помещена в „Русской Беседе“ 1856 г., III и IV кн. Шла полемика, был Грановский ученым или нет?—См. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XV, стр. 195—219. См. также „Материалы для биографии А. А. Григорьева“ под ред. В. Княжнина. П. 1917, стр. 194.



положение ко мне. Вообще — с ним уроки идут гораздо живее и менее официально, чем с старшим, Борисом. И при этом самое дело как будто лучше подвигается. Я приписываю это тому, что младший более подчиняется моему влиянию и менее испорчен схоластическими вздорами, тогда как Борис, имея 15 л. от роду, довольно давно уже, стало быть, подвизается в этом при-туплении природного ума своего, в котором природа ему не отказала.

7 января. Третьего дня опять до 7 часов с утра просидел я у Срезневского за Амартолом, сделал довольно много и был доволен собой. О чем-то как будто толковали, но я позабыл уже. В 7 часов поехал я к М[ашеньке] и остался там весь вечер и ночь. Она теперь переехала на другую квартиру, впрочем, в том же доме, и живет теперь с Ю[лией] и Н[аташей]. М[ашенька] лучше их обеих и собой и характером. С ней можно бы жить и ужиться, особ[енно] мне. Но нельзя не согласиться, что плохое ремесло публичной женщины у нас в России. Они все не образованы, с ними говорить о чем-нибудь порядочном трудно, почти невозможно, и вот заходят к ним франты на полчаса . . . . . , кончат свое дело и уйдут... Обращение при этом гораздо хуже, конечно, чем с собакой, которую заставляют служить, и подходит разве к обращению с извозчиками, крепостными лакеями и т. п. И всего ужаснее в этом то, что женский инстинкт понимает свое положение, и чувство грусти, даже негодования нередко пробуждается в них. Сколько ни встречал я до сих пор этих несчастных девушек, всегда старался я вызвать их на это чувство, и всегда мне удавалось. Искренние отношения устанавливались с первой минуты, и бедная, презренная обществом девушка говорила мне иногда такие вещи, которых напрасно стал бы добиваться я от женщин образованных. Большею частью встречаешь в них горькое сознание, что иначе нельзя, что так их судьба хочет и переменить ее невозможно. Иногда же встречается что-то в роде раскаяния, заканчивающегося каким-то мучительным вопросом: что же делать? Признаюсь, мне грустно смотреть на них, грустно, потому что они не заслуживают обыкновенно того презрения, которому подвергаются. Собственно говоря, их торг чем же подлее и ниже... ну, хоть нашего учительского торга, когда мы нанимаемся у правительства учить тому, чего сами не знаем, и проповедывать мысли, которым сами решительно не верим? Чем выше этих женщин кормилицы, оставляющие собственных детей и продающие свое молоко чужим, писцы, продающие свой ум, внимание, руки, глаза в распоря-

жение своего секретаря или столоначальника, фокусники, ходящие на голове и на руках и обедающие ногами, певцы, продающие свой голос, т.-е. жертвующие горлом и грудью, для наслаждения зрителей, заплативших за вход в театр, и т. п.? И здесь, как там, вред физиологический, лишение себя свободы, унижение разумной природы своей... Разница только в членах, которые продаются... Но там торговля идет самыми священными чувствами, дело идет о супружеской любви!.. А материнская любовь кормилицы разве меньше значит?.. А чувство живого непосредственного наслаждения искусством — разве не так же бессовестно продавать? Певец, который тянет всегда одинаково, всегда заученную ноту, с одним и тем же изгибом голоса и выражением лица — и притом не тогда, когда ему самому хочется, а когда требует публика, актер, против своей воли обязанный смешить других, когда у него кошки скребут на сердце, — разве они вольны в своих чувствах, разве они не так же и даже еще не более жалки, чем какая-нибудь Аспазия Мещанской улицы или Щербакова переулка? Эти, по крайней мере, не притворяются влюбленными в тех, с кого берут деньги, а просто и честно торгуют... Разумеется, жаль, что может существовать подобная торговля, но надобно же быть справедливым... Можно жалеть их, но обвинять их — никогда!

М[ашенька] недавно промышляет. С некоторого времени к ней ходит больше знакомых, чем прежде. Это мне почему-то не нравится, хоть я и знаю, что мне собственно до нее никакого дела нет, пока я не прихожу к ней. А при мне, разумеется, она прогоняет от себя своих гостей. Она очень добра и не слишком падка на деньги. От лишнего рубля она не увеличивает своих любезностей, а остается мила попрежнему, как обыкновенно. Со мной она внимательна до того, что замечает самую легкую мою задумчивость. Каждый раз она передо мной оправдывается в своей жизни, грустит и мечтает... В посл[едний] раз она поссорилась с Н[аташей], та ее ругала, а она смеялась и говорила мне, что не хочет с Н[аташей] ругаться, потому что знает ее характер: та уgomонится, и самой ей будет совестно... Если бы на моем месте б[ыл] Щ[еглов], то этого одного было бы достаточно, чтобы возбудить в нем презрение к М[ашеньке]. Но к моему характеру это очень близко, и мне нравится М[ашенька] своей уживчивостью. При мне вчера вечером приходило туда с Ю[лией] два студента унив[ерситета] и показывали шик, говоря по-французски между собою. Нашли место... Зато и посмеялись же над ними девчонки, когда они ушли, просидев около десяти минут. Потом Н[аташа] привела с собой какого-то медика



студента и оставалась с ним; этот был очень скромн. По голосу похож немножко на Лауданского: в лицо его я не видал. Затем явились два немца, офицер и статский. Стат[ский] хотел остаться с М[ашенькой], но она его прогнала, и он ушел, обругавши ее стервой. Она была очень обижена. Офицер остался с Н[аташей]. Часов в 11, когда я уже лег в постель, а М[ашенька] осталась заплетать себе волосы, ввалился какой-то капитан, с голосом до того октавным, что слышался как будто гул жернова на мельнице, когда он говорил. Он, кажется, тоже имел намерение переночевать тут, но М[ашенька] обошлась с ним очень неприветливо и наконец пристала к нему с вопросом: «зачем вы пришли?». Он отвечал: «зачем я пришел, это я очень хорошо знаю; но после такого приема я не знаю право, что мне и думать». М[ашенька] начала над ним смеяться и выговаривать ему за какого-то дядю-полковника, который тоже ходит сюда к Н[аташе] и денег не платит. Скоро началась серьезная ссора, и капитан заключил тем, что встал, принял трагическую позу и сказал: «могут быть шутки, которые не выходят из пределов приличия и которые понимаются, но когда это переходит границы, тогда знайте, что я над собой смеяться не позволю; мое я всегда уничтожит ваше я! До свидания»... И ушел с этим. М[ашенька] расхохоталась, я, выслушав это из-за ширм своих, не замеченный гостем, заключил, что он немножко сумасшедший, а Н[аташа] подумала, что капитан угрожает прибить когда-нибудь ее и М[ашеньку], и вследствие этого напустилась на М[ашеньку], зачем она позволяет себе такие грубости... Потом я узнал от М[ашеньки], что действительно капитан с ума сходил и сидел на одиннадцатой версте. Но Нат[аша] с своим объяснением слов капитана напомнила мне Луповицкого<sup>1</sup>, которого речь о пиле и топоре так разумно объяснили крестьяне его...

8-го, разумеется, встали мы часов в десять с половиной, напились кофе с М[ашенькой], и я отправился к Срезн[евскому] заниматься Амартолом. Но на этот раз дело шло плохо; от 11 до 3 я просмотрел только 5 листов. Правда, что долго мешал мне сам Ср[езневский], рассказывая какие-то сплетни о Рус[ском] Вестнике, будто бы о недобросовестности его редактора. Но самые сплетни выставляли только его неуклюжую неловкость, неповоротливость, а совсем не недобросовестность. Напр[имер], С. Иванов написал статью о железных дорогах еще в конце 1855 г. и отдал ее в В[естник] даром. Ему сказали,

---

<sup>1</sup> Луповицкий—герой комедии К. Аксакова „Князь Луповицкий, или приезд в деревню“.

что даром статьи не печатаются, а за все платится по 3 руб. за страницу. Он согласился и на это. Но несколько месяцев статья не печаталась. Между тем появились другие статьи об этом, и Иванов просил, чтобы его статью печатали скорее. Но прошло еще несколько времени, прежде чем его желание исполнили. Наконец присылают ему корректуру. Иван[ов], зная, что уже теперь не ново и не своевременно многое из его прежних заметок, сказал, что в таком виде печатать статьи нельзя. Так она и осталась. Щебальский<sup>1</sup> тоже отдал свою статью даром. Ему тоже сказали, что у них определена плата, а потом спрашивали, сколько он хочет взять за свой труд. Ср[езневский] видит в этом какое-то коварство, злонамеренность, неблагородство, и т. п. А кажется, это просто — глупость. По поводу этого говорил тоже Ср[езневский], что Т е л е с к о п очень возбудил волнения и ожидания в 1831 г., а Б [и б л и о т е к а] д [л я] Ч т [е н и я] просто всех огромила. Припомнил он также, что в конце 1839 г. Кр[аевский] говорил, что у него 39 тысяч (асс[игнациями]) долгу на журнале, и что вся его надежда на Белинского. Бел[инский] приехал из Москвы и явился к Кр[аевскому], при Срезн[евском]. Кр[аевский] побежал к нему навстречу с восклицанием: «наконец-то, спаситель!..» и при нем опять повторил, что только Белинский может поднять и поддержать его журнал... При всем том, зная об исполнении ожиданий Кр[аевско]го, Ср[езневский] до сих пор упорно отвергает значение Бел[инского] в истории русск. просвещения!.. Станный человек... Был у него вчера Андреевский<sup>2</sup>, небольшой человек с большим носом, бегающими глазами и плазменной речью. Свое дело он, кажется, знает хорошо; очень горячо предан науке, ищет правды, не глуп (по крайней мере диалектически), говорит положительно и тотчас приводит факты. Это хорошо все. Не понравилось мне только, зачем он восстает на Чичерина<sup>3</sup>, и именно на дух его диссертации. Неужели это из угождения Срезневскому? Или в самом деле он говорит от искреннего сердца?.. Я не читал «Областных учреждений» и не знаю, как велико их научное достоинство, но уверен, что мысль Чичерина была жива и светла, что стремления его благородны... Зачем же унижать человека? Разве потому, как проговорился сам Андреевский, что и он тоже занимается исследованием областных учреждений и боялся (может быть, боится и теперь), чтобы дис-

<sup>1</sup> Щебальский П. К., историк.

<sup>2</sup> Андреевский Ив. Еф.—проф. полиц. права в СПб ун-те.

<sup>3</sup> Чичерин Борис Николаевич только что выпустил тогда свою магистерскую диссертацию: „Областные учреждения России в XVII в.“ М. 1856 г.



сертация Чич[ерина] не отняла значения у его собственного труда... Если так, то это понятно и даже, пожалуй, простительно...

Но совершенную комедию разыгрывают почтенные академики при редакции своего нового устава. При мне два раза был у Ср[езневского] Бетлинг<sup>1</sup> и вместе толковали о порядке и пр. правил устава. Вчера особенно мило было послушать их. С своей обыкновенной совестливостью, Ср[езневский] не мог ни на чем остановиться. Дело идет, напр., чт[о]б[ы] 33 § поставить 32-м, и Бетл[инг] тотчас соглашается; но Ср[езневско]му совестно такой легкой победы, и он опять принимается: «кажется, ведь это так» — и доказывает. Тот уже и переставил давно, а он все еще из кожи лезет — доказывает, что это нужно переставить... А то, напр[имер], спор зайдет о том, что нужно орд[инарных] академиков из экстраординарных непременно выбирать, а не из посторонних ученых. Бетлинг, конечно, против этого, но Ср[езневский], уединившись в своем академич[еском] мире, уверяет, что это и обидно, и несправедливо, и все, что угодно, и что не нужно, чтобы чужие вдруг нам на голову садились... Вспомнил я «денщика» Даля, который разделял весь мир на наших и не наших и был убежден, что украсть у не нашего — дело очень похвальное... А еще было они сочинили вот какую штуку: академик нигде служить не может, кроме министерства просвещения; к счастью — еще я тут случился и остановил их прямо, указавши им на Давыдова, служившего в консультации. Впрочем, вообще говоря, Бетлинг должен быть человек со смыслом. Только рус[ский] язык ему тяжел...

Хотелось бы сегодня еще много писать, — но тушат лампы и гонят спать... До завтра.

8 я н в[а р я]. От Ср[езневского] отправился я к Малоземовым. Они только что сели за стол. Постороннего никого не было, только в половине обеда явилась Кат. Ос., мать Н. П.<sup>2</sup> Она назначена недавно начальницей Вдовьего дома при Смол[ьном] монастыре, и Ал[ександр] Яковл[евич] все смеялся на этот счет, толкуя о том, как К. О. может теперь сделать некоторые приобретения на счет казны и как она должна задать бал или обед на казенный счет. К. О., принимая все это к сердцу, сердилась, выражая свое неудовольствие удивлением, как подобные вещи могут приходить в голову Ал[ександру] Як[овлеви]чу. Между нами, по обыкновению, начались искренние рассуждения, за которые

<sup>1</sup> Бетлинг От. Ник., санскритолог, ординарный академик.

<sup>2</sup> Жена А. Я. Малоземова.

все более и более уважаю А[лександра] Я[ковлевича]. После обеда присоединилась к нам и Н. П. Началось дело с убийства Сибура <sup>1</sup>. Я заметил, что это совсем не столько ужасно, как кажется, и что у нас подобные вещи совершаются сплошь да рядом, только во тьме и безмолвии. К этому А[лександр] Я[ковлевич] рассказал, что к Шереметеву явился в один день чиновник, которого он выгнал, кажется, из службы, и принес ему нож: «вы, ваше превосходительство, лишили меня средств жить и кормить осьмерых детей моих, так чем медленно убивать, зарежьте зараз меня и моих детей тут же»... Чиновника, разумеется, прогнали... Через час вошел какой-то голова или старшина, — и Шер[еметев], под влиянием дурного расположения, хотел немножко круто поступить с ним и погрозил, что он чорт знает что с ним сделает. Но голова ответил ему, что я, дескать, выбран не вами, а миром, и служу я не вам, а государю. Шер[еметев] взбесился еще более, затрясся, упал... и удар с ним приключился... Н. П. не соглашалась однако оправдать Вержеса. Я сказал, что оправдывать убийство вообще нельзя, но не нужно и так строго обвинять только за то, что оно совершено открыто и честно, а не подло и скрытно, разом, а не медленно, как у нас делается... Отсюда разговор легко перешел, конечно, к ослиной добродетели, которой Н. П. произнесла панегирик, а я захохотал. Смех мой ее озадачил и даже несколько оскорбил. Начался спор, в котором я доказывал, что честный и благородный человек не может и не имеет права терпеть гадостей и злоупотреблений, а обязан прямо и всеми своими силами восставать против них. Вместо всякого ответа на мою демонстрацию в этом смысле, Н. П. только руками всплеснула и воскликнула: «ох, какой он вольнодумец, господи боже мой!». Скоро однакоже она согласилась, что вольнодумство это очень благородно, но прибавила, что оно может быть губительно. В этом я с нею согласился. Разговор перешел потом к их маленькому сыну — Саше. Н. П. в отчаянии от его тупости, а я ее уверяю, что он мальчик очень и очень умный. В самом деле — это очень даровитая, самостоятельная натура. Он в состоянии слушать и решительно не слышать объяснений и наставлений, которые ему навязывают и которых ему не угодно слушать. Он не может выучить наизусть ни одной строчки, которой не понимает, и поэтому хуже всего идет у него катехизис, которого, конечно, и нельзя понимать умному человеку. Даже в самых его движениях, в голосе видна какая-то своеобразность. Если он заплачет, то уж по-русски — заревет, давая полную во-

<sup>1</sup> Мари-Доминик-Огюст, парижский архиепископ, убитый из мести отлученным от церкви священником Вержесом.



лю слезам и крику; если рассердится, то крикнет и рукой картинно махнет, и это, конечно, значит, что его чувства не ограничиваются словесным выражением, а рвутся проявиться на самом деле. Он также терпеть не может, чтобы с ним принимали тон, какой обыкновенно употребляют с маленькими детьми, — подслащенный, снисходительный, улыбающийся... На подобный тон отвечает он односложными фразами, и только тогда может разговариваться, когда с ним начинаешь толковать серьезно, как со взрослым. Ему лет 7 или 8. Я уверен, что это богатая натура, ленивая от сознания своих сил и упорно противящаяся скверному влиянию ложной цивилизации — от обилия неиспорченного здравого смысла... Анд[реевский Ив. Еф.] вчера рассказал мне, как у них Вышн[еградский] врет, надувает и надувается... Однажды он читал у них о Иоанне и страшно ругал его за что-то (вероятно, в противоречие Карамзину, из которого читал он). Вдруг входит принц Ольденб[ургский]<sup>1</sup>. Он соскочил с кафедры (что не принято там), отвесил низкий поклон и сел только после приглашения принца. «Итак», начал он и опять повторил все, что было сказано, только в противную сторону, т.-е. хваля Иоанна. Принц ушел, и Вышн[еградский] спрашивал воспитанников: «что, он у вас часто бывает?»... — Да, говорят ему, — почти каждый день. «Вот как. Ну, да, разумеется, нечего ему делать-то, так и ездит»... Этот анекдот хорошо характеризует В[ышнеградско]го, равно как и то, что он в классе называл Андр. М. бездарным за сочинение, а сам у нас на лекции восставал против подобных об'явлений, называл их варварством и гадостью в последней степени.

Вечером от М[алоземовых] перевалился я к Галах[овым]. Алеша б[ыл] в цирке, С[ергей] П[авлович] сидел с Варв[арой] Ал[ексеевной], и, кажется, оба были не в духе. Он находится, должно быть, под влиянием назначения Прянишникова. В[арвара] А[лексеевна] тотчас стала просить меня прочесть что-нибудь. Но читать было нечего. Обратились к старым книжкам С о в р е м е н н и к а. С[ергей] П[авлович] сказал, что очень хороши «Записки учителя музыки»<sup>2</sup>, а В[арвара] А[лексеевна], вместе с Нат[альей] Ал[ексеевной], стали меня просить прочесть их. Отказаться было нельзя, но я их читал прежде, повторять не хотелось, и я озлился. Мгновенно стал я мрачен, в сердце была какая-то ярость, тяжело было, и, чорт знает, какое скверное расположение духа пришло при мысли о необходимости читать для других то, чего бы я сам не хотел читать. Я все старался оттянуть чтение,

<sup>1</sup> Ольденбургский Петр Георг., двоюродный брат Александра II.

<sup>2</sup> А. Надеждин. Записки учителя музыки, — Современник 1856 г. № 7 и 8.

толковал с С[ергеем] П[авловичем] об Искандере, которого он наповал ругает, прибавляя, что с ним был хорошо знаком брат его<sup>1</sup>, который, может быть, имел бы такую же участь, если бы не умер заблаговременно. К счастью, судьба бросила под руку Вар[варе] Ал[ексеевне] первый том Легкого Чтения, и я вызвался прочесть для них «Дневник лишнего человека»<sup>2</sup>. Они согласились, и в ту минуту дурное расположение мое прошло; мне стало легко и спокойно. Но как я страдал, приятно страдал, читая первую половину рассказа, никем не тревожимый и не прерываемый... На половине нам помешали, и впечатления раздвоились... Пришел Март.- fils, а потом и рёге, стали толковать о родовой чести, о потере которой он очень сожалел, чем возбудил во мне желчный смех... Потом Нат[алья] Ал[ексеевна] отправилась делать чай, и чтение на время прекратилось. Мы остались вдвоем с Вар[варой] Ал[ексеевной], и я стал ей говорить совершенно беззастенчиво о своей застенчивости, неловкости, незнании светских приличий, неумении держать себя в обществе и т. п. Она соглашалась, что я, действительно, не боек, но утешала меня тем, что все означенные достоинства находятся во мне не в столь высокой степени, как я думаю. А в самом деле — какое ужасающее сходство нашел я в себе с Чулкатуриным<sup>3</sup>... Я был вне себя, читая рассказ, сердце мое билось сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так и казалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история. Чувства же, подобные чувствам Чулкатурина, на бале мне приходилось не раз испытывать... Вообще с некоторого времени какое-то странное, совершенно новое, неведомое мне прежде, расположение души посетило меня... Я томлюсь, ищу чего-то; по пятидесяти раз в день повторяю стихи Веневитинова:

Теперь гонись за жизнью дивной  
И каждый миг в ней воскрешай,  
На каждый звук ее призывный  
Отзывной песнью отвечай...

Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо. Беда, если я встречу теперь хорошенькую девушку, с которой близко сойду (разумеется, не из разряда М[ашенек]) — влюблюсь непременно и сойду с ума на некоторое время. Итак, вот она начинается жизнь-то... Вот время для разгула и власти страстей... А я, дурачек, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что уже я пережил свои

<sup>1</sup> Галахов Ив. Павл., близкий Герцену, Огареву, кружку Станкевича.

<sup>2</sup> Повесть И. С. Тургенева.

<sup>3</sup> Чулкатурин — герой «Дневника лишнего человека» И. С. Тургенева.



желания и разлюбил свои мечты... Я думал, что выйду на поприще общественной деятельности чем-то в роде Катона бесстрастного или Зенона стойка... Но, верно, жизнь возьмет свое... И как странно началось во мне это тревожное движение сердца!.. В первый раз шевельнулось оно во мне, когда я услышал от Б. Кур[акина], что княжна Трубецкая<sup>1</sup> — очень бедная девушка — выходит за Морни. Не могу определенно вспомнить своих чувств в ту минуту, но знаю положительно, что с тех пор я не знаю покоя, и социальные вопросы переплелись в моей голове с мыслями об отношениях моих к обществу, в котором мне именно суждено жить. Вместо теоретических стремлений начинается какая-то лихорадочная жажда деятельности и деятельности живой, личной, а не книжной, неопределенно безличной и отвлеченной... Что-то будет?.. Может быть, конец моих учебных подвигов совершенно испортится теперешним моим расположением, но противиться ему я не в силах...

Поздним вечером пригласила меня Нат[алья] Ал[ексеевна] к себе, будто бы за книгой. Но в сущности ей было нужно переговорить со мной. Разговор начался уверением в ее доверенности и расположении ко мне и просьбою, чтобы я постарался внушить Алеше несколько лучшее расположение к матери и более приличное обращение с нею. Я отвечал ей, что мало могу помочь ей, так как причина неуважения к ней сына заключается, по моему мнению, не столько в нем или в ней, сколько в постороннем, но весьма сильном влиянии. — Что же это такое? — «Я, конечно, не имею права говорить вам о том, что я угадываю и что вы, разумеется, сами хорошо понимаете, но во что мне, как человеку чужому, мешаться было бы не скромно»... — Нет, говорите... Вы нас так давно знаете... Пожалуйста... что вы думаете?.. «Сергей Пав[лович] — именно я нахожу, что обращение С[ергея] П[авловича] не больше, как перенимается Алешей». — Да, это правда... Но что же мне делать?.. — «Не обращайтесь внимания на Алешу и даже старайтесь подсмеиваться над его капризами и всякими претензиями. На него ничем нельзя подействовать так успешно, как насмешкой». — Но я этого не могу... — «В таком случае подождите, когда он будет умнее, потому что чувства любви в нем нет, значит, надобно ждать, когда рассудок убедит его в необходимости уважать, если не любить мать». — Но я не могу равнодушно выносить то, что он теперь делает... Мои требования очень не велики. Я уже не требую от него любви, я только хочу, чт[о]-б[ы] он был со мной вежлив. А то он совершенно не умеет обращаться со мной... — Шесть дней мы с ним ссоримся теперь, Вар-

<sup>1</sup> Трубецкая Софья Сергеевна.

в[ара] Ал[ексеевна] его посылает просить у меня прощения, и он приходил два раза, но с какими фразами: «что вы все еще дуетесь?.. Ну, пора перестать»... Я его, разумеется, прогнала от себя. В другой раз он пришел и говорит: «ну, давайте же мириться.. Хотите»... — Я опять должна была прогнать его»... Все это, разумеется, было рассказано весьма подробно, с женскими объяснениями, переливаниями из пустого в порожнее, десятикратными возвращениями к одному и тому же. Но сущность разговора состояла именно в том, что я записал. Мне стало жаль бедную мать до того, что я хотел обратиться к ней с откровенными упреками в неумении обращаться с сыном, в непонимании истинной любви материнской и пр... Я хотел открыть ей глаза на нее самое, но порыв мой удержало и расхолодило меня замечание о том, что она требует только вежливости, замечание, приправленное еще хорошей мыслью о том, что это не только для нее нужно, но и для него, что в обществе вежливость и хорошие манеры необходимы, что она сама хорошо воспитана и утерпеть не может, чтобы не заметить сыну, когда он садится с локтями за стол или грубые речи говорит... Я увидел, после этих слов, что тут мне делать и толковать нечего, и поспешил кончить объяснение, сделавшееся мне неприятным, обещавши употребить все мое влияние на Алешу, чтобы внушить ему лучшие мысли. Когда я сошел вниз, Алеша уже спал, и я ничего не сказал ему — ни тут, ни поутру. И хорошо сделал. А странны семейные отношения этой фамилии. Отец любит сестру своей жены и беспрестанно пикирует свою жену. Сын с малых лет привык к этому и тоже смеется над матерью, когда она скажет глупость. А это бывает нередко. Убитая разными неприятностями (она, кажется, знает своего мужа и сестру), больная, пьющая постоянно какие-то мерзости, она часто бывает не в нормальном положении. Она делается томною, вялою, впадает в изнеможение, глаза посоловеют, она ничего не слышит, отвечает будто спросонья, физиономия получает жалобно-кислое или сонно-апатичное выражение. Тут, если станешь непременно вызывать ее на разговор, она начинает говорить с сердцем разные глупости. Воспитана она дурно (хотя и говорит на трех языках, кроме русского), круг ее понятий очень ограничен, занятий она никаких не имеет. Встает в 10 часов, пьет кофе в постели, лежит до 11, около 12 сходит вниз, в час завтракает или пьет чай, потом сидит, смотрит, разговаривает — о погоде, о визитах, о знакомых, о письме, вчера полученном, и т. п. С двух часов (если она не уходит гулять или с визитами) отправляется к себе и, кажется, ничего тоже не делает или присядет за какое-нибудь шитье или вязанье. Часа в три начи-



нает одеваться к обеду. От пяти до шести обедают. После обеда С[ергей] П[авлович] сидя спит, а она сидит в его кабинете, иногда разговаривая с сестрой или гостями, если есть гости, а чаще так, задумавшись или, лучше, — дремля. Когда я бываю, то читаю обыкновенно что-нибудь, реже — рассказываю. Но и это бывает как-то вяло и бездушно. Comme c'est joli, — больше ничего нельзя услышать о хорошей повести. О других говорится comme c'est drôle. Через неделю все это позабывается, равно как и вообще разговоры забываются. Двадцать раз говорил я о медиц[инских] разжалованных студентах<sup>1</sup> и каждый раз снова должен был рассказывать историю, как они разжалованы и куда посланы. Немного позже Н[аталья] Ал[ексеевна] отправляется к себе — переодеться к вечеру (не каждый день, впрочем). В 9 часов чай... После чая, часу в одиннадцатом, посидят немножко, поговорят, и в 11 С[ергей] П[авлович] ложится спать. Наталья Алексеевна отправляется к себе и сидит еще несколько времени, — говорит, что она пишет письма по вечерам. Но я знаю достоверно, что ее корреспонденция вовсе не может быть названа слишком обширною... При таком образе жизни — где же быть веселой и довольной... А сердце у нее от природы доброе. Она все желает иметь миллионы, но для того только, чтобы раздавать их, как она говорит. Сына своего она — уверяет, что любит; вероятно, в самом деле она в этом уверена, да и нельзя же матери не любить сына. Но теплой материнской любви она не понимает. Она тешит сыном свое самолюбие, когда его хвалит и балует; и то же самолюбие оскорбляется в ней, когда он высказывает ей свое неуважение... Он-то сам ее уже совсем не любит, потому что презирает ее. Он от природы не глуп, но никогда не учился, не думал, развит более физически, нежели умственно, — так что двенадцати лет он уже имел полное понятие о всех тонкостях половых отношений, а теперь, 14 л., уже изведal их на деле; рассуждать же логически не умеет и злится, когда его поражают в споре, что часто я делаю. Он понимает, что бессилен против меня спорить, но согласиться не хочет. Это сознание своего бессилия заставляет его прибегать к авторитетам. И первый авторитет его — отец, затем разные господа из важных его знакомых, из учителей и т. п. Впрочем, как мальчик, никогда о себе не думающий, он держится авторитетов этих только в теории, когда речь пойдет о деле, а на самом деле

---

<sup>1</sup> Студенты мед.-хир. академии были разжалованы в фельдшера и посланы в Тавастгус в Финляндии за петицию Александру II на свое начальство, их обкрадывавшее.

всегда руководствуется одной своею прихотью. Если бы он был беден, попал в хорошие руки и знал, что ничего не получит в жизни без собственного труда, то из него еще могло бы что-нибудь выйти. Теперь же никакого толка не будет. Так и выйдет из лица — пустым, надутым малым, не умеющим определить своей последней цели, с узким взглядом, с самыми варварскими предрассудками. Он, впрочем, может быть, и честен будет, по крайней мере формально. Нет, однако, — сомневаюсь я в этом...

7 числа начались у нас лекции. Вечером б[ыл] я на уроке у Кур[акиных], и Борис сказал мне, между прочим, что кн. Трубецкой<sup>1</sup>, отец невесты Морни, много проказил на своем веку, так что даже с него сняли княжество, и он пишет на визитных карточках своих *mr Troubetzkoj né prince Tr[oubetzkoj]*. Это забавно. Морни сам, по словам Бориса, просто *parvenu*, нажившийся от ажиотажа, особенно во время *soup d'état*, и что самое начало его известности относится к 1848—50 г. Борис прибавил при этом: «да иначе и не может быть с братом Луи Наполеона»... Это мне нравится... Вообще Борис обнаруживает стремление к развитию, расспрашивает меня о философии и религии, и сказывал мне, что кн. Щербат[ов]<sup>2</sup> говорил его тапан, что лучше поступить на матем[атический] факультет, так как там лучше способности развиваются: все надобно думать и соображать самому. Отчасти, это, конечно, и правда. Но более, мне кажется, зависит развитие от способа занятий, нежели от самого предмета их. А Черн[ышевский] может служить прекрасным доказательством...

Вечером вчера зашел я к Решеткину. Этот молодой человек успешно развивается. Некоторые догматические формы стоят еще в его голове нетронуты; но уважение к разумным убеждениям уже сильно в его душе. Мы толковали с ним о несоразмерности состояний, о роскоши, о браке, и он совсем не чуждается радикальных объяснений, которые я делал ему на этот счет. В глубине души он даже давно сочувствует им и смутно предугадывал их, но только прямо высказать боялся до сих пор. Между прочим, он давно согласен б[ыл] со мною касательно несчастных женских омнибусов. Когда я заметил, что они чувство любви совершенно отделяют от удовлетворения животной похоти мужчины, он рассказал мне, что сам видел . . . . . девушку, которая, спокойно отдавая себя на удовлетворение всякого, плакала навзрыд, когда мужчина, которого любила она и который при-

<sup>1</sup> Князь Трубецкой Сергей Васильевич.

<sup>2</sup> Щербатов Г. А., князь, попечитель СПб учебного округа.



шел к ней, рассердился на нее за что-то. Другой случай рассказывал ему знакомый: девушка, . . . . . , вдруг зарыдала, когда он поцеловал ее, и после того не могла утешиться, проклиная свою горькую участь... Для меня это очень замечательное явление. Реш[еткин] говорил еще о Левшине, сыне А. И. Левшина <sup>1</sup>, поступившем тоже в универс[итет] в нынешнем году. Судя по его словам, это должен б[ыть] хороший человек, и не фанфарон, и не охреян, в роде Демидова <sup>2</sup>. Дем[идов] этот, получая 200 000 доходу в год, чуть ли не все их проживает, ничего не делает, пьянствует, шатается по . . . . . , получил даже, говорят, шанкер... Вот уже это не простительно: он имеет все средства быть постоянно в самом лучшем обществе, проводить время в занятиях благородных и полезных, приносить наконец пользу обществу. А вместо того, он, чорт знает, на что тратит и свою жизнь, и свое богатство... Этот человек стоит всякого презрения. Но, странное дело! возвращаясь от Р[ешеткина], я дорогой мечтал о том, как бы можно было познакомиться с Демидовым... Мечты эти влезли в мою голову совершенно бессознательно, и когда я заметил их, то успел только удивиться и, конечно, переменял предмет своих дум...

9 я н в [а р я]. Вчера я поверил свои томленья и тревожное состояние сердца М. Ш[емановско]му. Но он привык смотреть на меня, как на абстрактную идею, как-то воплощенную, и потому не поверил моим чувствам и отделался шуткой. Он, впрочем, не может, кажется, в самом деле понять мое состояние. Даже если б то же и в нем произошло, то едва ли он понял бы... Да и я-то много ли понимаю тут?.. А между тем судьба готовит мне испытание, может быть. Вчера Благовещ[енский] <sup>3</sup> подозвал меня к себе перед лекцией и, начавши с Плавта, предложил мне отправиться на Моховую к А. Н. Татар[инову] <sup>4</sup>, которому он рекомендовал меня давать уроки его пятнадцатилетней дочери... <sup>5</sup>. Что, если она хорошенькая и умная девушка?.. Что, если это

---

<sup>1</sup> Левшин Алексей Ираклиевич—директор деп. сельск. хоз. при мин. гос. имущ.

<sup>2</sup> Демидов Анатолий Николаевич, князь Сан-Донато.

<sup>3</sup> Благовещенский Николай Михайлович, профессор Гл. пед. ин-та. Ему Д-в подавал сочинение о Плавте. Благовещенский находил, „что это превосходное сочинение вполне заслуживает печати“. Напечатано в сокращенном виде в „Соч. Н. А. Добролюбова“ под ред. М. К. Лемке, том I, 303.

<sup>4</sup> Татаринов Александр Николаевич.

<sup>5</sup> См.: „Волжский Вестник“ 1893 г. № 296. Н. Островская. Мои воспоминания о Н. А. Добролюбова,—„Литература и Марксизм“ 1931 г. кн. 2. Н. Татаринова о Добролюбова. (Неизданные воспоминания).

доброе и радужное семейство?.. В теперешнем своем настроении я рад всякой живой душе, которой мог бы говорить о своих душевных тревогах... Чувства мои рвутся наружу с страшной силой. И что, если я встречу сочувствие? С трепетом, но с сладким трепетом и ожиданием еду сегодня к Т[атариннову]. Теоретически — я боюсь, что она очень хороша и завлечет меня; но в глубине души — мне ужасно хочется, чтобы это было именно так, и я очень опасаясь, что она дурна или глупа, так что мои надежды и опасения лопнут при первом взгляде на нее. А между прочим тревожное состояние души моей выразилось вчера очень оригинальным образом. Еще с утра на лекции Ср[езневского], по поводу какого-то слова его совершенно ничтожного, у меня вдруг родился целый ряд идей о том, как можно бы и как хорошо бы уничтожить это неравенство состояний, делающее всех столь несчастными, или, по крайней мере, повернуть все вверх дном, а в ось потом как-нибудь лучше устанется все... Этот странный порыв, конечно, скоро был успокоен хладнокровным рассуждением, доказавшим, что подобное намерение глупо. Но все-таки в душе осталось чувство, что надо же делать, если делать, что нечего сидеть, сложа руки. В таком настроении был я, когда получил следующее известие. В С е н а т с к и х В е д о м о с т я х напечатан был указ, в котором говорилось что-то о крепостных. Весть об этом распространилась по городу, и извозчики, дворники, мастеровые и т. п. толпами бросились в сенатскую лавку покупать себе в о л ь н ы е. Произошла давка, шум, смятение. Указы перестали продавать... К. <sup>1</sup> ходил вчера в сенат[скую] лавку. Чиновник ответил на его вопрос об указе касательно крепостных: «нет и не было»... Но тут же, в две минуты, которые К. пробыл в лавке и возле, человек 15 разного звания приходили спрашивать об этом указе, и всем тот же ответ. Говорят, что извозчики оставили своих хозяев, многие, рассчитав, что теперь им оброку платить не нужно, и, следовательно, от себя работать можно, что гораздо выгоднее. Сп. встретил третьего дня вечером двух пьяных мужиков, из которых один говорил, что мы, дескать, вольные с нового года, а другой ему возражал: «врешь, с первого числа»... Это меня возбуждало и настроило как-то напряженно. Вечером заговорили опять об этом указе, и Ав[енариус] <sup>2</sup>, думая сострить, самодовольно заметил, что для студентов пед[агогического] института эта новость не может быть интересной, пот[ому] что у них

<sup>1</sup> Возможно, или однокурсник Д-ва Александр Колоколов (филолог) или Иван Конопасевич (историк).

<sup>2</sup> Авенариус Николай — студент Гл. пед. ин-та, историк.



нет крестьян. Леб[едев]<sup>1</sup> стал, по обычаю, очень тупо острить на этот счет, и я, видя, что дело, святое для меня, так пошло трактуется этими господами, горячо заметил Ав[енариусу] неприличие его выходки. Он хотел что-то отвечать, и по обычаю заикнулся, и, стоя передо мной, только производил неприятное трещание горлом. Я сказал, что его острота обидна для всех, имеющих несчастье считать его своим товарищем, и что между нами много есть людей, которым интересы русского народа гораздо ближе к сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свинье... Выговоривши это слово, я уже почувствовал, что сделал глупость, обративши внимание на слова пошлого мальчишки; но начало было сделано, Ав[енариус] сказал мне сам какую-то грубость, и я продолжал ругаться с ним, пока не заставил его замолчать грозным движением, которое нужно было растолковать, как намерение прибить Ав[енариу]са. Движение это было уже не искренно, а просто рассчитано, и через пять минут я совсем эту историю позабыл, увлекшись течением мыслей Ч[ернышевско]го в заметках о журналах первого № Современника<sup>2</sup>. Сегодня оказалось, что Ав[енариус] написал на меня басню—освобождение зверей из зверинца...<sup>3</sup>. Содержание ясно из заглавия и показывает, как хорошо смотрит Ав[енариус] на русский народ... До сих пор я воображал, что он несколько умнее...

11 я н в [а р я]. Полный странных надежд и опасений, отправился я в среду к Тат[аринову]. Явился я туда в шесть часов вечера, отец уже ждал меня. Оказалось, что он симбирский помещик, недавно приехавший в Петербург, с женой и дочерью. Это очень полный, басистый барин, с усами, придающими несколько свирепый вид его добродушному лицу. Он большой либерал, и в отношении к дочери не является пуристом. Я это заметил из нескольких слов его, и, чтобы вполне определить для себя, как я должен действовать, спросил его положительно, как он думает о произведениях натуральной школы и как говорить о них с его дочерью. Он, не дожидаясь дальнейших расспросов, прямо заметил мне, что чем я буду свободнее, тем лучше, и просил не стесняться ни православием, ни монархизмом. Я ответил, что в таком случае занятия с его дочерью будут для меня

---

<sup>1</sup> Лебедев Евлампий—однокурсник Д-ва, филолог.

<sup>2</sup> Рассказы графа Л. Н. Толстого.—Областные учреждения России в XVII веке Кавелина.—Последние дни жизни Н. В. Гоголя, из воспоминаний А. Тарасенкова.—„Русский Вестник“ и Тургенев.

<sup>3</sup> См. В. К н я ж и н. Архив Н. А. Д-ва, принадлежащий Пушкинскому Дому.—„Временник П. Д.“ 1913, стр. 40.

истинным наслаждением, и после этого разговор наш сделался жив и откровенен. А. Н., несмотря на то, что сам помещик, стоит за освобождение крестьян. Жена его — провинциальная дама хорошего, по-тамошнему, тона. Она мне ни понравилась, ни нет. Ум ее, кажется, довольно медленный, и горизонт умственный довольно тесен. Сама она, очевидно, ничем не занималась теоретическим, а слыхала многое. Говорит она с некоторым особенным напряжением на словах и чуть-чуть напоминала мне этим Подобедову в роли жены городничего. Впрочем, она, т.-е. Соф[ья] Ник[олаевна], гораздо приличнее. Потолковавши в либеральном духе и условившись об уроках, я ушел, не выдавши дочери, которая была в это время где-то в гостях.

На другой день, т.-е. вчера, был первый урок. Признаюсь, я неприятно удивлен был, встретив вместо ожидаемой взрослой девушки, дитя, с волосами à l'enfant, неловкое, застенчивое, краснеющее и прячущее головку между своими руками, при каждом слове. Я стал с ней говорить что-то, она выражается не очень бойко... Я начал свою лекцию, и целый час, даже больше, толковал о развитии русской литературы с древних времен до последних. По временам обращался я к ней с вопросами и заметил, что она знает кое-что, довольно смыслена, не отличается большей памятью. После урока несколько минут я говорил с А. Н., и видя, что он что-то хочет высказать мне, но совестится, — я поспешил заметить, что толковал так много и пространно отчасти и для того, чтобы показать ему, как я смотрю на дело и какие мои понятия об этом предмете. Он, очевидно, обрадовался и, радостно пожимая мне руку, воскликнул: «я ведь это и видел... Я так и думал, слушая вас, — что вы это для меня больше говорите... Я-то тут и вынес много, ну а Наташа-то не знаю, вынесла ли что». Я его успокоил, сказавши, что в другие уроки будут занятия более частные. Семейство вообще хорошо... В Наташу, кажется, я не влюблен, по крайней мере до окончания курса, — ей нужно по крайней мере год, чтобы сформироваться в настоящую девушку.

12 я н в [а р я]. Вчера вечером отправился я к Чумикову, издателю Журнала для Воспитания. Накануне Гал[ахов], наш студент, сказал мне, что у него можно получить переводы с немецкого. Я пошел, не столько имея в виду брать переводы, сколько предложить издателю свои услуги по части сочинения оригинальных статей. Пришел я в квартиру, как-то странно обставленную. Встретила меня пожилая немка и на вопрос: «здесь живет г. Ч[умиков]», указала на дверь и лаконически



прибавила: «gehen Sie gerade». Я сбросил шинель и вошел. Комната б[ыла] довольно скудно меблирована. На столах и на окнах разбросаны книги. Направо — дверь, из которой виднелась еще небольшая комната, — как видно, кабинет и спальня хозяина. Эта обстановка расположила меня к нему. При моем приходе он рассуждал с каким-то господином, очень бойким и, как мне показалось, очень надутым, следовательно — достаточно глупым. Господин этот, не зная языков, берет у Чумикова переведенные с немецкого статьи и поправляет их, говоря, что это стоит столько же работы, как и перевод, и лупя с него за переправку по 10 р. — цена перевода. Он у Ч[умикова] и корректор и, как кажется, редактор журнала. Я спросил его фамилию, когда он ушел. Попов, составлявший какие-то детские книжонки, очень, кажется, глупые. Сам Чум[иков] оказался простодушным, забитым человечком, несколько туповатым, скромным, имеющим притязание на честность, но по глупости, вероятно, не всегда честным. Я начал толковать с ним о направлении журнала, изъявил насмешливое презрение к консерваторству и услышал от Ч[умикова] откровенное признание, что он хочет издавать журнал в либеральном духе. «Это и убеждение мое, — сказал он, — да и если смотреть чисто с утилитарной точки, то нельзя не видеть, что подобное направление заслужит более сочувствия и в публике, и, следовательно, принесет более выгод». Я с ним согласился, конечно, и предложил ему свои услуги. Он дал мне переводить начальные упражнения из Buch der Mutter Рамзауера, вовсе уж не либеральные и страшно скучные. Я их отдал ему назад, посоветовавши сократить побольше.

От Ч[умикова] поехал я к А. Т. Крылову<sup>1</sup> справиться о положении его дел, относительно задуманного им сборника. Оказалось, как я и думал, что его надувают попрежнему. Это ужасно простодушный человек, добрый до безрассудства, слабый до самоотвержения. Умом он очень недалек, имеет некоторые predilections: иначе я не могу назвать его либеральные стремления, мирно уживающиеся с полным уважением к некоторым консервативным авторитетам. Сколько ни толковал я ему, что Вышин[еградский] — мерзавец, он никак не может освободиться от некоторого страха перед ним. Это — как будто провинциальный юноша, желающий пуститься в свет и с умилением взирающий на гордого льва, которого случилось ему увидеть на вечере

---

<sup>1</sup> Крылов Адриан Тимофеевич в 1858 г. выпускал в СПб „Русский иллюстрированный альманах“. Добролюбов дал в альманахе статью о Пушкине, подписанную Н. Лайбов. См. полное собр. сочин. Н. А. Д-ва, под ред. Е. Аничкова, том II, стр. 27 и далее, стр. 718, — „Материалы.“, 438—439.

у своего чиновного покровителя и который обещал познакомить его с лучшими домами. Выш[неградский] тоже наделал Крылову несколько обещаний: он обещал, напр[имер], выхлопотать позволение издать хрестоматию в новом роде, — чтобы статьи все составляли нечто целое. Он потолковал об этом с Кр[ыловым], тот принялся за работу, выбирал, располагал, отдавал переписывать, целковых 150, говорил он, истратил на одну переписку, а В[ышнеградский] представил ее в комитет рассмотрения учеб. руководства, — и за это хотел участвовать в выгодах издания, не рискуя ни на какие убытки. Но хрест[оматия] почему-то не пошла. В[ышнеградский] бросил дело... С сборником тоже произошло странная вещь: еще с начала 1856 г. Крылов заказал статьи некоторым ученым и литераторам, как-то: Крешеву <sup>1</sup>, Мею <sup>2</sup>, Толбину <sup>3</sup>, Данилевскому <sup>4</sup>, Федорову <sup>5</sup>, Томилину, Ив. Михайлову <sup>6</sup>, А. Витту <sup>7</sup> и еще, кажется, кому-то. Они выпросили у него денег вперед (по 40 р. за лист — плата очень хорошая) и статей не дали до сентября. В сент[ябре] в половине Н. Г. Ч[ернышевский] сказал мне, что Крылов просил его написать о Пушкине и Державине, но что ему некогда, и он сказал Кр[ылову], что можно об этом меня попросить. Я согласился. Кр[ылов] весьма положительно сказал, что у него все статьи будут готовы к 20 числу, но что меня он подождет и даст мне сроку до 1 окт[ября]. Я взялся; о Пушкине я сам написал, о Державине — Щеглов. Первого числа принес я статьи к Крылову; оказалось, что у него еще только три статьи получены, а все остальные обещают на днях. Я пожалел, что торопился и не обделал статью, как следует, т.-е. ровно ничего не сказал в ней; то же говорил и Щ[еглов], но делать было нечего. Переделывать в другой раз и хорошие-то вещи я не люблю, а пустяки еще больше. Прошло недели две; Черн[ышевский] вдруг говорит мне однажды, что Кр[ылов] просил его

---

<sup>1</sup> Крешев Иван Петрович, поэт.

<sup>2</sup> Мей Лев Александрович, поэт.

<sup>3</sup> Толбин Вас. Вас., писатель, под псевдонимом В. Баршова писал в „Северном Обзоре“. Оставил много повестей, рецензий, статей по истории, писал в „Искре“. Несколько стихотворений напечатано в „Колоколе“ Герцена.

<sup>4</sup> Данилевский Григорий Петрович — писатель.

<sup>5</sup> Федоров Ф. А., в „Русский иллюстрированный альманах“ он дал статью „Картины русского Севера“.

<sup>6</sup> Михайлов Ив. Ив. — сотрудник „Библиотеки для Чтения“ и „Современника“ в 1850-х годах.

<sup>7</sup> Витт А. Н. — сотрудник „Русского Мира“ в 60-х годах.



принять на себя редакцию сборника, но что он тоже желал бы мне это передать. Я колебался, думая, что эта вещь очень щекотливая, и не мог себе представить, как же это я буду поправлять сочинения известных писателей... Но Ч[ернышевский] своей насмешкой заставил меня решиться, и на другой день я отправился к Крылову за статьями. Оказалось, что их все еще было только три, а все остальные обещаны на след[ующей] неделе. Я взял статьи, Кр[ылов] просил меня не задерживать, по-т[ому] что он хочет издать сборник к рождеству, так как это будет великолепное издание (с картинками из старинной Иллюстрации, которая была в заведывании Кр[ылова]), могущее служить для подарков. Я не задержал, явился через неделю со всеми статьями, которые были все очень пусты и дики и действительно требовали сильных поправок. Оказалось, еще только одна статья была получена — от Ю. Волкова<sup>1</sup>. А был уже конец октября. Эта статья была уже верх нелепости, начиналась рассуждением о том, что Россия очень обширна и оканчивалась патриотич[ескими] стихами о русском солдате. Но Крылов был от нее в восхищении. Затем еще раз два был я у него: он уже потерял надежду успеть издать сборник к рождеству и рассчитывал издать к пасхе. Статей никто не присылал... Наконец мне надоели обещания, и я просил его прислать мне, если что получит... Это было в половине ноября, а до сих пор ничего не было прислано. Вчера наконец решился я навестить. Крылов статей еще не получал, но обещал прислать две статьи — 14, в понедельник. Издание хочет он пустить уже по осени... А как добродушно он однажды рассчитывал, что «вот на следующей неделе<sup>1</sup> (в начале ноября) вы пожелаете ко мне, и мы потолкуем с вами, как нам расположить все статьи и как к ним приладить рисунки»... Бедный Адр[иан] Тим[офеевич]! Ему вечно суждено испытывать обманы людей. Он даже, кажется, изумился несколько, когда увидел, как верно я сдерживаю свои обещания: он не привык к этому. Вчера он пустился в грустные воспоминания и рассказал мне, что ему повредила много мачеха. У него было нераздельное имение с братом (полковником); Адр[иан] Т[имофеевич] управлял имением, тратил деньги (конечно, без толку), сделал улучшения (по его словам); пришло время рассчитаться; брат согласился на счет, представленный Адр[ианом] Т[имофеевичем] и дававший ему право на получение из заемного банка какой-то суммы... В надежде на это

---

<sup>1</sup> Волков Юрий Александрович — один из редакторов газеты „Русский Листок“ в 60-х годах, писатель.

Кр[ылов] назначил платеж в тот день, когда должен был получить деньги, а он занимался коммерцией, имел библиотеку, издавал журнал. Но мачеха что-то натолковала сыну; тот, вероятно, был глуп и бессовестен и подал протест против брата... Денег ему не выдали, платежа сделать он не мог, потерял кредит, объявлен несостоятельным. Журнал (Иллюстрация) лопнул... Жалкий человек Адр[иан] Т[имофеевич]. Я уверен, что и теперь его надувают: в понедельник он не пришлет мне ни одной статьи...

Сегодня случилось интересное обстоятельство на лекции. Я спросил Вышн[еградского] о журнале Чум[икова]. Он начал так: «Из биографии этого человека я знаю то, что он был в ополчении. (общий смех) и пошел туда от нечего делать (смех)... Да, думал, думал, что ему делать, и пошел в ополчение. Теперь же он придумал другое: журнал педагогич[еский] издавать (смех). Он, впрочем, имеет на это основание: он служил помощником инспектора в одном из женских учебных заведений, и оттуда был удален инспектором (смех). Инспектор-то, который его удалил, говорит, разумеется, что он глуп... Ну, я этого утверждать не могу. Во всяком случае журнал его, вероятно, пойдет, пот[ому] что он теперь служит у Щ[ербатова] и его журнал, след[овательно], навяжут всем учебным заведениям нашего ведомства»... (смех). Тут Галахов возвысил голос и сказал: «Я недавно говорил об этом с Чумик[овым]<sup>1</sup>, и он мне сказал, что этого не будет, что ему Щ[ербатов] даже предлагал, но он не захотел этого»... После этого В[ышнеградский] переменил тон совершенно. — «А, это очень благородно и великодушно со стороны г. Чумикова, — сказал он. — Да он, впрочем, в этом и не нуждается. Он человек чрезвычайно образованный, был в здешнем университете, потом несколько лет жил за границей, слушал лекции в Берлине... и очень добросовестный человек, энергии у него пропасть»... и т. д. Звонок прервал этот дифирамб, чудно рисуя отвратительную душонку Вышн[еградско]го.

13 янв[аря]. Вчера вечером у Татар[инова] б[или] гости. Между прочим — какая-то дама, восхищающаяся Белинским и Искандером и ругающая грамматику. Потом был Бекетов В[лад.] Н[ик.], известный либеральностью по глупости, цензор. Он рассказывал между прочим, как недавно получил из-за гра-

---

<sup>1</sup> Чумиков Андр. Андр. был в то время помощником инспектора при СПб воспитательном доме.



ницы заграничные книги. Шепнул знакомому советнику в таможене, и тот крикнул: «каталоги»... Каталоги проходят без осмотра... Делают и иначе... Fables de Lafontaine, 200 экземпляров. Один экземпляр берется и просматривается слегка, потому что Fables de Lafontaine строго просматривать нечего... Остальные экземпляры проходят так, хотя на них только обертка Fables, а иногда даже и того нет... На этот раз порадовался я злоупотреблениям, существующим в российской империи, что со мной случается весьма редко. Бек[етов] объявил между прочим торжественно, что он не имеет убеждения, что нужно пропускать и чего не пропускать. «А сказано, — говорит, — мне, что нельзя печатать ничего — вот хоть об этом калаче; я все, что будет о калаче, и вычеркиваю»... Отличный человек! Я преисполнился за эту выходку искренним уважением к его калмыцкой физиономии... Между прочим, Бек[етов] рассказал мне, сколько хлопот было из-за рецензии институтского акта в С о в р[е м е н н и к е]<sup>1</sup>. К нему присылали, к Панаеву присылали, чт[о]б[ы] узнать автора статьи, и наконец свалили ее на Черныш[евского] и его успели даже очернить перед министерством. Однако Ленц<sup>2</sup>, прочитавши статью у Бек[етова] в корректуре, просиял, как говорит Бекетов. Да и сам он, кажется, очень рад...

От Татар[иновых] полетел я к восточным студентам, где ожидала меня вторая книжка Полярной Звезды... Трирогов, доставший ее где-то и с которым я в первый раз тут познакомился, очень милый и добрый человек, довольно, кажется, слабый характером и способный к увлечениям всякого рода, от природы, ~~кажется~~, недалекий, но силящийся рассуждать серьезно и способный к внутреннему развитию. Не знаю, вообще ли он отличается особенной вежливостью или имел какие-нибудь особенные уважения к моей особе, но предупредительность его ко мне была просто изумительна. Другой из студентов, Кипиани, отличающийся шапкой на голове, состоящей из его собственных волос, должно быть сильная, но сдерживающая себя натура. Разумеется, я с ними толковал весьма мало, потому что передо мною был собеседник поинтереснее. С 10 часов начал я чтение и не прерывал его до пяти утра... Закрывши книгу, не скоро еще заснул я... Много тяжелых, грустных, но гордых мыс-

---

<sup>1</sup> См. письмо Д-ва к Н. П. Турчанинову, 1 авг. 1856 г. Рецензия напечатана без подписи, была приписана Чернышевскому и, по его словам, „она доставила бесчисленные овадии тому из сотрудников „Современника“, кому была приписана“.

<sup>2</sup> Ленц Эм. Христ., проф. СПб ун-та, потом Гл. пед. ин-та.

лей бродило в голове... В половине 10-го я проснулся совершенно свежим и бодрым и, напившись чаю, поговоривши, полюбавшись еще раз на портрет Искандера, который достали они же, я с сосредоточенной решимостью обрек себя на страдание за Амартолом и провел воскресенье у Срезнев[ского]... Там Тюрин<sup>1</sup> был, и на этот раз он показался мне несколько умнее обыкновенного. В честности его я давно уже не сомневаюсь. Между прочим Ср[езневский] щеголял своим прямодушием, т.-е. говорил, что «вот мы с вами, Ал. Фед., не умеем жить на свете, что все правдой идем», и пр... Ср[езневский] любит говорить на эту тему. По этому поводу Тюрин сказал, между прочим, о своем разговоре с гр. Толстым<sup>2</sup>, обер-прок[урором] Синода. Тот говорил ему, что, по его мнению, освобождение крестьян теперь вредно и даже нелепо, пот[ому] что тогда между прочим число дел увеличится до невозможности. Тюр[ин] возразил ему, что освобождение именно потому между прочим и необходимо, что оно должно показать нелепость нынешнего нашего судопроизводства и администрации. Толст[ой] замолчал.

14 [я н в а р я]. Сегодня опять та же история: Сидел у Ср[езневского] целый вечер, толковал о Тургеневе, Боткине<sup>3</sup> и малорусс[ком] наречии. Говорят, Ботк[ин] отличается особенным сладострастием. Этого не подумаешь, читая его туманные рассуждения о музыке и чистом искусстве... За последнюю статью о Фете надобно отделать его. Я думаю, Краевский поместит с удовольствием. А статья весьма глупа... Сегодня дописывал я статью о детском повиновении, для Чум[икова]<sup>4</sup>. Только выходит что-то слишком либеральное. Писал я ее и на лекциях и в то время, как все остальные ушли хоронить Людвига. Говорят, у него состояния не осталось, и старушка — мать его жены — особенно убивается. Гувернеры напротив веселы, потому что им в последнее время страшно надоело дежурить за больного Людвига. Теперь вместо него поступит другой гувернер, им будет легче. Радость их совершенно понятна.

15 [я н в а р я]. Татаринов просил меня рекомендовать учи-

---

<sup>1</sup> Тюрин А-ндр Федорович, брат жены И. И. Срезневского, пианист композитор, собиратель народных песен.

<sup>2</sup> Толстой Александр Петрович.

<sup>3</sup> Боткин Василий Петрович. Статья о Фете была напечатана в „Современнике“, 1857, I.

<sup>4</sup> Имеется в виду компилятивно-переводная статья „О приучении детей“ из Die Zucht in der Volksschule, v. R. Hermanus.



3  
теля истории и географии. Я назвал Щ[еглова]. Но Благ[овещенский], из каких-то особенных опасений, не согласился. Тогда я послал к Тат[ариновым] Турч[анино]ва; но они не сошлись... Сегодня Т[атарин]ов спрашивает меня, почему Щ[еглов] не пришел к нему. Я чистосердечно рассказал всю историю, А. Н. сообразил, в чем дело, и мы порешили на том, чтобы Щ[еглов] давал у него уроки, а Благ[овещенский] может и не знать об этом. Я рассказал Щ[еглову] об этом, и он был очень рад, так что даже сказал, что мы должны «немножко помириться теперь», и просил записать его в подписку на журналы. Я, конечно, был этому очень рад, потому что ссориться с ним мне не хотелось бы, хоть и в дружбе его я уже давно не нахожу особенной отрады. Каждая вещь, которую мы делаем, основывается, конечно, на эгоизме, тем более такая вещь, как дружба. Приятно быть дружным с тем, кто нам сочувствует, кто может понимать нас, кто волнуется теми же интересами, как и мы. В этом случае мое самолюбие удовлетворяется, когда я нахожу одобрение моих мнений, уважение того, что я уважаю, и т. п. Но с Щ[егловым] у нас общего только честность стремлений да и то немногих. В последних целях мы расходимся. Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов; а он — революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества и восстающий против власти только потому, кажется, что видит ее нелепость *statu quo* и признает себя выше ее... Идеал его — Северо-Американские Штаты. Для меня же идеал на земле еще не существует, кроме разве демократического общества, митинг которого описал Герцен<sup>1</sup>. Я — полон какой-то безотчетной, беспечной любви к человечеству и уже привык давно думать, что всякую гадость люди делают «по глупости», и, следовательно, нужно жалеть их, а не сердиться. Противодействуя подлостям, хоть бы Ваньке, я делаю это без гнева, без возмущения, а просто по сознанию надобности и обязанности дать щелчок дураку. Щ[еглов], напротив, отличается страстностью действия, и потому они принимают у него всегда личный характер. Все затеянное им начиналось с него и к нему непосредственно относилось; все, затеянное мной, касалось меня менее, чем всех других, потому что

<sup>1</sup> Д-в имеет в виду митинг 26 февраля 1855 г. в память французской революции 1848. Герцен выпустил в Вольной русской типографии в Лондоне отдельную брошюру с описанием этого митинга.

лично я никогда ничем не был обижен от нашего начальства. Наша ссора началась с того, что он требовал исключения Синева <sup>1</sup> из числа подписавшихся на журналы, а я не хотел этого, пот[ому] ч[то] думаю, что все-таки лучше Синеву что-нибудь прочитать и принять в голову, нежели еще более оболваниться, будучи отчужденным от нашего кружка и от литературы. Это соображение, впрочем, пришло ко мне уже после; прежде же всего мне не хотелось начинать мелодрамной истории, возвращая деньги Синеву. Я это сказал Щ[еглову], и он взялся сам возвратить. «В таком случае возьми на себя и всю подписку», сказал я. — А я отказываюсь. — «Хорошо. Но смотри, чтобы половина не отказалась от подписки, когда узнают, что ты заведешь». В тот же день я сказал, что отказываюсь и передаю Щ[еглову]. Львов <sup>2</sup> первый сказал, что и он отказывается, потом Черн[яковский] <sup>3</sup>, затем Шем[ановский] написал: вычеркнулся собственноручно (из списка), пот[ом] Бордюг[ов] <sup>4</sup>. С моей стороны было тут содействие только в том, что я выказал решительно прежде всех, что не намерен участвовать в подписке при заведывании Щ[еглова], который теперь же из'являет такие претензии при самом выборе подписчиков. С тем же уведомлением обратился я к Турч[анинову] и Алекс[андровичу] <sup>5</sup>; последний, полный наивных чувств уважения к Щ[еглову] и ко мне и откровенности, весьма похвальной, хотя и не совсем уместной в этом случае, потребовал у Щ[еглова] об'яснения, «что у нас происходят за штуки», предупредивши мое собственное об'яснение. Щ[еглов] естественно рассердился, и вечером, отозвавши меня, сказал, что я тут сподличал и что между нами прежние отношения должны прекратиться. Я ответил, что это мое давнишнее желание; он хотел еще что-то говорить, но я решительно спросил его: «так как между нами кончено, то, значит, нечего тебе и толковать еще?..». — Нечего. — «Ну, и слава богу. Прощай»... Я ушел. Он остался. Это было в начале декабря, кажется, а теперь он со мной попрежнему готов быть. Но я постараюсь отклонить всякие интимности, потому что разница наших характеров и направлений все более рисуется перед моими глазами, а его своекорыстие все более меня от него отталки-

<sup>1</sup> Синев Петр—однокурсник Д-ва, историк.

<sup>2</sup> Львов Владимир—однокурсник Д-ва, математик.

<sup>3</sup> Черняковский Аким—однокурсник Д-ва, математик.

<sup>4</sup> Бордюгов Иван Иванович, студент Гл. пед. ин-та, естествовик. Был очень близок с Д-вым.

<sup>5</sup> Александрович Вл., студент Гл. пед. ин-та, историк.



вает... Я, признаюсь, более люблю Паржницкого<sup>1</sup>, которого (позабыл записать) 10-го числа проводил я в Казань. Это — благородный человек, с энергическим постоянным желанием добра и участием к бедным ближним. Даже польские предрассудки его начинают теперь пропадать, когда он нашел любовь и сочувствие между русскими. Он ужасно много потерпел и приобрел энергию и опытность, каких мне, может быть, никогда не удастся приобрести. Страшно подумать, как мало во мне жизни, как мало страсти! Хорошо еще, что попал я на благородные, честные убеждения. Что бы было из меня, если бы я не вышел из-под опеки церковной, державной и др[угих] властей?.. Аккуратный исполнитель чужих приказаний и при случае — подлец, хотя и бессознательный... Отсутствием живого начала в моей натуре объясняю я и то, что разлука с Парж[ницким] произвела на меня очень слабое впечатление, до того слабое, что на другой день я позабыл о ней и не вписал даже ее в свою тетрадь. А между тем мое уважение и любовь к этому человеку совершенно искренни, и был горяч поцелуй наш прощальный, крепко было пожатие рук, как писал я некогда в стихах.

16 [января]. Замечательнейшим событием нынешнего дня б[ыло] то, что я навестил М[ашеньку]. Она была что-то грустна сегодня. Я пробыл у ней часа два. Зашел я к ней от Чум[икова], которому отнес пустую книгу матерей, свою статью, и взял переводить статью из *Pedagogische Revue*. Кажется, в Журнале для Воспитания статья моя не пойдет... Чум[иков] сам ужаснулся несколько, когда я читал ему отрывки. У М[ашеньки] по обыкновению Нат[аша] возилась с Юлией; я дурачился с М[ашенькой]... Странное дело: эти бедные девушки боятся насмешек. Я посмеялся над ними дов[ольно] жестоко, сказавши следующие пошлости: «один господин говорил: кто у меня бывает, тот делает мне честь, а кто не бывает, — тот доставляет удо-

---

<sup>1</sup> Паржницкий Игнатий Иосифович, студент Гл. пед. ин-та. После столкновения с Давыдовым на первом же году пребывания в Гл. пед. ин-те перевелся в мед.-хир. академию. В 1856 г. студенты медицины подали жалобу царю на своего президента В. В. Пеликана, который морил студентов голодом и набивал себе карман. В результате Паржницкий, который был во главе депутации к царю, был сослан в Финляндию, в Тавастгус. После Паржницкий поступил в казанский ун-т, но за участие в студенческих беспорядках был исключен. Жил в Москве, занимаясь переводами медицинских книг. Позже уехал в Берлин. Дальше сведений о нем нет. Паржницкий был деятельным членом кружка и сильно влиял на Д-ва в политическом отношении. — См. „Архив Н. А. Добролюбова“, принадлежащий Пушкинскому Дому. „Временник П. Д.“ 1913 г., стр. 56.

всальствие, а вы можете сказать, что, кто у вас бывает, тот приносит вам удовольствие и пользу». М[ашенька] обиделась, но обиделась так кротко, так задумчиво и серьезно, что мне решительно стало жаль ее... Зато после мы много целовались, и я сам забыл, что, приходя сюда, тоже поступаю в разряд приносящих пользу... Между проч[им] по поводу синего пятна у М[ашеньки] выше колена она мне рассказала вот какой случай: ходили к ней двое молодых людей, по обыкновению скрывая свое имя. Один раз они нечаянно сошлись у ней, и оказалось, что это два брата. Старший воспыал негодованием за безнравственность младшего; младший сам не уступал, и единственным наказанным в деле оказалась М[ашень]ка.

17 [я н в а р я]. У Тат[ариновых] сегодня четвертый урок у меня. Почему-то я недоволен этими уроками... Между мной и девочкой устанавливаются даже какие-то враждебные отношения, как между учителем и учеником. До сих пор этого со мной не бывало. Мне кажется почему-то, что и мной не совсем довольны. Ну, да черт с ними! Буду делать по-своему, не стесняясь, потому что нужды в них никакой не имею. Мне сказали, что Наташа застенчива, и я тогда же был очень неприятно поражен: я не люблю застенчивых учеников, потому что с ними нужно иметь самому много смелости для того, чтобы чего-нибудь добиться. А я не слишком отличаюсь этим качеством. Сегодня сравнил я занятия с Тат[ариновой] и с Кур[акиными]. Узнать нельзя, как будто совсем другой человек. Там все натянуто, последовательно, официально, все, — утомительные даже для меня толки о том, что следует... Здесь живой разговор вообще о литературе, а по поводу ее — и об истории, и о философии, и о жизни, и пользы несравненно больше. Борис дает мне такие вопросы, которые решительно выказывают в нем пробуждение свободной мысли, и мне легко, мне отрадно развивать эти мысли, потому, что я знаю, что они его интересуют. Наташа все молчит и только отвечает на мои вопросы, и то как будто нехотя. Бог ее знает, что нужно, чтобы сколько-нибудь возбудить ее любопытство... Я всегда нахожусь в каком-то неловком положении на этих уроках <sup>1</sup>. А сегодня еще просят, нельзя ли во вторник мне в четыре часа вместо половина шестого приходить. Я сказал, что спрошу,

---

<sup>1</sup> Наташа Татарина, по мужу Островская, в своих воспоминаниях указывает, что ей не понравилась внешность будущего учителя. Об уроках же она отзывается с большим сочувствием. Воспроизводя различные замечания Д-ва по поводу тех или иных литературных явлений, воспоминания дают материал к истории развития литературных взглядов критика.



могут ли переменить Кур[акины] урок в этот день... Но именно только спросил; даже просить их не намерен совсем. Добрым согласием с ними я ни для чего не пожертвую. Эти уроки просто отрада моя. После сегодняшнего урока Борис сказал мне, что М. Орлов приглашает меня к себе. Я зашел в контору От[е]ч[е]ст[в]енных Зап[исок], отдал свою заметку на Боткина<sup>1</sup> (вероятно, Краев[ский] поместит ее), а потом зашел к Орлову. Это — человек очень живой, даже карикатурно-живой; он необыкновенно усердно жмет мне руку, не знает, где посадить, робко спрашивает, не могу ли у него остаться — напиться чаю, и беспрестанно спрашивает моего мнения о разных предметах, выслушивая его с покорной внимательностью. Меня чрезвычайно удивляет такое обращение, имеющее своим основанием, конечно, особенное понятие о хорошем тоне. Но как я человек совсем не хорошего тона, то скоро между нами начинается ровный, искренний, радушный разговор, из которого я вижу, что Орлов имеет очень здравые понятия о вещах. Всматриваясь в его некрасивую физиономию, замечая, что в глазах его светится ум... Все, что можно о нем сказать дурного, это то, что он человек довольно легкий, имеющий множество авторитетов в роде Стасюлевича<sup>2</sup>, Неволлина<sup>3</sup> и т. п. Впрочем, касат[ельно] Стас[юлевича] мне сразу удалось его разуверить. О Кастор[ском] и Сухомл[инове]<sup>4</sup> он и сам знает, что они глупы. Михайлова<sup>5</sup> — терпеть не может. Андреевского хвалит и, кажется, справедливо... О своих учениках Кур[акиных] он тоже хорошего мнения и даже сообщил мне замечание, которое я хотя и сделал во второй же урок, но до сих пор не мог привести в ясность, — именно, что старший, Борис, туго понимает новые для него вещи, но зато потом хорошо их удерживает в голове. Это — противоположность с младшим, который отлично хорошо и скоро понимает, но нуждается в повторении. Во всяком случае, я рад, что имею своим товарищем в этом деле — такого человека, кака Орлов. Надобно еще когда-

---

<sup>1</sup> Заметка не найдена. Очевидно, она не была напечатана ни в „От. Зап.“, ни в других журналах. А. П. Златовратский в своих воспоминаниях о Д-ве писал: „По поводу статьи Боткина о Фете он пишет антикритику, в которой доказывает всю необоснованность и пустословие так называемой „эстетической критики“.“

<sup>2</sup> Стасюлевич Михаил Матвеевич, в описываемое время доцент всеобщей истории, впоследствии издатель журнала „Вестник Европы“.

<sup>3</sup> Неволлин Константин Алексеевич, профессор законоведения в СПб ун-те.

<sup>4</sup> Сухомлинов Михаил Иванович — ад'юнкт-профессор русской словесности в СПб ун-те.

<sup>5</sup> Михайлов Михаил Михайлович, профессор государственного права.

нибудь зайти к нему и убедить, чт[о]б[ы] он читал им историю как можно искреннее, т.-е. сообразнее с своими собств[енными] понятиями. Вечером сегодня перечитывал я письмо Ф. А. В[асилькова]<sup>1</sup>, которое, по его непонятной трусости, написано не совсем определенно, но которое тем не менее очень многое мне об[ъяснило]. Я не должен оставлять этого человека, как он меня не оставлял три года тому назад. Я помню, как умно и искусно говорил он со мной, перед моим отъездом в Петербург, внушая мне любовь к правде, а не к авторитету, но не пугая прямым нападением на то, что я принимал тогда за несомненное... Наши разговоры кончились ничем, но дело было сделано: внутренняя работа пошла во мне живее прежнего. Через год читали мы с ним письмо Бел[инского] и много говорили на эту тему: тогда я (еще ничего не читавший) уверился в естественности христианства, особенно после смерти отца моего. Здесь я пошел еще дальше, и в прошлом году во время каникул вспомнил о Вас[илькове] и послал ему призывное письмо, на которое получил 5—6 благодарных строчек в чужом письме. После того я послал тетрадку с сочинениями Иск[андера], и вот вчера получил ее вместе с письмом от М[итроф.] Е[фим.] Л[ебедева], моего бывшего товарища, приехавшего теперь в Спб. для определения на строрецкий оружейный завод. Это — человек замечательный по своему. Бывало я с Лавр[ским] все смеялся над ним и даже написал две жесточайшие статьи о его стихотворениях, и даже отбил у него охоту к стихам. Мне было тогда 14 л., и на Леб[едеве] сделал я первую пробу моего критического таланта. В прошлом году перечитывал одну из этих статей и удивлялся, сколько уже тогда умел я выказывать здравого смысла, как остроумно умел придирается к каждому слову (что теперь, при большем развитии рассудка, я уже не имею) и как мало имел я поэтического чувства... Стихи Леб[едева], впрочем, и не могли возбуждать его: они были действительно плохи. Но тем не менее — он б[ыл] поэт и, бросив стихи, обратился к рисованию и скульптуре, а тут к естеств[енным] наукам, физике и механике. Предался он этим занятиям со страстью, но, разумеется, самобытного ничего не мог произвести, пот[ому] что мысль его была связана. В 1854 г. летом, бывши в Нижнем, я с ним виделся несколько раз: он тогда только-что кончил курс в семинарии. В акад[емию] его не послали, или он сам не поехал, и я ему предлагал поступить в пед[агогический] институт (я еще тогда

<sup>1</sup> Васильков Флегонт Алексеевич, воспитанник ниж. дух. семинарии. Кончил казанскую дух. академию со званием магистра. Смотритель пещерского училища в Н.-Новгороде.



в состоянии был предложить это); он было согласился, но потом раздумал (и хорошо сделал, разумеется) и остался учителем в нижег[ородском] печер[ском] училище. В прошлом году как-то я получил от него шутовское письмо, в котором он уведомлял меня, что сделал какое-то усовершенствование или изобретение, касающееся ружей, и что князь Голицын, генерал-фельдцейхмейстер <sup>1</sup>, вызывает его в Петербург за эту работу, чтобы определить на оруж[ейный] сестр[орецкий] завод. Меня это удивило несколько... Оно, конечно, ружье — штука не философская, но все-таки изобретение и смирение разума как-то в голове моей не совмещались. Вдруг вчера является ко мне мой Митрофан, и я к удивлению не нахожу в нем ни малейшего сходства с Митрофаном Простаковым — разве в некоторой полноте и округлости форм, впрочем весьма приличной. М[итрофан] не вырос нисколько. Батюшка его был еще толще и меньше, чем сын, и его называли всегда кубышкой. Он недавно умер от удара... Дочь его вышла замуж за моего дядю; след[овательно], мы с Митр[офаном] еще находимся в родстве. Глаза М[итрофана] всегда были ясны и умны, теперь они еще горят чем-то: радость ли это при новости положения или пробуждающаяся мысль, — подумал я. Получасовой разговор показал мне, что влияние Ф[легонта] А[лексеевича] не осталось без толку. М[итрофан] мой не то, что был прежде. Два года тому назад читал я ему стихи «Русскому царю» <sup>2</sup>, и он ужасался, теперь он готов и даже стремится читать все, что только может указать ему истину, и просил меня руководить его чтениями. Увидим.

18 [января]. Вечером сегодня сидел я у Срезн[евского] и сличал свою рукопись... Позвали пить чай. Я выхожу и вижу, что Кат[ерина] Фед[оровна] <sup>3</sup>, заплаканная и расстроенная, сидит у самовара и не сможет слова вымолвить. Я подумал сначала, что она грустит все о предстоящей разлуке с братом, которого, кажется, очень любит. Но оказалось совсем не то. Сквозь слезы она рассказала мне, что Володя ее, зашалившись, сжег книгу, и теперь она не знает, что делать. Книга была взята от Сухомл[инова] — 1. № Б и б л [и о т е к и] д л я Ч т [е н и я] 1857 г. Теперь на-

---

<sup>1</sup> Голицын Николай Сергеевич — ад'юнкт-профессор стратегии и военной истории в Николаевской военной академии.

<sup>2</sup> «Русскому царю» — стихи Н. А. Д-ва, напечатаны были в заграничном журнале кн. Долгорукова «Будущность». Перепечатаны в статье М. Лемке «Н. А. Добролюбов как политический поэт». — См. «Книга и Революция», 1922 г. № 3 (15), стр. 37.

<sup>3</sup> Жена И. И. Срезневского.

добно покупать все издание, — тоскливо выговаривала она... — Я было думала, — продолжала она, — послать в типографию, нельзя ли там достать листов, которые сожжены, или отдельных оттисков этой статьи, чтобы можно было вставить в книгу»... Я ее уверил, что это будет напрасная попытка и что дело можно устроить гораздо проще: «У нас есть студенческий экземпляр Б [и б л и о т е к и] д [л я] Ч т [е н и я], и никто не будет в претензии за обожженные краешки книги. Я вам принесу в обмен этого свой экземпляр». Кат[ерина] Фед[оровна] так обрадовалась, что не смела даже верить своему счастью... «Да как же это, Ник[олай] Ал[ександрович]» — могла только произнести она, смеясь сквозь слезы... После этого она тотчас переменялась, — стала весела и спокойна. Я никогда не ожидал от нее такой мелкой чувствительности и никогда не предполагал, чтобы она до такой степени боялась рассердить Изм[аила] Ив[ановича]. А между тем она ужасно беспокоилась — как-то сказать об этом папаше. Володя стоял в углу до тех пор, пока я не взялся доставить целый экземпляр. Тогда мать его выпустила пить чай и больше о наказании и о вине — не было помина.

19 [я н в а р я]. Толкуя о народных русских песнях и показывая взгляд народа на великого князя Владимира, я сегодня засиделся у Татар[иновых]. Но увлекшись сам, я, кажется, мало увлек свою ученицу, равно как и мать ее, которая сидела тут же. Или Нат[алия] Ал[екс.] очень мертва и флегматична по своей природе, (чего, однакоже, я не думаю), или я сам такой безжизненный человек, что не в состоянии ни в ком пробудить живого чувства. Это, впрочем, опять как-то не совсем может быть ко мне приложено. Личность моя очень симпатична: это я знаю давно. Мои убеждения могут возбуждать людей: в этом недавно убедил меня письмо Вас[илькова], а сегодня новым доказательством послужил разговор с Алекс[андровичем] перед моим отправлением на урок. Лежа в спальне, рассуждали мы с ним о чистом и о диалектическом направлении искусства. Ал[ександрович] стоит за дидактизм, но не умел до сих пор избавиться от мысли, что собственно дидактизм придает мертвенность, вялость и холодность поэтическому произведению. Сознаваясь в этом, но презирая чистое, бесцельное искусство, он не знал, куда ему деваться и на чем остановиться. Я растолковал ему, что дидактизм отвлеченный, головной нужно отличать от дидактизма, перешедшего в жизнь, в натуру поэта, в инстинктивное чувство добра и правды, чувство, придающее жизнь, энергию и поэзию произведению гораздо более, нежели просто какое-нибудь чувство природы или безотчетного наслаждения красотой,



и т. п. Я, конечно, своих мыслей не считаю чем-нибудь новым, важным и т. п. Но Ал[ександрович] был до того поражен глубиной моих взглядов, что тут же попросил позволения написать в своем сочинении мысли, мною высказанные... Это для меня довольно многозначительно...

После всенощной, вечером, долго рассуждал я с Преобр[аженским]<sup>1</sup>. Этот малютка с голубыми, умными и живыми глазенками, с большим носом (вовсе не по росту ему), с тонкими чертами лица и с волосами, вечно стоящими дыбом на голове, несмотря на все усилия гребенки, этот малютка в довершение всех своих достоинств оказывается еще поэтом. Весьма наивно объяснял он мне вчера достоинства своих произведений. Он сообщил мне, что написал когда-то комедию, в которой особенно хорошо была обрисована сваха, и начал шутливую поэму, в которой есть много мест весьма остроумных; «стих у меня, — говорил он, — очень гладок». Все это очень мило слышать от него, и я радуюсь его бесцеремонности, как и вообще мне приятно, что он решительно не признает, напр[имер], разницы между студентом 4-го и 2-го курса. Я часто забавляюсь с ним и иногда ломаю ему руки. Для этого достаточно мне взять его двумя пальцами за руку у самого плеча; он кричит обыкновенно «св...» или «ск...» и останавливается, а потом шопотом договаривает, вопросительно-лукаво поглядывая на меня, когда уже я его оставляю, — «и н с т в о», или «о т и н а»... Вчера он читал мне перевод свой — первой сатиры Горация — гекзаметрами. Стих действительно хорош... Только забавно, что *jactantibus austris* перевел он а в с т р и й с к и м морем. Я ему заметил это, но он нимало не смутился, хотя и понял всю грубость ошибки. Это, значит, парень не робкого десятка... Я толковал ему о необходимости стать в ближайшее соприкосновение с жизнью и обратить свою наблюдательность на жизненные интересы, а не на отвлеченные воззрения и мертвую жизнь природы... Он понял мои убеждения и отчасти согласился. Я дал ему читать «Очерки Гоголевского периода русской литературы».

20 [я н в а р я]. До обедни решившись отправиться к Срезнев[скому], я зашел по дороге к Аверк[иеву]. Он разошелся теперь с Кельс[иевым]<sup>2</sup> и живет с Дементьевым<sup>3</sup>. Ав[еркиев] для меня

<sup>1</sup> Преображенский Николай—студент Гл. пед. ин-та, филолог.

<sup>2</sup> Кельсиев Василий Иванович, впоследствии эмигрант, в Лондоне вместе с Огаревым издавал „Общее Вече“. Вернулся в Россию в 1867 г.— См. его книгу „Пережитое и передуманное“. СПб. 1868.

<sup>3</sup> Дементьев В. А., товарищ писателя И. Т. Кокорева. После смерти К. он выпустил его сочинения в 3 томах.

дов[ольно] загадочен. В первое время знакомства он очень мне нравился по своей живости, подвижности, любви к литературе. Но с течением времени все это потеряло для меня свою цену. Я увидел, что он жив оттого, что по молодости пустоват, подвижен оттого, что ни на чем еще порядком не установился, видит литературу, не углубляясь в смысл ее, а восхищаясь удачными стихами, прекрасными картинами, ловкими фразами. Может быть, все это перемелится, но теперь пока с ним еще трудно провести несколько часов, не соскучившись нестерпимо. Кельсиев, к которому я зашел тотчас же от Аверк[иева), — совсем другое дело. Это человек серьезно мыслящий, с сильной душой, с жаждой деятельности, очень развитый разнообразным чтением и глубоким размышлением... С ним случалось мне просиживать по 5 часов, зашедши на полчаса за каким-нибудь делом... Он не пугается отвлеченных вопросов, но берет их, не разобщая с жизнью. Одно, что мне в нем не нравится, это излишняя прихотливость в отношении к собственной жизни. Может быть, впрочем, что и это в нем есть следствие внутренних сил, которые ищут себе выхода и рвутся в разные стороны. Он учился в коммерч[еском] училище и там развился под влиянием А. Е. Разина. Этот превосходный человек заметил его, и у них до сих пор идет близкое знакомство. Из ком[мерческого] училища К[ельсиев] поступил на службу америк[анской] компании, чтобы ехать в Китай, и сделался вольнослушателем университета. Китайский язык он изучил очень хорошо, так что легко говорит на нем и много читал по-китайски... Но вдруг ему Китай надоел и он прошедшим летом увлекся естеств[енными] науками. Осенью увлечение прошло, и опять началось изучение китайской словесности, но тут В. И. Васильев, профессор китайского языка, испортил дело своей глупостью. Кельс[иев] увидел, что у Вас[ильева] все понятия перевернуты вверх дном, что он решительно окитаился, и ему запала в голову мысль, что китайская жизнь действует вредно... Он стал раздумывать и нашел, что вообще от поездки в Китай он никакой пользы не получит сам и другим не принесет... Китай опять брошен к чорту, тем более, что, расходясь с Вас[ильевым] во всех понятиях, К[ельсиев] потерял надежду получить в универс[итете] степень кандидата,—пот[ому] что Васильев будет препятствовать одобрению диссертации... Сегодня он пристал ко мне с расспросами о слав[янской] филологии, — чему и как нужно учиться: захотел он держать экзамен на старшего учителя рус[ского] языка и быть учителем... Надолго ли это, не знаю... Я говорил потом о нем с Срезневским, и И. И. с своим обычным радушием начал о нем расспрашивать, очень



горячо стал жалеть о том, что человек может погибнуть в бесплодных усилиях, советовал мне удерживать Кельс[иева] в китаизме, а потом перешел к тому, что начал ругать немцев, санскритистов, Беккера<sup>1</sup>, московских профессоров, идущих по пути Грановского, и т. д. Я не рад был, что заговорил: только времени потерял напрасно целый час... Лучше бы сидеть за Амартолом. — Тюрин сделал сегодня остроумное замечание, что Поленов<sup>2</sup> туп... Ср[езневский] отвечал: «да, не очень остер»...

21 [января]. Сегодня мне показалось на уроке у Татар[иновых], что ко мне несколько расположены... Я сам себе дивлюсь иногда, как ловко, смело, но вместе с тем прилично и скромно умею я говорить с девочкой о некоторых предметах. Напр[имер], сегодня в присутствии матери должен я был говорить ей о характере наших народных песен, в которых выражаются разные семейные отношения... Все это представляется там грубо, — нужно было выставить эту грубость, не поражая ушей, и я — сам вижу — сделал это очень искусно... Вообще решившись действовать по-своему, я как-то более в своей тарелке, более развязен и положителен в своих замечаниях и способе занятий, нежели я сам ожидал... Щ[егло]вым тоже довольны, и я этому рад... А признаюсь, я не вдруг-то решился предложить ему эти уроки и даже оттягивал дело, пока сам не увидал девочки и не нашел, что она совершенный ребенок (как выразился Благовещ[енский]). Прежде этого меня удерживало какое-то боязливое чувство, в роде предчувствия ревности...

Заходил ко мне М. Е. Л[ебедев] сегодня; я ему дал разв[итие] рев[олюционных] идей<sup>3</sup> и много толковал с ним. Он действительно развился несколько. Механизм, придуманный им для ружей, служит к ускорению выстрела. Но оказалось, что в военном деле скорость совсем не нужна и даже опасна, пот[ому] ч[то] в таком случае солдат может скоро расстрелять все свои заряды и остаться на бобах... Тем не менее за это изобретение на Митр[офана] обратили внимание и вызвали его сюда.

<sup>1</sup> Беккер — немецкий филолог, его литературными суждениями Д-в пользовался в своей работе о Плавте.

<sup>2</sup> Поленов Дмитрий Васильевич, член-корреспондент Академии Наук.

<sup>3</sup> Сочинение А. Герцена. Точное название: „О развитии революционных идей в России“. Напечатано сначала по-немецки в 1851 г. в „Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben“. 1, 2, 4-ое издание вышли за границей по-французски, 3-е издание по-немецки. Русское издание вышло нелегально, литографированное, датировано оно 1861 г.

Поутру приходил Сид[оров] <sup>1</sup> и просил денег так, как просят своего долга. Я уже привык к его тону, и потому не удивлялся. Но денег у меня не было, и я должен был отказать... Мне жаль этого человека, который губит себя своим нелепым характером. Страшно развитое самолюбие, идеализм в невероятных размерах, пристрастие к фразе и неумение долго остановиться на чем-нибудь — его отличительные качества. Он очень умен, хотя не есть чрезвычайное явление по этой части и до сих пор ничего умного не произвел ни в каком роде. Но воля, решимость, порывистость исполнения — громадны. К постоянной, тихой энергии он не способен, потому что дела себе исполинского ищет и все рвется, чорт знает, куда, — но рвется не как Кельс[иев], не деятельно, а только умозрительно. В своем увлечении он еще имеет привычку не давать другим говорить и страшно деспотически поступать со всем, что противоречит его убеждениям. Мы в инст[итуте] звали его Робеспьером.

22 [января]. Анатолю Куракину — день рождения (12 л.), и потому урока у них нет. Тотчас после лекции отправился я к Срезн[евскому] и принялся за Амарт[ола], но радушный хозяин не мог таки не помешать мне, рассказывая план и содержание своей речи, которую он готовит к акту унив[ерситетскому], и спрашивал моего совета о чем-то. Я ему, разумеется, сказал утвердительно, т.-е. одобряя его предположения. В самом деле — то, что он задумал, — перебрать хронологически все памятники древней рус[ской] письменности до пол[овины] XIII в. и все исследования о них — это дело хорошее. Я не сомневаюсь, что и исполнит он свое дело основательно, хотя конечно выводы его не обойдутся без некоторого количества дичи... Тут же пришел Д. В. Поленов, истинное полено с бакенбартами и с басистым самоуверенным голосом. Занимаясь археологией, он не знает однакоже Упыря Лихого, относя его к XIV в., и удивляется, что Срезнев[ский] находит замечательным пробел 30 л[ет] от 1229 до 1259 в памятниках нашей древней словесности. Из речей его вообще можно заметить, что он довольно глуп. Это — самое лучшее замечание, какое я сделал сегодня.

23 [января]. Из новостей замечательна история, рассказанная мне Ср[езневским] о Шевыреве. Почтенного профессора поколотили. Это было на вечере у Черткова <sup>2</sup>. Шев[ырев] заспорил

<sup>1</sup> Сидоров — студент СПб ун-та.

<sup>2</sup> Инцидент разыгрался во время заседания совета Моск. Худож. Об-ва 14 января 1857 г. в доме А. Д. Черткова. Описание этой истории, как рассказывал ее сам С. П. Шевырев, см. в журн. „Русская Старина“ 1890 г., сентябрь, стр. 627—630.



с Бобр[инским] по поводу Роб[ерта] Пиля<sup>1</sup> и, как профессор эло-квенции, принялся весьма красноречиво ругать Пиля, Англию и запад на счет России. Бобр[инский]<sup>2</sup> англоман и потому разгорячился. Шев[ырев] еще более — и пустил в дело жестикуляцию, наступая на Бобр[инского] с кулаками. Тот оттолкнул его. Шев[ырев] ударил Бобр[инского]... Б[обринский], обиды не стерпев, воспламенился, сшиб с ног Ш[евырева] и начал топтать ногами так, что Ш[евырев] сделался болен от этой битвы во славу русского оружия... Рассказывая сегодня за столом эту историю, я заметил, что защита России Шев[ыревы]м была весьма художественна, потому что идея соответствовала форме и совершенно выражала собою сущность силы и достоинства России в ряду других европ[ейских] государств. Острота эта так мне понравилась, что вечером она опять пришла мне в голову, и я хотел повторить ее, как будто чужую, забывши, что слышал ее от себя же самого.

Вчера рассуждали еще о Гранов[ском], Чичер[ине] и Крылове, московском профессоре. Ср[езневский] рассказывал, как на вечере у Кошелева<sup>3</sup> Крылов<sup>4</sup> ругал статью Григорьева о Гранов[ском], до ужина, — а после ужина начал понемногу нападать на Гран[овского] и смешал его с грязью... Чичерина, по словам Ср[езневского], Крылов тоже в тупик поставил, сначала похваливши его труд и величину книги, а потом бесцеремонно приступивши: «так вы доказываете, что древняя Русь была дрянь, гадость, мерзость, никуда не годилась, да-с? Предки наши просто не люди были, да-с? В самом деле — как только их земля терпела?». И т. д. в этом же роде. Признаюсь, на подобный тон трудно отвечать, — разве по-шевыревски. Но Срезн[евский] тем не менее в восхищении от Крыл[ова], пот[ому] ч[то] не взлюбил за что-то Чичерина. Ни Благ[овещенский], ни Устр[ялов] не б[ыли] на лекциях сегодня, и я отправился с 11 часов к Срезнев[ским]. У него застал арх[имандрита] Макария<sup>5</sup>, который завопил, увидавши меня, и радостно со мною облобызался... Он мало изменился с тех пор, как я знал его в нижегор[одской] семинарии... Тот же живой, беспокойный человек, недалекий умом, но трудолюбивый, науколюбивый, а всего более — самолюбивый. Он всегда немножко казался странным для меня

<sup>1</sup> Известный английский государственный деятель.

<sup>2</sup> Граф Бобринский В. А.

<sup>3</sup> Кошелев Александр Иванович — писатель, общественный деятель, славянофил. В 1856—60 г.г. издавал журнал „Русская Беседа“.

<sup>4</sup> Крылов Никита Иванович — профессор римского права.

<sup>5</sup> Макарий — архимандрит, археолог, историк церкви; профессор ниж. дух. семинарии, преподавал философию, а потом богословие.



с своей певучестью в голосе, размахиванием рук и беспрестанным ерзаньем на месте, где бы он ни сидел... Теперь он занимается исследованием новгор[одских] древностей и сегодня толковал все с Срезн[евским] о каком-то описании соф[ийского] собора, составленном ключарем его Соловьевым. Он все сокрушался, что теперь его собственное описание может потерять цену, хотя оно гораздо подробнее, и потому советовался, нельзя ли как-нибудь задержать и уничтожить описание Соловьева. А между тем два года тому назад, когда я виделся с Мак[арием] в лавре, он сам чуть не со слезами жаловался мне на духовное ведомство, которое не только не делает поощрений, но еще заслоняет дорогу всякому ученому труду, и завидовал нашему положению, при котором никто никому не мешает... Теперь он сам кое-как выбрался и становится в ряды притеснителей... Может быть, впрочем, и справедливо предположение Ср[езневско]го, что Макарий боится издания Соловьева потому, что сам на половину списал его... Ср[езневский] в этом случае был весьма благороден и довольно резко говорил Макарию о всем неприличии его замыслов. Я от него не ожидал такого твердого, благородного тона негодования, с которым он давал щелчки узенькому взглядишку Макария. После его ухода мы принялись толковать с Ср[езневским], и тут уже его взгляд оказался не совсем широким. Я не рад был, что начал разговор: он мне помешал сделать что-нибудь, так что, просидевши у Срезневского пять часов и опоздавши на урок, я собственно наработал столько, сколько можно в час сделать. Речь пошла из-за Осокина<sup>1</sup>. Ср[езневский] думает, что не должно подбирать таких фактов и печатать таких песен, наговоров, преданий и проч., какие попадают у Осокина во множестве. — Почему же? Потому, что наука требует от исследователя правдивости, не нужно приступать к исследованию с заранее составленным убеждением и подбирать факты только для доказательства своих мыслей... Что из того, что мужик поет скверную песню. Нужно ли хвататься за нее, чт[о]б[ы] доказать, что народ наш никуда не годится? Да стоит ли такая песня того, чтобы ее записывать!.. и пр[очее] в этом роде. — Да помилуйте, это же ведь и будет заранее составленное убеждение, ежели я стану выбирать факты только хорошие, а дурные оставлять без внимания. Этнограф должен все брать, что ему попадется под руку, брезговать ничем не должен. Там позднейший исследователь отделит, что составляет сущность, что случайность... И тогда ему пригодятся все эти факты, по ним он судить будет... Да как же можно судить по таким фактам? Разве можно определять человека по

<sup>1</sup> Осокин С. М., вятский этнограф, сотрудник „Современника“ 1856—1857 гг.



прыщу на носу?.. — Ну, а если этих прыщей так много, что они действительно целую физиономию составляют?.. Так зачем же каждый прыщик отдельно рассматривать и кормить этим публику... Ну, и так далее. Между прочим сообщил он мне, что в Геогр[афическое] Общество поступает масса материалов, подобных собранным у Осокина, но Общество всегда отвергает их, как недостойные печати. Я, конечно, сделал умильную рожу при этом.

От Кур[акиных], захавши в институт, потащился я в Нев[скую] лавру увидаться с Феофилом, бывшим ректором ниж[его-родской] семинарии, а теперь посвященным в архиереи, кажется — в Самару. Он попрежнему толст, неповоротлив, гнуслив и добр. Посидел я у него около получаса и все ругал распоряжения ниж[егогородского] архиерея Иеремии, нападая на произвол, на официальную формальность, на пренебрежение к личности и т. п. Он со всем соглашался очень охотно и сам даже бросил несколько слов против дисциплины. Влияния большего, конечно, мои слова не могут иметь, но все-таки, может быть, он и вспомнит их когда-нибудь. Об Иер[емии] он мне рассказал занимательную штуку. Иер[емия] писал сюда к Вяз[емскому]<sup>1</sup> (когда я хлопотал о сестре), что он очень заботится о нашем семействе, и даже положил свои деньги, чт[о]б[ы] воспитывать на проценты с них моего брата в семинарии. Как сирота, брат имеет право воспитываться на казенный счет без всяких денег, и потому я спросил Феофила, с какой стати затеяна была Еремой эта история. Он мне объявил, что уже это третий случай в таком роде и что впрочем деньги никогда не принадлежали собственно Иеремии. Он провозгласил по всей епархии, что собирает пансион на Добр[олюбо]ва, и собрал очень много, — тысяч пять, а положил только тысячу... Остальное у него осталось... Это хорошее благодеяние.

От Феоф[ила] зашел я в духов[ную] академию. Жур[авле]ва<sup>2</sup> не нашел дома, и узнал, что он отправляется скоро в Афины каким-то псаломщиком или что-то в этом роде. Спасского тоже не было сначала, и я несколько минут толковал с каким-то незнакомым студентом, выказывавшим в разговоре какое-то робкое расположение ко мне. Вскоре Спасский пришел и очень обрадовался, увидавши меня: он, кажется, думает обо мне очень высоко, по крайней мере его обращение чуть не подобострастно... Но мое обращение во всех подобных случаях восхищает меня са-

<sup>1</sup> Вяземский Петр Андреевич, князь, тов. министра народного просвещения.

<sup>2</sup> Журавлев И. Г. был воспитанником ниж. дух. семинарии.

мого. Я просто перерождаюсь... Речь моя становится тиха, плавна, несколько сдержанна, тон скромный, ласковый, но полный сознания своего достоинства и даже чуть-чуть покровительственный... Я люблю в этих случаях прислушиваться к собственной речи. Должно быть, я произвожу и на других хорошее впечатление. Не даром же два года тому назад, когда Филонов<sup>1</sup> вздумал, будто я написал пасквиль на богородицу, двое из студентов дух[овной] ак[адемии], выдавшие меня там раза два-три, восстали против этого, уверяя, что такой милый, благородный человек, как Ник[олай] Добр[олюбов], не может быть способен на подобную мерзость. И в самом деле удивительно, что это пришло в голову Ф[илоно]ву! С какой стати стал бы я писать на богородицу пасквили? Что она мне сделала? Разве не имеет ли это отношение к самому Ф[илоно]ву, которого звали у нас китайской богородицей? Да и на него я ничего не писал.

25 [я н в а р я]. Вчера, кажется, ничего замечательного не случилось, кроме разве письма, которое прислал к нам Сидоров. Он весьма резко говорит в нем, что мы на денежные, весьма скудные вспоможения, какие ему давали, не должны смотреть, как на благодеяния, что это была наша обязанность, как благородно развитых людей (что, конечно, справедливо), и что он требует от нас решительного ответа, отказываемся мы от него или нет, прибавляя, что ему непременно нужно в месяц 25 рублей серебром для спокойной жизни... Это все совершенно основательно, и если бы я вздумал оскорбляться подобным письмом, то показал бы, что я стою гораздо ниже его содержания: с такими объяснениями обращаются только к людям, которых высоко уважают и на благородство которых твердо надеются... Но этого-то уважения Сидоров и не показывает в образе своей речи: он говорит о нас, как о людях пустых, мелочных, эгоистических. К таким людям смешно обращаться с просьбами и еще смешнее предъявлять требования о помощи... Человек, отпускающий подобную штуку, становится в положение Чацкого и легко может прослыть сумасшедшим. Сид[оров], впрочем, всегда выказывал наклонность к манере Чацкого — бросать перуны громких слов там, где этого совсем не нужно, и где вместо пользы возгласы его могут только повредить и ему самому да и тому делу, за которое он ратует. Признаюсь, мне самому чтение письма С[идорова] было весьма неприятно. Я сам, гуманнейший и социальнейший из всего нашего кружка, возмутился тоном требования, и у меня в душе заворочались слова:

---

<sup>1</sup> Филонов А-ндр, студент Гл. пед. ин-та, филолог.



деспотический тон, бесстыдство, тунеядство, неблагодарность и т. п. Впечатление было не мгновенно; оно было так сильно, что я решился отдать письмо на общий суд, не выражая никакого мнения от себя. Бор[дюгов], Л[ьвов], Щ[еглов], Бор[заковский]<sup>1</sup> и Ал[ександрович] прочли его, и всем оно не понравилось. Особенно М. Щ[емановский] восстал против тона письма, вызвавшись, впрочем, тут же помогать Сидорову во время его болезни. Ал[ександрович] просто обещал и взглянул на дело гуманнее всех остальных. Вообще — этот человек 'всех более близкий ко мне по характеру, т.-е. очень неглубокий характер, тем не менее чрезвычайно деятелен в своих стремлениях. Он забывает о высших интересах, как и со мной случается, но при первом напоминании вполне предается им и жертвует своими прихотями. Для него вопросы социальные — вопросы внутренние, стремление души его, а никак не внешние, навязанные обстоятельствами увлечения, как у большей части других из нам известных. Только у него натура ужасно слабая и способная к увлечениям, и я боюсь, что, попавши в дурной кружок, он легко распростится с своими святыми убеждениями... Этого бояться даже за себя самого я имею основание; но как же не сознаться, — хотя и себе самому, что во мне (что ни говори Щ[еглов]) внутренних сил гораздо больше, презрение к людским авторитетам и к житейским выгодам гораздо сильнее, и что к высшим вопросам, к последним решениям я подошел гораздо ближе, гораздо смелее взглянул им в лицо, нежели Ал[ександрович]? Меня совратить с моей дороги ужасно трудно, тем более, что я до сих пор не тратил сил своих на серьезную внешнюю борьбу и, в случае нужды, могу явиться смелым и свежим бойцом. Кроме того, у меня есть еще шанс: я уже успел себя очень хорошо поставить между людьми, которых уважение мне дорого. Если я сгину, то они обо мне искренно пожалеют, и перед концом меня не будет мучить мысль, что вот были у меня силы, да не успел я их высказать, и умираю безвестным, без шума и следа... А Ал[ександрович]а даже и эта мысль может удерживать: все будет ему хотеться сделать что-нибудь, и все надежда будет манить его. А известное дело, что ничего нет хуже надежды, если надобно предпринять какое-нибудь решение... Надежда хороша для слабых душ и всегда держит людей в нерешимости. Возвращаясь к Сид[орову], нужно сказать, что мне дорого стоило победить свое желание написать ему оскорбительный ответ. Но я сделал едва ли еще не хуже: я ничего до сих пор не ответил ему. Не знаю, что он думает теперь. В первых числах

---

<sup>1</sup> Борзаковский Влад., историк.

получу деньги и тогда уделю ему частицу. Мне бы хотелось сходить к М[ашеньке], и даже в понедельник и среду был у ней, но не застал оба раза. Юлия хотела меня удержать. Заперла дверь и принялась любезничать, но так как она вовсе не хороша собой, то я без труда явил себя целомудренным Иосифом с этой новой Пентефрихой и бежал от зла, чуть не оставивши своих калош. Зато в прошедшую ночь случилось в моем раздраженном организме весьма неприятное физическое обстоятельство.

Благовещ[енский] узнал о том, что Щ[еглов] поступил к Тат[ариновым], и нисколько за это не в претензии.

Весь день сегодня болела у меня голова, но я перемог себя и отправился на урок к Кур[акиным], а оттуда к Срезн[евскому]. Он собирался уже в ученый комитет, когда я пришел, и потому сегодня я занимался довольно беспрепятственно. Только люди надоели немножко; да это еще беда не великая. Забавно, что они толкуют об Известиях Академии, и очень здравые понятия о них обнаруживают. Сегодня Володя провозглашал, что все будет в Известиях печататься. Чурка (уменьш[ительное] от Вячеслава)<sup>1</sup> на стол локти положил, и это будет в Изв[е ст и я х] печататься; Ник[олай] Ал[ександрович] сидит и пишет, и это будет в Изв[е ст и я х] печататься и пр. Это напомнило мне остроумный вопрос Пыпина<sup>2</sup>: «Скажите, что Тимофей (лакей Ср[езневско]го) ничего не пишет в Изв[е ст и я х]?» На что Черн[ышевский] заметил: «Не пишет собственно потому, что ему некогда: важными делами занят, — тазы чистит»...

Да, — и позабыл было. В понед[ельник], т.-е. 21 числа, Рад[онежский]<sup>3</sup> протурил меня к Черн[ышевскому] за его повестью, которую еще до святок отнес я к Н[иколаю] Г[авриловичу]. Явился я не совсем в пору: в этот день поутру только Ольга Сокр[атовна] родила сына<sup>4</sup>, и Ч[ернышевский] был тревожно настроен. При всем том, рассказывая о родах жены, он прибавил: «Трудно было собственно потому, что велик очень ребенок. Этаким парнище (и он показал — какой) и кричит басом». Я не мог не расхохотаться, а он — ничего... Несмотря на свою озабоченность, он поговорил со мной и даже сказал мне, что у меня, должно быть, есть некоторый поэтич[еский] талант, пот[ому] что он перечитал несколько стихотворений моих, врученных ему от меня вместе с повестью Рад[онежско]го. Повести он

<sup>1</sup> Вячеслав—сын Срезневского Изм. Ив.

<sup>2</sup> Пыпин Александр Николаевич.

<sup>3</sup> Радонежский А-ндр, студент Гл. пед. ин-та, филолог.

<sup>4</sup> Виктора, умершего в раннем детстве.



мне не отыскал, а просил зайти за ней после. В среду я и зашел за ней. О ней он сказал, что она очень бедна и, кажется, ничего в ней нет. Я с этим совершенно согласен, хотя и думаю, что из этого могло бы быть что-нибудь.

25 [января]. Вчера случилось со мной весьма странное обстоятельство. Вечером я решился читать Тургенева и взял первую часть. После Ваньки зажег я свечу и читал одну повесть за другой,—до половины третьего... Мне было ужасно тяжело и больно. Что-то томило и давило меня; сердце ныло, — каждая страница болезненно, грустно, но как-то сладостно-грустно отзывалась в душе... Наконец прочитал я «Три встречи» и с последней страницей закрыл книгу, задул свечу и вдруг — заплакал... Это было необходимо, чтобы облегчить тяжелое впечатление чтения. Я дал волю слезам и плакал довольно долго, безотчетно, от всего сердца, собственно по одному чувству, без всякой примеси какого-нибудь резонерства. Переставши, наконец, плакать, я долго думал, что бы могло вызвать мои слезы, но решительно не мог указать на что-нибудь определенное. Общее впечатление, прибавившееся к моему и без того напряженному, томительному настроению, — вот и все... И между тем в это же время, в минуту самого плача у меня произошла эрекция и, потом истерика... Толкуйте же о платонической любви и о безнравственности телесных влечений... Тут же ровно никаких безнравственных представлений не было. Правда, я вспомнил о М[ашеньке], но с такой любовью, преданностью, участием, что дай бог почаще минуты подобных чувств... И все-таки. Странно в самом деле... Даже мне самому. Ну, зачем написал я эти строки?? Ведь, может быть, их прочтет кто-нибудь и, полный целемудренного идеализма, с отвращением сделает гримасу и пожалеет о человеке, у которого не могло остаться чистым даже одно из святейших, высоких, редкий мгновений, — мгновение сердечного увлечения искусством... Ну, пусть строгие ценители и судьи найдут неприличным мое замечание; физиологический факт все-таки остается. Кстати, — вспомнил я слова Разина, который уверял меня, что стихотворение Лерм[онтова] «Выхожу один я на дорогу» написано в минуты самого гадкого разгула, в одном из мерзких домов (вер[оятно] в .....). Прежде я не хотел верить этому, но теперь я не вижу в этих двух вещах особенной несовместимости.

Сегодня Ванька с утра бесился на что-то, и гнев его пал на Льв[ова] и Ш[емановского], которых он обругал за то, что поздно пришли вчера, и посадил под арест. Кричал он весьма сильно,

и меня это страшно взбесило. Я видел в этом возможность возвращения прежнего деспотизма, от которого Ванька отстал было в последнее время. Я сообщил кое-кому свои замечания и нашел полное сочувствие. Тотчас было написано увещание к Ваньке, очень сердитое. Но Сц[иборский]<sup>1</sup> отсоветовал посылать его, сказавши, что все может теперь обрушиться на Л[ьвова] и Ш[емановского], и советовал лучше обратиться к Вяз[емскому]. Но я заметил, что Вяз[емско]го такими пустяками тревожить пока не следует... Желая дать все-таки щелчок Ваньке, я представил дело на суд самого Л[ьвова] и Ш[емановского]. Л[ьвов], с великим самоотвержением, даже потребовал, чтобы начали историю из-за его дела. Я было согласился, но из дальнейших разговоров увидел, что он находится просто под влиянием оскорбленного самолюбия и плохо понимает те соображения, из-за которых хлопочу я. Миша<sup>2</sup> принял дело вообще не с таким жаром, — мож[ет] б[ыть], потому, что Ванька не так сильно оскорбил его... Во всяком случае, я не хотел оставить дело Ваньки без наказания, тем более, что во многих и очень во многих видел какое-то острое раздражение, возбужденное новым припадком Давыдовского самоуправства... Но, к счастью для Ваньки и, может быть, для меня, он сам одумался и убоился слишком крутого поворота, какой он хотел дать своему поведению в отношении к студентам. В половине третьего он призвал к себе пять человек, составляющих, по его мнению, соль земли институтской (Синев, Зыков, Вегнер, Черняков[ский]<sup>3</sup> и — к общему изумлению и особенно к моему собственному — я). Он красноречиво, важно, долго нам толковал о чувстве долга. И, между прочим, высказал мысль, которая собственно была главной во всем рассуждении. «А вот, — говорит, — теперь поднимается ропот. Виноватые всегда ропщут, как будто с ними несправедливо поступают... А как же иначе быть? Я только докладчик министра; я делаю, что приказано, и должен смотреть за тем, чтобы и другие это делали». Ясно, что он хотел оправдать свое утреннее поведение и позвал меня, между прочим, как человека, более всех способного вывести его на свежую воду и восстановить против него студентов... Затем после обеда он дождался Мишу и с ним долго и кротко беседовал, обещая забыть все, что было, и упрямивая его поберечь себя... Это меня еще более убедило, что

---

<sup>1</sup> Сциборский Борис, друг Д-ва по Гл. пед. ин-ту, по просьбе Чернышевского написал воспоминания о Д-ве.

<sup>2</sup> Шемановский М. И.

<sup>3</sup> Синев Петр — историк, Зыков Николай — филолог, Вегнер Егор — историк, Черняковский Аким — математик.



Ванька струсил... Но, боже мой, какая схоластика, сколько официальной мертвенности, удушливой формальности во всей его логике... Зачем опоздал, должен знать свое время. Виноват не тем, что пять минут или десять просрочил, а тем, что своего долга не исполнил... «Умеренность и аккуратность». И как бы легко было исполнять все подобные приказания и учреждения, если бы человек был машиной... Но произвол наш не может пересилить природы... Вот уже сколько лет разные господа стараются нас сделать машинами, начинивши нас готовыми убеждениями, подчинивши строгой дисциплине, давши однообразные формы в самых разнообразных обстоятельствах жизни. Но человек все рвется наружу из-за автомата, и только порывы, разумеется, выходят неправильными, дикими, страшными... Точно как запруженная река, отыскивающая себе другое русло...

28 [я н в а р я]. Целый день проведя у Ср[езневского], я вчера сделал однако доброе дело... За чаем много говорили мы с ним о моих товарищах студентах, начиная с Бельдинского <sup>1</sup>. Ср[езневский] не любит его, и совершенно справедливо... Это человек с придурью, по удачному выражению Ср[езневского]. Но особенно И[змаил] И[ванович] восстановлен против М[аль]ма <sup>2</sup>, которого считает окончательно мерзавцем, и даже не верит моему замечанию, что в нем много детского... «Нет, — говорит, — вы не знаете, значит, многого... Вы не видите, как он со всеми профессорами поодиночке говорит, как-то систематически, рассчитанно зайскивая в них... И посмотрите, он вдруг как-нибудь выскочит первым... А отчего он у меня на лекциях не бывает?» — Кажется, бывает... «Нет, уж я недели две его не вижу»... — Вероятно, какая-нибудь случайность. «Он здоров и на другие лекции ходит... Я уже думал об этом, чтобы отметить его, что он у меня лекции пропускает»... Это ожесточение Ср[езневско]го для меня собственно довольно забавно. О Я[кове] Мих[айловском] он сказал, что был им поражен накануне... «Я ему сказал, чт[о]б[ы] он взял во внимание путешествия на северо-восток в своем сочинении, — и он теперь подошел ко мне, после лекции, и говорит, что он думал об этом, но это не входит в план его... — Какой же план? — Рассмотреть путешествия собственно... «Да ведь это только форма, — а сущность та же; и там путешествие, только не отдельно, а как часть другого целого»... — Но я хочу говорить т[олько] о древних... — «Да и то древнее»... — Теперь много времени уйдет... «Ну, это другое дело... Так вы как же ограничиваете свой пред-

<sup>1</sup> Бельдинский Петр, филолог.

<sup>2</sup> Мальм Густав, филолог.

мет?»—О русских путешествиях, преимущественно древних.— «Так как же это будет? Вы берете не все путешествия, а только некоторые (пот[ому] что путешествия на северо-восток опускаете) и из этого чего-то—берете еще п р е и м у щ с т в е н н о что-то... Выходит что-то в чем-то»...—Да я буду разбирать только путешествия в святые земли...—«Ну, с богом»... Мне ужасно не понравилась, — говорит Ср[езневский], — эта увертливость, желание выставить себя не в том свете, как есть в самом деле»... Этот случай, в самом деле, хорошо рисует мелочной, пошленький характер Я. Мих[айловско]го. Я заметил Ср[езневско]му, что М[ихайловский] очень много работает, но он уже с недоверием спросил меня: «Т.-е. как же работает?». — Я не знаю этого, но вижу, что он постоянно занят, пишет, и вы видели материалы, какие он заготовил (а у Мих[айловского], действительно, исписано листов 50 разными заметками о путешествиях)...—«Да ведь это материал писца, тут нет живого знания, нет мысли... Выписки и извлечения делать совсем не трудно»... и т. д. Я, разумеется, не противоречил потому, что сам давно убежден был в том же самом, но и не подтверждал, пот[ому] что в этом деле легко мне было увлечься собственным эгоизмом и преувеличить глупость Мих[айловско]го<sup>1</sup>... Поэтому я молчал... Но я сказал несколько добрых слов о Н[иколае] Мих[айловско]м, о Злат[овратском] и Ш[емановско]м. Ср[езневский] мало знает их и мои слова принял с полной доверенностью: надеюсь, что это со временем будет полезно, по кр[айней] мере — М[ихайловско]му, которого характер я довольно подробно об[ъяснил] Срезневскому, разумеется, преувеличивая добрые стороны и едва упоминая о дурных и то для того, чтобы они не поразили неожиданно Срезневского, если ему самому придется их заметить. Впрочем о Злат[овратско]м я тоже говорил много и этого уже просто выхвалял, пот[ому] ч[то] в нем, вероятно, Ср[езневскому] не удастся уже заметить дурных сторон... Таким образом, день мой сегодня не совсем потерял...

Щ[еглов] передал мне сегодня, что Благовещенский виделся с Татар[иновым], и Тат[аринов] сказал ему, что мной очень доволен, и Щ[егловым] тоже доволен, только находит, что он несколько угловат, причем Благовещенский заметил, что он не ручается за Щ[еглова], потому что слышал о нем и хорошее, и дурное также. Это со стороны Н[иколая] М[ихайловича] плохо...

---

<sup>1</sup> Михайловский Яков—писал работу „О древне-русских путешествиях по святым местам“. Работа в отчете ин-та за 1856/7 уч. год включена в список „замечательнейших из сочинений“, поданных студентами.



Щ[еглову] рассказывал это Михалевский<sup>1</sup>. Он же говорил ему, что однажды у Черн[ышевского] Пыпин, на вопрос кого-то о нас двоих, заметил, что из меня, может быть, выйдет что-нибудь, а из Щ[еглова], кажется, ничего не выйдет, пот[ому] ч[то] только и умеет Ваньку Довыдова ругать и это его главное достоинство. Щ[еглов] объясняет это тем, что он выразил уже Пыпину свое пренебрежение; но Благовещенскому он ничем его не выразил и, «вероятно, — говорит он, — Бл[аговещенский] слышал обо мне дурное от Пыпина». Все это, может быть, справедливо<sup>2</sup>... Но все-таки мне ужасно странно, почему Щ[еглов] никому не внушает симпатии к себе и даже, напротив, отталкивает от себя всех, кто и сойдется с ним почему-нибудь?.. Должно быть, это заслуженная плата ему за презрение к человечеству, которое его окружает, и за отсутствие той высшей — отвлеченной, но тем не менее широкой, горячей, сильной любви, которая в великих людях, обращаясь к высоким и святым целям целого человечества, оправдывает и искупает их презрение и ненависть к мелким, ничтожным личностям, встречающимся на их пути и бросающим под ноги их стекла и камни, чтобы затруднить шествие.. Положим, что Щ[еглов] имел бы право презирать всех нас, в институте... Хоть и это несправедливо... но положим... Но Черн[ышевско]го он не может презирать; он должен бы сойтись с ним, должен бы возбудить его сочувствие... А между тем и Ч[ернышевский] говорил мне как-то в половине декабря: «Я не знаю-с, Щ[еглов], может быть, очень хороший человек, приятель ваш, и все... Но мне кажется, что он как будто мало развит... Он похож на бойкого гимназиста и как гимназист он очень замечателен... ведь он совсем не то, что вы... Он как-то довольно узко смотрит... С ним скучно быть»... И ведь в самом деле — три года институтской жизни мало переменили Щ[егло]ва... Он и теперь почти тот же мальчик с претензиями, каким был при поступлении в институт... Он чрезвычайно умен, совершенно честен, — по крайней мере думает, что он всегда честен, а это уже много значит; но вместе с тем он горд и надменен до самообожания. Своей личностью он меряет все на свете... Это, право, жалкое состояние...

29 [января]. Вечер вчерашнего дня был мною проведен в театре. В бенефис Март[ынова] шло «Горе от ума» и, признаюсь, шло довольно плоховато. На сцене только видишь, что это не комедия, а просто-напросто злая сатира. Чацкий вечно не в своей та-

<sup>1</sup> Михалевский Вас. Мих., студент СПб ун-та, приятель Л.-ва.

<sup>2</sup> Зачеркнуто 1 1/2 строчки. Что зачеркнуто, разобрать невозможно.

релке, Фамусов безличен, даже при игре Март[ынова], то он пуст, то остроумен, то ничтожен и мелочен, то весьма проницателен и умен. Роль Софьи самая неестественная, и при всем уменьи Владимировой держать себя она даже в некоторых местах казалась ненатуральной, напр[имер], в мечтательных размышлениях о Молчалине, в последней сцене, где она должна стоять с отцом минут пять, выслушивая восторженные тирады Чацкого. Максимов играл Ч[ацкого] отвратительно... Всех лучше вышел Загорецкий—Каратыгин; мне он очень напомнил Вышин[еградско]го... При всем том я доволен, что видел «Горе», хотя в другой раз уже не пойду смотреть его, разве для того, чтобы любоваться Вл[адими]рой. Она в самом деле поразительно хороша, и ее красота именно в моем роде: я всегда воображал себе такую будущую мою *bien aimée*... Эти тонкие, прозрачные черты лица, эти живые, огненные глаза, роскошные волосы, эта грация во всех движениях и неотразимое обаяние в каждом малейшем изменении физиономии, — все это до сих пор не выходит у меня из памяти. Но впечатление, произведенное на меня Вл[адими]рой, именно подходит к тем, которые Пушкин называет благоговеньем богомольным перед святыней красоты... Смотреть на нее, следить за чудными передвижениями ее лица и игрою глаз есть уже для меня достаточное наслаждение. Совсем другого рода чувства волновали меня, когда танцевала Жебелева с Богдановым мазуречку. Красота Жебелевой тоже в роде Вл[адими]ровой отчасти, но она гораздо чувственнее и менее строга в выражении и позе... Правда, глупо было бы и искать этого в мазуречке. Что это за танец! Наши салонные мазурки и вальсы не могут ни малейшего понятия дать об этом разгуле наслаждения, с которым все чувства впиваются в чудные движения, звуки и позабывают все на свете, смотря на этот возбудительный танец... Вот когда я почувствовал сам слова Разина: «я люблю балет только такой, какого женщинам смотреть нельзя: по крайней мере тут уж гуляй, душа!»... И в самом деле смысл этой мазуречки немножко может скандализировать чистую невинную девочку, особенно заключительная поза, заключающая в себе, впрочем, невыразимое очарование для меня... Нет, — врет Аполлон Григорьев: телесные чувства имеют свою поэзию, да еще какую поэзию! <sup>1</sup>... В заключение шла пьеса

---

<sup>1</sup> Добролюбов выражает свое несогласие со статьей А. Григорьева „О правде и искренности в искусстве“. См. „Русская Беседа“ 1856 г., март. А. Григорьев. Сочинения, т. I. СПб. 1876 г. А. Григорьев доказывал, что художественное созерцание и нравственность неразделимы.



«28 января»<sup>1</sup>, в которой Март[ынов] фамильярничаёт с публикой очень мило, Максимов читает басню «Осел и Соловей» очень плохо, Леонова поёт что-то отвратительно для моего слуха (хотя Рад[онежский] и уверяет, что у неё удивительно сильный голос: да чорт ли в его силе, когда он уши дерет!), и наконец Горбунов<sup>2</sup> рассказывает о том, как артель мужиков рассуждает о царь-пушке и пр. Наконец-то я услышал этого прославленного рассказчика. Он, действительно, подражает мужицкой речи и манерам необыкновенно хорошо, до того, что забываешься, просто чувства обманываются, как будто бы перед вами стоит чревовещатель. Но при всем этом я никак не могу понять, как может человек ограничить этим свою жизнь и ничего лучше не выдумать в несколько лет, прожитых им в Петербурге... Это показывает крайнюю ограниченность ума и совершенную пустоту. Где ни послышишь, — в театре Горбунов рассказывал, на большом вечере где-нибудь Горб[унов] рассказывал, на частном концерте — Горбунов рассказывал, и все одно и то же... Да ведь это наконец ни на что не похоже...

Вечер сегодня провел у Ср[езневского], с которым толковал мало, потому что он отправился в заседание Географического Общества. Зато оставался Тюрин, который, право, кажется, не так глуп, как я сначала думал. Пожалуй, кончится все это тем, что я принужден буду поверить Н[иколаю] Г[авриловичу], который мне говорил еще летом, что Тюрин, кажется, все-таки лучше Срезневского. Только мне ужасно не нравится, что он нередко говорит вещи совершенно невинные — таким тоном, что их<sup>3</sup>...

30 я н в[а р я]. Несколько дней я уже ношусь с Гейне и все восхищаюсь им. Ни один поэт еще никогда не производил на меня такого полного, глубокого, сердечного впечатления. Лермонтова, Кольцова и Некрасова читал я с сочувствием; но это было, во-первых, скорее с о г л а с и е, нежели сочувствие, и, во-вторых, там возбуждались все отрицательные... чувства, желчь разливалась, кровь кипела враждой и злобой, сердце поворачивалось от негодования и тоскливого, бессильного бешенства: таково было общее впечатление. Гейне не то: чтение его как-то расширяет мир души, его песнь отдается в сердце слад-

<sup>1</sup> Комедия Крылова.

<sup>2</sup> Горбунов Иван Федорович — крестьянин-самородок, известный артист, писатель.

<sup>3</sup> Тут в подлиннике вырван лист, составляющий страницы 63 и 64. Запись 30 января печатается по тексту „Современника“.

кой, тихой, задумчивой тоской... У Гейне есть и... страшные, иронически-отчаянные, насмешливо-безотрадные пьесы... Но теперь не эти пьесы особенно поразили меня. Теперь с особенным наслаждением читал и перечитывал я Intermezzo. Верно, и мне пришла серьезно пора жизни — полной, живой, с любовью и отчаянием, со всеми ее радостями и горестями. Сердце мое бьется особенно сильно при мысли об этом; я что-то жду страстно и пламенно и даже нахожу особенное удовольствие в том, чтобы себя экзальтировать.

Сегодня утром я подумал о NN и удивился, что стал так холоден к ней. Вот что значит посмотреть на лучшее, после которого не нравится уже хорошее. «Ни одна не станет в споре красота с тобой» — вот чего бы я хотел для моей bien aimée. Дождусь ли когда-нибудь такого счастья?..

31 января. Впечатления сменяются впечатлениями и зовут меня жить, бороться, наслаждаться...

[За]думался... Мне стало грустно и неловко... Что-то томило меня... Я досадовал на себя за то, что позволил хоть малейшему чувству вкрасться в наши животные отношения с М[ашенькой]. Ведь это все грязно, глупо, жалко, меркантильно, недостойно человека, — думал я... Размышления мои прерваны были перекором двух девушек из-за какого-то платья. Одна из них, которую звали Юлией, плохо говоря по-русски, сквозь слезы жаловалась, что ей давали плохое платье, шерстяное, и что над ней другие подруги смеялись, важничая сами в хороших платьях. Из-за этого она с Сашей поссорилась и отказалась от какого-то платья, а потом одумалась, но уже поздно: платье не было готово, и она принялась горько плакать с досады, выражая очень наивно свои жалобные пени... Старая, известная история, подумал я, и перестал слушать... Наконец мне стало скучно. Я посмотрел вокруг себя и остановил глаза на рояле: он напомнил мне детство, отчий дом, то, как я учился играть на фортепиано, и как плохая игра моя утешала мою бедную мать... Все унес этот проклятый институт с своей наукой бесплодной, все, даже воспоминание детства... И вот где пришлось мне вспомнить о моей матери... Я вышел из комнаты и позвал Сашу... — А[лександра] В[асильевна)], мне ужасно скучно одному. Посидите хоть вы со мной, пока придет М[ашенька]. — Извольте... — Скажите мне, куда ваша М[ашенька] девалась?.. — Моя М[ашенька]! С какой стати она моя?.. Ваша разве? — Ну, моя, пожалуй. Где же она теперь? — Как же могу я это знать? Она мне не сказала, а я в эти дела не мешаюсь. — Да ведь она в дружбе была



с вами. Даже я от нее слышал об вас... — Вот как. Что же она говорила? — Много хорошего, хоть, конечно, ничего особенного, по крайней мере я знал об вас, и тем больше теперь рад, что могу с вами познакомиться... Ведь можно? — Отчего же нет? Я всегда рада добрым знакомым. — Мне это еще больше будет приятно оттого, что я уже привык к этому дому. — Да вы привыкли к этому дому, но не привыкли к этой квартире... — Ах, это ничего не значит. К квартире можно привыкнуть очень скоро. — В самом деле? Вот как! Какие же вы смешные!.. — Так это вам смешно? Вы не понимаете такой скорой привычки? — Нет. — Так вы и ко мне долго не привыкнете? Приятно же будет наше знакомство!.. — Ах, нет, я очень скоро привыкаю к своим знакомым... — Да? Так дайте же мне вашу руку.

Она подала мне руку, я пожал ее, она мою. У ней руки очень белы и мягки, лучше, чем у М[ашеньки]. Она сама на первый взгляд красивее М[ашеньки], у которой было в лице что-то старообразное, так что сначала я дал ей лет 25, и только потом убедился, что ей еще 20 лет... М[ашенька] б[ывала] удивительно хороша в ночном наряде или вовсе без наряда, особенно когда негa сладострастья показывалась на ее обычно-скромном лице.

Саша в другом роде... Хотя она наз[ывается] Ал[ександра] Вас[ильевна], но у нее тоже немецкий тип, отчасти немецк[ий] акцент, в произношении некоторых слов, и она, должно быть, немка. Ее красота принадлежит к разряду аппетитных, и я действительно не мог противиться ее прелестям. Если бы со мной б[ыли] деньги, я бы, мож[ет] б[ыть], теперь же остался у ней. К счастью, судьба меня избавила от искушения. Притом же и Саша была при мне позвана куда-то своей девушкой. — На визит? — спросила она. — Да-с, на визит... — На вчерашний? — Нет, на сегодняшней... А... а если на вчерашний, так нужно одеться почище. — Нет, не извольте беспокоиться, можно и без шнуровки... Там расшнуруют...

Признаюсь, мне было не то, чтобы горько, не то, чтобы отвратительно слушать все это (ведь я все это знал заранее), а все как-то неприятно. Одну минуту я даже хотел бежать и подумал: Чорт с ней... Но в это самое время пришла посланная от М[ашеньки], что она придти не может и просит зайти в другое время, а Саша мне сказала как-то особенно ласково: «Так приходите, пожалуйста, к нам. Когда вы придете?»... Меня это ужасно взволновало, особенно при мысли, что ведь и я тут играю точь-в-точь такую же роль, как Саша, и что уж если имею право претендовать на нее за визит, то она точно так же может

претендовать на меня за М[ашеньку]. Я обещал придти к ней, и вместе с ней сошел с лестницы... На прощаньи мы пожали др[уг] др[угу] руки и поцеловались. Все это было необыкновенно глупо и пошло. Тем не менее я не чувствую ни малейшего следа раскаяния, и даже сочинил потом дорогой стихи:

Я пришел к тебе, пылая страстью,  
Для восторгов, неги и любви.

Это уж из рук вон... А, кажется, моя *bien aimée* глупа. Что за пошлый разговор вели мы с ней!.. Это ведь хоть в гоголевскую повесть. Впрочем, и я то хорош был, выказал таки свой ум...

А через полчаса — передо мной сидела другая девушка Наташа Тат[аринова], 15-летний, наивный, но очень умный и развитой ребенок... Она собиралась в гости в этот день и потому была завита, одета в белое платье; больше я уже ничего не заметил... Она тоже не дурна собой, но в ней какое-то слияние детского, немецкого и провинциального... Ясно, что она еще не знает людей, дичится, и что страсти она еще не ведала. Так все в ней ребячески-спокойно, благонаивно, что, в настоящем моем душевном настроении, — я готов это спокойствие принять за тупость... А она не только не тупа, но даже очень остроумна. Это видно из того, как она пишет... Сегодня мы толковали о Домострое.

Два часа спустя я сидел у Кур[акиных], и в классную комнату вошла мать и сестра Бор[иса]... Я в первый раз увидел его сестру при свете. Как-то раз прежде я ее встретил в классной комнате, но тогда было темно и еще не подано свечей... Теперь я разглядел ее близко и хорошо... Кур[акины] братья тоже красивые мальчики, но сестра — это чудо что такое!.. Ей, должно быть, лет 15 или 17... Она великолепная брюнетка, небольшого роста, с чрезвычайно выразительными чертами лица... Если я ее никогда больше не увижу, я никогда не забуду этого лица... Я был в каком-то диком опьянении восторга после того, как она через три минуты вышла из комнаты. Она не сказала ни одного слова, она посмотрела на меня с видом небрежного покровительства, но я не досадовал на это, потому что она сразу стала в моем сердце выше всякой досады. Впрочем, несмотря на всю силу моего очарования, я довольно спокойно и рассудительно продолжал потом толковать с Борисом о русских героич[еских] песнях и стихов к княжне не написал...

3 ф е в р[а л я]. Пятница, первое число, было довольно бесплодно по впечатлениям. Только поутру объяснение с Сид[оро-



вым] было замечательно. Он пришел ко мне и спрашивал, получил ли я его письмо. Я высказал ему откровенно то, что думал я и что думали другие по поводу его странной выходки. Он, разумеется, оправдывался и, сознаваясь в том, что, может быть, в письме были места необдуманые, упирался однакоже на том, что написал все письмо обдумавши, в спокойном состоянии, говоря, что не хотел обижать нас, признался, что некоторые строки написал именно с намерением задеть меня, и т. п. Впрочем, я уже привык к его эволюциям, и потому не удивлялся им и постарался передать своим его объяснение в лучшем для него виде, не распространяясь о маленьких слабостях, которые я привык прощать ему. Расстались мы друзьями.

Выш[неградски]й в этот день говорил о своем об'явлении Пед[агогического] Вестника и ругал журнал Чумикова, очень простодушно заметив, что ругает его не вследствие *jalousie du métier*, а просто по любви к искусству: Это замечание, конечно, навело на некоторые соображения даже тех, которые без того не подумали бы о *jalousie du métier*. Об'явление о Пед[агогическом] Вестн[ике] напечатано в Спб. Вед[омостях], и в нем пропущена подпись редактора. В[ышнеградский] об'явил, что завтра (т.-е. в субботу) явится это об'явление вновь, с подписью и с извинением в опечатке. Я тут же хотел с кем-то биться об заклад, что завтра оговорка не явится, — и действительно, в суб[боту] не было в газетах об'явления Выш[неградско]го...

Вчерашний день и особенно ночь были любопытны. Решаясь говорить здесь все и отличаться искренностью, я запишу и скандальные происшествия вчерашнего дня. Пусть же те, которых я удостою прочтения этого дневника, знают меня вполне, со всеми моими гадостями. Зато буду по крайней мере оставлять впечатление живого человека, а не олицетворенной<sup>1</sup> . . . . .  
. . . . . вале . . . . . Двери были полуотворены в эту комнату... Возле ее дивана стоял ночник. Я не мог спать и, полежав минут пять, наконец, встал, закутался в одеяло и пошел к Оле... Она спала, но при моем приближении проснулась, вздрогнула и вскрикнула, испугавшись белой тени, которая к ней подходила. Я остановился возле дивана и наклонился к ее изголовью, чтобы рассмотреть ее, пот[ому] ч[то] до сих пор я ее не видал... При свете ночника, при моем романическом расположении и в той возбужда-

<sup>1</sup> Тут в подлиннике вырвано 2 листа тетради, исписанных с обеих сторон, т.-е. 69—70 и 71—72. стр.

ющей обстановке, которая нас окружала, она показалась мне очень хорошенькой. В самом деле, рассмотрев ее утром, я почти не переменял своего мнения. Лицо ее отличается свежестью и мягкостью, в глазах есть какая-то томность, горячая томность; притом она брюнетка, а это для меня много значит... Я начал ее упрашивать итти ко мне... Она прогоняла меня, уверяя, что спать хочет... Я решительно об'явил ей, что спать ей не дам, если она не позволит мне остаться с собой. Она пристально посмотрела на меня, провела рукой по моим волосам, откинулась немножко назад и сказала: «ну, ложись здесь, а я туда не пойду»... Я прилег к ней на диван, который был порядочно узок для двоих. Я был совсем раздет, она тоже; я ее обнял, она не противилась... Но как только я хотел позволить себе нечто большее, — она явилась целомудренной Сусанной и решительно воспротивилась моим покушениям... Минут через пять она, наконец, убежала от меня и вызвала Сашу... Из их разговора слышал я то, что та советовала ей запереть от меня дверь... Но это было не так удобно сделать, потому что я решился уже овладеть неприступной Олей. Я опять пошел к ней и начал ее упрашивать. Она мне сказала, что Саша велела ей взять деньги и тогда, пожалуй, итти ко мне... Это меня взбесило на минуту, и я пошел от Оли с тем, чт[о]б[ы] поднять об'яснение с Сашей... Вышедши в ту комнату, где я спал, и рядом с которой б[ыла] спальня Саши, я услышал, что купчик опять говорил, что ему домой итти надо, а Саша упрашивала его остаться, уж я не знаю, из чистой ли любви к нему, из боязни ли, чт[о]б[ы] я чего-нибудь не наделал ей в сердцах, по его уходе, или, наконец, чт[о]б[ы] отвлечь всякое подозрение, которое могло в нем родиться, — как об'яснила мне потом старуха, хозяйка их... Как бы то ни было, но купец остался. Я не мог остаться на эту ночь без подруги, и потому отнес Оле 3 р. и улегся с ней... Одну минуту хотелось мне поднять гвалт, и поссорить Сашу с ее любовником, но это было только на минуту... Я скоро проникся гуманными побуждениями, в которых, конечно, не малое участие принимает всегда слабость моего характера и холодная кровь, и успокоил себя таким резонерством: что ж, ведь она живет им; она мне сказала о нем заранее; я знал, что она торгует собой, а не увлекается каким-нибудь чувством... Какое же я имею право сердиться и пред'являть свои претензии?.. Не хорошо то, что она, взявши деньги, не хотела передать их Оле, которая бы ее заменила... Но и тут — как же можно быть слишком строгим в таком щекотливом случае?.. Между тем страсть томила меня, несмотря на резонерство; за перегородкой раздавались поцелуи, Оля представлялась мне



очень, очень свеженькой и хорошенькой... Я, как сказано, вынул 3 р. и отдал Оле... Она пришла ко мне, и мы провели ночь вместе... Оля очень еще молода и не истерта, но совершенно холодна, она не принимает никакого участия в страстных восторгах, которым я предавался... Ей очень хотелось спать, правда, но, кажется, и вообще она не слишком горяча... Я целовал ее, целовал ей руки даже, а она все только старалась отделаться, чт[о]б[ы] спать спокойно. Зато поутру, когда я встал, она была очень любезна. Вставши в десять часов, я нашел ее уже одетой, она собиралась куда-то с Юлией. Не торопясь, и я умылся и оделся, ожидая, скоро ли встанет Саша; но мне сказали, что приятель ее, если уж остается, то часу до первого... Так долго я не хотел дожидаться, и ушел, нежно распрощившись с Олей... На крыльце меня остановила хозяйка их — т. н. тетка. Я у ней спросил адрес М[ашеньки] и кофею. Она пригласила меня в прежнюю квартиру М[ашеньки], где теперь живет Юл[ия] и с ней еще какая-то новая девица. Я прошел туда, и скоро разговорился с девушкой, которая, не обладая ни замечательной красотой, ни свежестъю юности, отличается тем, что очень хорошо сложена... На меня, впрочем, это обстоятельство не произвело теперь никакого впечатления: я был удовлетворен событиями прошедшей ночи. Разговорился я с девушкой этой просто от нечего делать, и, к удивлению, нашел, что она очень хорошо говорит, довольно образована и, кажется, знала прежде лучшую жизнь. Она и теперь, впрочем, ждала все к себе какого-то офицера (если только не притворялась)... Она назвалась предо мной Катериной, но тетка потом сказала мне, что это не правда, и проговорила, что ее фамилия Ясунова. Она знает Е[влампия] Леб[едева] и сказала мне, что он ходил одно время к какой-то девочке в . . . . . , а потом, в прошедшем году, помог ей выбраться оттуда. Я спросил, как его зовут и каков он собой. Приметы оказались верны: белокурый, небольшого роста. Но назвался он там, вместе Евлампия, Евгением Алексеевичем... Я его буду тоже звать Евгением.

6 ф[е в р а л я]. В 12-м часу ночи уже выбрался я в воскресенье из дома Никитина, и решился отыскать М[ашень]ку. Кое-как я знал ее адрес, и, наконец, после нескольких расспросов, нашел дом Мих[айлова] на Екате[рингофском] проспекте. Здесь дворник отвел меня к ней... Вход довольно сносно устроен. Из него видна прямо зала, не очень обширная; даже дов[ольно] тесная, занятая с одной стороны огромным роялем, — а направо и налево узенькие, простенькие двери... В одной из них, налево,

я увидел М[ашень]ку. Она вскрикнула и просияла, увидевши меня, и тотчас бросилась мне на шею, а потом побежала в другую комнату и закричала: «Мари!.. вот, смотри, студент, о котором я тебе говорила»... — Так ты обо мне говорила?.. — «Как же, вот спроси ее, сколько мы тебя вспоминали»... Marie — это немецкое, длинное, бесцветное, впрочем свежее, т.-е. довольно полненькое белокурое существо; немка, почти ничего не говорящая по-русски... Мы пробыли в зале минуты две: в ней обычные в таких домах кисейные занавески на окнах, большие зеркала по стенам, мебель в чехлах, рояль, а за ним старик в сюртуке — музыкант... Я было хотел идти в следующую комнату, которая идет назад из залы, но М[ашенька] меня непустила, сказавши, что это нельзя, и утащила в свою спальню. Спальня эта занимает аршина три квадратных; в ней стоит кровать с пологом, напротив ее комод с зеркалом, а между ними окно, и у окна единственный стул... Я сел на этом стуле, а М[ашенька] мне на колени... Началось у нас с нежностей; но мне было как-то тяжело, и я начал выражать, впрочем очень кротко и прилично, свое неудовольствие на то, что М[ашенька] продалась в ..... Она сначала все уверяла меня, что нанялась сюда в ключницы, по 10 р. в месяц; но потом я пристыдил ее во лжи, и она молчала... Я однако все продолжал в том же тоне, и навел на нее тоску... — Помилуй, мой друг, — разве это не все равно: ведь ты ходил ко мне и знал, что на квартире точно так же, как и здесь, ко мне все ходили. — «Нет, не все равно: там, помнишь, когда я к тебе пришел, ты меня приняла, а когда пришел капитан, ты прогнала его от себя... А здесь ты должна идти с тем, с кем мадам прикажет»... Сказавши это, я отвернулся к окну и стал разглядывать занавеску... Вдруг слышу — мне на руку падает горячая слеза, потом другая, третья... Я взглянул М[ашеньке] в лицо — она неподвижно смотрит на дверь и плачет... Этому уж я, конечно, не в состоянии противиться, хотя и знаю очень хорошо, что на эти слезы смотреть нечего, что это так только — одна минута... Я принялся утешать М[ашеньку] словами и поцелуями и, наконец, начал упрашивать, чт[о]б[ы] она не сердилась на меня, на что она отвечала мольбами ходить к ней... «А то я совсем опущусь, — говорила она каким-то сосредоточенно грустным тоном: — пить стану»... Признаюсь, я подумал тогда, и даже теперь верю, что она в эту минуту была искренна. Я утешил ее обещанием прийти в четверг или непременно в воскресенье. И теперь меня тянет идти к ней, хотя телесного возбуждения вовсе нет. А так, как будто что-то на совести.



Оттуда к Ср[езневско]му и за Амартола, оттуда в институт, на другой день лекции, уроки, на третий день (5-го) опять лекции, урок, Амартол... Во вторник пришел ко мне А. И. Глазунов, и мы с ним условились, что я напишу книжку к 15 марта<sup>1</sup>. В задаток получил я 25 р. Постараюсь пробную лекцию читать о том же. Глазунов — человек, должно быть, хороший (говорю это не как Хлестаков) и очень образованный, так, что на редкость между книгопродавцами. Понятия его о русской литературе гораздо живее и яснее, чем—ну хоть, чем у Сте[пана] Сид[оровича], напр[имер].

Сегодня получил я письмо от В. И. Д[обролюбова], который извещает меня, что Е. П. Захарьина, у которой воспитывалась Лиза, младшая сестра моя, умерла, и В. И. взял Лизу с нянькой к себе; не имея состояния, он сам не может содержать ее, и объясняет, что будет брать из доходов по дому... Это немножко меня беспокоит теперь, но, правду сказать, очень мало. Вот слишком уже месяц я пишу свой дневник, и, кажется, ни одного воспоминания, ни одной мысли, ни слова, ни намека не было в нем о моих родственных отношениях... Так я отделился от них... А между тем я не могу сказать, чтобы я не любил их, чтобы моя жизнь в Нижнем не оставила чистых и светлых воспоминаний, чтобы мысль о свидании с сестрами и братьями не шевелила во мне отрадного мечтанья... Но только эти мечты так мимолетны, эти образы так бледны, эти воспоминания как скользят по поверхности души, что тотчас заглушаются текущими и присущими мне явлениями окружающих меня обстоятельств. Ежели я захочу, т.-е. настрою себя искусственно, то у меня окажется самая нежная, теплая душа, самая искренняя, живая, родственная любовь. Но так, естественно, она почти не проявляется во мне. И вот, по-моему, самый яркий укор бессознательности: узы родства служат самым сильным представителем бессознательного влечения человека одного к другому и привычка быть вместе, возрастание в тех же понятиях, знакомство с теми же лицами и предметами в первые годы жизни — все это не приметно, опять бессознательно скрепляет естественное влечение. Чем больше человек предан непосредственной жизни, чем сильнее влечет его натура, тем крепче эти узы... Но раз разорвавшись с непосредственностью и пошедши по пути разума,

---

<sup>1</sup> Статья эта вышла в издании А. И. Глазунова под названием „А. В. Кольцов. Его жизнь и сочинения. С портретом А. В. Кольцова и картинами... М. 1858 г.“. Статья Д-вым не подписана. В изданиях соч. Д-ва она озаглавлена „А. В. Кольцов“. На эту книжку Д-в в „Журн. для Воспит.“, 1859, III, поместил за подписью „Д-в“ свою рецензию.

уже никак нельзя (по крайней мер так со мной) довольствоваться одним этим. Голос крови становится чуть слышен; его заглушают другие, более высокие и общие интересы. Зная близко своих родных со всеми их достоинствами и недостатками, стараешься извинять недостатки и ценить достоинства, — отыскивать всячески и возвышать их, — для того, чт[о]б[ы] поддержать связь, готовую разорваться... Но вот и все. Если умственные и нравственные интересы расходятся, уважение и любовь к родным слабеет и может, наконец, вовсе исчезнуть... В самом деле, умри теперь Чернышевский, я о нем буду жалеть в сто раз больше, чем о своем дядюшке, если бы он умер. Будь я в состоянии спасти одну из утопавших m-lle Kouzakine или m-lle Iwanoff<sup>1</sup> (которую не могу позабыть с самого лета) и рядом с ними хоть мою толстую тетушку, сестру моего отца, — я бы и не подумал броситься за тетушкой, потому что к ней-то уж я совершенно безразличен. Жива она или нет, мне до этого совершенно нет дела... И вот она — опять теория эгоизма: кто меня больше интересуется, с кем мне быть приятнее, того я и люблю больше. Поэтому-то я не понимаю семейного несчастья от неразделенной любви; конечно, оскорбленное самолюбие, досада, сожаление могут здесь выразиться очень ярко, бешено и пр. Но в самом зле, мне кажется, заключается тут и противоядие, и тот, кто не хочет оставить долгое время любви к той, которая его не любит и с которой, следовательно, он уже не может ощущать приятности, как прежде, — такой человек просто находит какое-то наслаждение мучить себя плаксивыми мечтаниями. И это бывает ведь...

8 ф[е в р а л я]. Я решительно втягиваюсь в литературный круг, и, кажется, без большого труда могу теперь осуществить давнишнюю мечту моей жизни, потерявшую уже, впрочем, значительную часть своего обаяния после того, как я посмотрел вблизи на многих из тех господ, которых бывало считал чем-то высшим, потому что сочинения их печатались... Вчерашний вечер, пользуясь тем, что не было урока у Кур[акиных] (Борису 7-го ф[евраля] минуло 16 л.), остался после урока у Татар[иновых] и провел вечер в беседах с М. Н. Островским (братом комика, которого я так обругал некогда<sup>2</sup>, да и вчера только по забывчивости не

<sup>1</sup> Кто такая — установить не удалось.

<sup>2</sup> Если считать установленным, что статья „Бедность — не порок“, помещенная в V книге „Современника“ за 1854 г., принадлежит Д-ву, то он, очевидно, имеет в виду ее.



ругнул, говоря о 2 № С о в р[е м е н н и к а], потому что не знал, что говорю с его братом) и с П. Г. Редкиным<sup>1</sup>. М. Остр[овский] — человек очень неглупый и образованный, понюхавший несколько и германской философии, особенно по части эстетики. Он стоит за чистое искусство, я объявил себя за утилитарное направление, и с этих крайних точек мы начали подступать друг к другу... Видя, что он защищается неглупо, я бросил всякую нетерпимость и начал с ним толковать в таком тоне, как будто его мнение б[ыло] общепринято, а мое — просто мое личное убеждение. Таким образом, он между прочим, ругнул диссертацию Черныш[евского] и назвал ее пошлостью. «Я, — говорит, — спросил Бл[аговещенско]го, который дал мне эту книжку: неужели вы дали ему магистра за это? Бл[аговещенский] отвечал, что... конечно, тут много увлечения, со многим нельзя согласиться, но что все-таки видно знание и ум и пр... Бл[аговещенский] в этих случаях довольно пошловато ведет себя». Когда Остр[овский] говорил это, я почувствовал у себя какое-то особенное движение в глазах. Только это не был огонь или какое-нибудь навастриванье глаз, как иногда бывает, а какое-то неловкое, дикое блужданье, — точно как при допросе, в котором чувствуешь себя не совсем чистым. Не знаю, отчего это произошло... Конечно, и здесь выразилась робость моего характера: мне стало больно, но я не воспламенился негодованием. Я просто начал разбирать отдельные вопросы, которые вошли в диссертацию Черн[ышевского]. «Как же вы хотите определить прекрасное? Неужели божеств[енным] идеалом, который прирожденно живет в душе художника? Чего же лучше, как сказать, что прекрасное есть жизнь, так, как каждый ее понимает; именно каждый предмет несколько прекрасен для человека, насколько он видит в нем жизнь по своим понятиям»... С этим Остр[овский] почти согласился, заметив что есть трупы и другие предметы, не теряющие своей красоты от смерти. А здесь уже вообще действует воспоминание. Это сходится с тем, что все искусство, по мнению Ч[ернышевского], есть напоминание природы и жизни. Остр[овский] восстал против этого с чрезвычайной силой, говоря, что нравятся нам многие произведения, ничего не могущие напоминать. «Я не видал моря и степи, почему же мне нравятся их описания» и т. п. Я упомянул в ответ на это о суррогате действительности и назвал аналогическое воспоминание, сказав, что иногда какой-нибудь простой мотив, тощее деревцо

---

<sup>1</sup> Редкин Петр Григорьевич, профессор моск. ун-та, ректор СПб ун-та, деятельно работал в журнале А. Чумикова, служил в департ. уделов.

на картине, не значащая фраза в повести, плохой в сущности стих переносят нас в другие времена жизни и вызывают в душе целый ряд дум и воспоминаний. И чем более обще это впечатление для всех читателей и ценителей произведения, — значит, тем более общего, человеческого умел уловить художник в своем произведении и тем более возвышается его достоинство... С этим Остр[овский] согласился, заметив, что у Черн[ышевского] не видно такого понимания и что я придал ему свой смысл. Я ответил, что, может быть, и так и что, может быть, поэтому диссертация Черн[ышевского] мне очень нравится и кажется вещью очень замечательною. Кончилось тем, что когда нас позвали пить чай, то, идя к столу с Остр[овским], я читал панегирик Черн[ышевско]му. Он не возражал... Так же мирно покончили мы и с утилитарностью. Я сделал уступку, заметив, что сам всегда встаю против голого дидактизма, как, напр[имер] в стих[ах] Жемчужн[икова]<sup>1</sup> и А. Пл[ещее]ва<sup>2</sup>, недавно печатавшихся в Рус[ском] Вест[нике], а он уступил мне, согласившись, что всякое явление природы и жизни, переходя в искусство, должно непременно, чт[о]б[ы] иметь какое-нибудь достоинство, осветиться сознанием, пониманием автора, должно пройти сквозь его душу не как через дагерротип, а слиться с его внутренней жизнью и явиться в стихе, в звуке, в образе, как результат духовного настроения и сознательного чувства художника... Добившись этого согласия, я заметил: «согласитесь же, что явления окружающей нас живой жизни гораздо скорее могут возбудить в душе нашей горячее, сильное чувство и могут глубже проникнуть, даже должны проникнуть глубже, нежели всякого рода явления неразумной природы или конфетных отношений... След[овательно], если у нас нет еще достойных поэтов в этом роде, нет общественной, живой поэзии и все попытки на нее сбиваются на памфлеты, то нужно жалеть об этом явлении и желать, чтобы поэты наши посвятили себя серьезнее поэзии жизни, а не запрещать им касаться живых современных вопросов, заключая из неудачных попыток, что удачных и быть не может». И с этим Остр[овский] должен б[ыл] согласиться.

За чаем сел я около П. Г. Редкина и завел речь о журнале Чумикова... «А Вышин[еградский] вас с кафедры прокликает», — заметил Татар[инов]. — «Как? Расскажите»... И пошла потеха... Была тут речь и о рецензии акта, и о Ваньке, и о пасквилях, и о

<sup>1</sup> Ал. Мих. Жемчужников, поэт, один из „прутковистов“, принимал участие в „Свистке“ „Современника“.

<sup>2</sup> Ал. Ник. Плещеев, поэт, петрашевец, в описываемое время находился в ссылке.



педагогике Вышин[еградско]го, и о его презренной душенке... Часа два я с желчным наслаждением распространялся о педагогической теории и практике Давыдова и Вышин[еградско]го. Редкин был вне себя от восторга. Вообще в наших понятиях о воспитании и пр. мы с ним сошлись... В разговоре он кажется лучше, нежели в статьях своих... Мне даже нравится его уклончивый тон, за которым как-то скрывается человек себе на уме. Стрижен он как-то странно... Я не знаю, как назвать эту прическу, в которой волосы на голове все совершенно ровны... Это солдатская стрижка, только здесь волосы больше, чем у тех, большею частью чуть не подбритых служивых. Эта стрижка придает несколько звериный вид г. Редкину; но лицо его довольно умно; тон умеренный и уверенный... Стремления благородны... Я ему сказал о своей статье, что передал Чумикому; он обещался пересмотреть ее, заранее согласившись с моей основной мыслью и выразивши мысль, что воспитание именно к тому и должно быть направляемо, чтобы мало-по-малу разрушать авторитеты в душе ребенка... Вообще говоря, я на него произвел хорошее впечатление, и, прощаясь, он усердно просил продолжения моего знакомства. Я был так неловко и неожиданно застигнут этой просьбой, что сказал просто: «я очень рад» и даже не поблагодарил его за внимание и расположение.

Вышин[еградский] сказал нам сегодня на лекции, что все замечания о визант[ийских] училищах и образованности в диссертации Лавр[овского]<sup>1</sup> переведены из Нимейера<sup>2</sup> буквально... Думаю, что он врет, и потому надо справиться.

В университете акт, на котором Срезн[евский] читал речь о палеогр[афических] трудах в России. Зыков находит, что его одушевление и жар, с которыми читал он, совсем нейдут к палеографии, и что жаль, зачем этот живой, даровитый человек погубил себя мертвым буквоедством. Не разделяя исключительности Зыкова, я однако должен согласиться с ним в отношении к Срезн[евско]му.

На акте виделся я с Павловым. Он все тот же мальчишка, хотя лицо его стало строго и мужественно, и когда он серьезно молчит, не лишено некоторой красоты. Он пенял мне, что я совсем разошелся с ним. Я отвечал очень холодно... Он пустился в желчные выходки против существующего порядка, в самом ли-

---

<sup>1</sup> Лавровский Николай Алексеевич. Его магистерская диссертация называлась „О византийском элементе в языке договоров русских с греками“. СПб. 1853.

<sup>2</sup> Niemayer. Überblick der allgemeinen Geschichte der Erziehung nebst einer speziellen pädagogischen Characteristic des XVIII Jahrh. 9-te Ausg. 1835.

беральном тоне... Я отзывался обо всем в тоне самом умеренном... Так мы и разошлись...

Со вчерашнего дня еще почувствовал я болезненное ощущение, которое и приписал истории, разыгравшейся со мною в субботу<sup>1</sup>, и, вследствие этого, тотчас после урока, отправился в Медиц[инскую] академию, чтобы принять своевременно нужные меры. Я пришел в № к Парж[ницкому], но его не застал и отправился к Александру Парж[ницкому] на квартиру, где застал и Поликарпа<sup>2</sup>. Я сообщил им о своем положении, и Ал[ександр] сказал, что теперь еще ничего<sup>3</sup>, это пустяки и, наконец, по моей просьбе, решился отвести меня в акад[емию] к Вещицкому, который в этих делах искусен... Алекс[андр] сам немножко болел тоже и уверяет, что это все вздор...

Они славные люди, эти братья. Ал[ександр] недалек в своих соображениях и вообще очень наивен. Но доброта и готовность служить ближнему у него необыкновенная. Пол[икарп] основательней его, и, хотя столько же может быть добр, но спокойнее брата и менее, чем он, суется... Живут они в чрезвычайной бедности, на которую не худо бы посмотреть Сид[оро]ву. Заговорили мы о стипендии, которую студенты желают получать вместо житья на казенном, — 16 р. в месяц, и Ал[ександр] с Пол[икарпо]м говорят об этих 16 р., как о вожденном капитале, более которого им ничего не нужно... Я заметил, что этого мало, так Пол[икарп] удивился и сказал: «а если на 3 рубля в месяц жить приходится, и то можно»... Я изъявил сомнение... «Да, как же — вот брат так жил... Только и платил, что три рубля за квартиру, а ел казенный хлеб, который мы ему приносили после нашего обеда... Так было больше месяца»... Вот такое положение, признаюсь, возмутительно..

9 ф[е в р а л я]. С каким восхищением Ал[ександр] рассказывал мне, что он теперь отличную штуку выдумал... «Я даю хозяйке 25 к., и она делает мне за это 10—11 котлет, которых стает<sup>4</sup> мне на обед и ужин, и я всегда прячу половину на другой день, так что приходится через день 25 к., в месяц меньше 4-х рублей... Ведь это отлично!». И вот еще возможность жить и даже наслаждаться жизнью, употребляя около 4-х рублей на свой стол... Говорят, что студенты бывали и такие здесь, которые по меся-

<sup>1</sup> Зачеркнута строка.

<sup>2</sup> Александр и Поликарп Паржницкие — братья Игн. Паржницкого.

<sup>3</sup> Зачеркнуто две строки.

<sup>4</sup> В смысле „достаточно“.



цам одним картофелем питались... Вот наш пролетариат... А между тем с казенного содержания, которое гораздо обильнее, готовы бежать многие... Видно, чувство личности и свободы действует сильней грубой животности. О Дубовицком<sup>1</sup>, новом своем президенте, отзываются студенты очень нехорошо. Прежде всего, он фанатик, успевший уже выказать свое нерасположение к лютеранам и католикам; потом он глупый формалист, хлопочет о том, чт[о]б[ы] за каждым столом сидел старший и раздавал кушанье, чт[о]б[ы] в номера студентов не ходили посторонние и пр. Разумеется, этого сделать ему никогда не удастся; но тем не менее направление и степень ума его ясны и, если не это, то сделает он что-нибудь другое в подобном же роде... Напившись чаю, мы отправились в академию, к Вещицкому. Этот поляк очень хороший человек, — чрезвычайно скромный, основательный и добрый, что редко случается все вместе. Он сказал мне, что болезнь моя — совершенный вздор, и даже, как мне показалось, ему смешна была боязнь моя за свое здоровье... Впрочем, он велел мне какую-то примочку взять из аптеки и с корпией прикладывать... В институте это все очень неудобно делать, но я кое-как еще справляюсь. Ранка все остается в одном положении, и далее не распространяется... Вероятно, замечание Вещицкого, что это то же самое, что угорь или прыщик на лице, справедливо.

Вчера же получил я письмо от Катеньки<sup>2</sup>, которой не писал с октября месяца. Я в восторге от ее писем, она очень умна, я это всегда знал, но тут видно, что ее ум формируется... Пишет она славно — лучше всех сестер. Я непременно должен позаботиться особенно об ее будущности. Выдать ее замуж за человека недалекого — опасно. Она имеет живую натуру и в развитии своем, кажется, не остановится... Как жаль, что я совершенно далек от нее... Что могут сделать письма, хоть бы они даже каждую неделю писались? Только надоешь, а все-таки я не знаю ее жизни, обстановки, в которой она живет... След[овательно], как же и действовать на нее? Если бы летом можно было с ней увидеться, — это было бы совсем другое дело!

10 ф[е в р а л я]. Целый день насквозь у Ср[езневско]го... И не жалею об этом... Он меня просто очаровал сегодня своим поэтическим настроением, своим юношеским, чистым влечением к науке... Вообще он как-то в духе был сегодня, — вероятно потому,

<sup>1</sup> Дубовицкий Петр Александрович, профессор академии.

<sup>2</sup> Катенька—сестра Н. А. Д-ва, по мужу Стеклова.

что облегчил свою душу признанием, что он не исключительный, ярый филолог и понимает филологию не как светило наук, не как занятие, необходимое для всех и каждого и само в себе заключающее высшую цель свою, а просто как вспомогательную науку для исторических и даже, пожалуй, психологических разысканий... Это было для меня совершенно неожиданно, и после этого я охотно простил ему даже увлечение трудолюбием Григорьева и требование от всех русских ученых, чтобы они непременно заботились двигать вперед науку... Мы говорили с ним о поэзии, — он много читал и восхищается Гофманом, Ж. П. Рихтером, Мицкевичем... Мало понимает он язвительную насмешку Гейне, брошенную в минуты самого страстного увлечения, но все-таки он чувствует силу его поэзии... Между прочим, он сообщал мне некоторые свои воспоминания из жизни в Харькове и из путешествия своего. И как живы эти воспоминания! Как полно они встают перед ним со всей своей обстановкой, со всеми образами, которые составляли не только группу, но и фон картины... И этот человек восстает против философии, и он не понимает дарования, если оно не погубило нескольких лет над составлением лексикона или разбором пары строк халдейских слов! Это удивляет меня...

И сколько доброты при этом. Сегодня он читал мне письмо от какого-то Карпова, уездного учителя в Могилеве, пропитывающего своими трудами мать и сестру и просящего у него работу. Ср[езневско]му только показалось, что мало скромности у этого господина, и он не знает, что с ним делать, чт[о]б[ы] найти возможность помочь ему и вместе с тем продолжить его собственное развитие, что для него, судя по письму, действительно необходимо... Конечно, он ничего и не сделает для этого бедного Карпова, кроме какого-нибудь ничего не стоящего совета, но все-таки видна добрая душа в этой заботливости, в этой нежности, с которой выражается его, хоть и титулярное участие... Если б у него побольше характера да получше направление, что бы за золотой человек вышел из него, с его умом живым и восприимчивым, с его сердцем юным и поэтическим...

Сегодня весьма ярко выразилась чистота его совести. Ванька прислал ему записку, в которой приглашал его на другой день к себе по одному служебному делу и приписывал: «Предупреждаю вас, что дело неважное и потому беспокоиться нечего. Против зависти, злобы и клеветы нужно вооружаться сознанием своей правоты и верного исполнения долга, по крайнему разумению»... Это мне напомнило явление дурака в какой-то пьесе, который вдруг, запыхавшись, вбегает, как сумасшедший, в ком-



нату и кричит благим матом: «не пугайтесь»... Женщина, которую он хотел таким образом приготовить к какому-то известию, падает, разумеется, в обморок. Приписка Ваньки встревожила, по некоторым соображениям, даже меня, постороннего делу, а Ср[езневский], прочитав записку, только что рассмеялся улыбкой недоумения, пожал плечами, положил бумагу на стол и через четверть часа забыл о ней. Весь день ни разу он не показал ни малейшего признака беспокойства и не дал мне повода думать, что он помнит о зловещем приглашении...

11 ф[е в р а л я]. Оказалось, что Ванька звал Ср[езневского] затем, чтобы показать ему статью, присланную для напечатания в Сев[е р н у ю] Пчелу, в виде критики на Известия. Статья эта составляет выдержку из доноса, посланного Блудову<sup>1</sup> на Ср[езневско]го, как полагают, Дубровским<sup>2</sup> ... Стоило же говорить такие громкие фразы!.. Я сегодня не поехал к Тат[ариновым] на урок, чт[о]б[ы] заняться у Срезневского и кончить на масленице проклятого грешника. Кажется, это мне удастся. Сколько-то получу я за этот мозольный труд... Неужели менее 100 р.?.. Вот будет сюрприз-то!.. Признаюсь, судьба Филонова, получившего за переписку всей рукописи 25 р., и сознание бесцельности и глупости навязываемого мне труда очень беспокоят меня.

12 ф[е в р а л я]. Болезнь моя оказывается вздором, и я бросил примочку, предписанную Вещицким.. Это даже очень кстати теперь, для удержания страстных стремлений, которые вместе с любовью к жизни и поэзии в последнее время очень сильно развились у меня... Ну, собственно говоря, я увлекаюсь более нравственной стороной вопроса, нежели телесной. Саша гораздо более дает для телесного удовлетворения, чем М[ашень]ка, но меня все тянет к М[ашеньке], а не к Саше. Мне даже жаль теперь, что я не видал М[ашеньки], и по своей болезни не могу еще теперь к ней отправиться, пот[ому] ч[то] все-таки хочу беречься, особ[енно] на масленице... Между тем у меня ужасно много стекается занятий. Из трех сочинений, которые я должен представить к концу марта, не написано ни одной строчки... К половине марта надобно написать книжку о Кольцове; к половине

<sup>1</sup> Граф Блудов Дм. Ник., предс. госуд. совета, с 1855 г.—президент Академии Наук.

<sup>2</sup> Дубровский Петр Павл., преподавал в Гл. пед. ин-те польский язык, академик.

февраля кончить статью о *langsamen Köpfen*<sup>1</sup> для Чумикова, пот[ому] ч[то] исправление перевода Васеньки Соб. почти столько же стоит трудов, как и самый перевод; к концу февраля по кр[айней] мере надобно перевести письмо Эрбена<sup>2</sup> о слав[ян-ской] мифологии, которое дал мне Ср[езневский]. Ему прислал это письмо Гильфердинг<sup>3</sup>, именно прося поручить мне, пот[ому] что Ср[езневский] когда-то писал ему обо мне. Это хорошо... С помощью Сциб[орского] надо это дело сделать... А там — на следующей неделе — Крылов, вероятно, пришлет свои статьи: он уж их получил теперь, да только сам хочет прочитать прежде... А тут еще указатель к V тому Изв[е ст и й], который тоже надо сделать в этом месяце. Да пробная лекция по словесности, да лекция Благ[овещенско]му, да занятия для уроков у Тат[ари-новых] и Курак[иных], да Гейне, от которого я не могу оторваться, да переписка, несколько месяцев уже запущенная и пренебреженная, но теперь более, чем когда-нибудь необходимая... Просто ужасно... Неужели я все это сделаю? Ведь еще и Амартол не кончен. И еще работы дня на три... И не бывал я ни у кого очень давно, ни у Галах[овых], ни...<sup>4</sup> ни у Черн[ышевского], ни у Раз[ина]... Чорт знает, что такое.

26 мая<sup>5</sup>. Поэтизируя все на свете, по своему глупому характеру, я вздумал опоэтизировать и свои отношения с М[ашенькой], и дошел до того, что в самом деле привязался к ней и увидел в ней тоже некоторые признаки привязанности. Дошло до того, что я решился с сентября месяца жить вместе с ней, и находил, что это будет превосходно. Я даже сказал ей об этом, и она согласилась с охотой... Это было, чорт знает, какое положение: я не понимал сам себя, хотя рассуждал очень ясно и основательно. Я начинаю понимать сумасшедших, помешавшихся на одном каком-нибудь пункте: вот я теперь, и сочинения написал об Амартоле, и о Плавте<sup>6</sup> и три экзамена сдал, и общества посещал, и с

<sup>1</sup> Вероятно, это статья „Ученики с медленным пониманием“, напечатанная в „Журнале для Воспитания“ 1858, III, отд. I, стр. 313—318. См. соч. Д-ва, том II, стр. 252—281 и 513, изд. „Деятель“.

<sup>2</sup> Эрбен Карл Яромир—филолог, последователь Я. Гримма.

<sup>3</sup> Гильфердинг Александр Федорович—известный славист.

<sup>4</sup> Два-три слова оторвано, текст пришелся на уголке.

<sup>5</sup> С 13 февраля по 26 мая Добролюбов или не вел дневника, или, скорее, тетрадь с этими записями не сохранилась. Листики с записями от 26 мая и от 13 июля не являются органической частью дневника, а вложены в него. На них пометок страниц нет.

<sup>6</sup> Работа называлась: „О Плавте и его значении для исследования римской жизни“. Признана в числе „замочательнейших работ“, поданных студентами в 1856/7 уч. г.



товарищами толкую... никто решительно не замечает, что я сумасшедший, потому что о пункте моего помешательства я ни с кем не говорю ни слова... До сих пор ни один человек не узнал моей тайны, и только я сам могу любоваться картиной своей глупости... Я не знаю, как назвать мое чувство к М[ашеньке]. Если бы я любил громкие фразы и хотел обманывать себя, то, конечно, провозгласил бы, что я влюблен; но по совести — это, кажется, вздор, если только вообще любовь не составляет такого же вздора. Но нет, другие чувства у меня были и к Дуничке Ул[ыбышевой]<sup>1</sup>, и к Верочке Пет[...], и к Феничке Щ[епотьевой]. Правда, я молод, молод был тогда: я думаю, мне было всего лет 10 или 12—13... А теперь положение совершенно особенное. В четверг я зашел к М[ашеньке], разумеется, с известной целью... Между прочим, показал я ей свой портрет, который я только-что взял у Блимера и нес с собой. Она начала меня спрашивать, чт[о]б[ы] я ей подарил его... Я сказал, что не могу, потому что отсылаю его к сестре. Она схватила портрет и спрятала к себе... Я не препятствовал, но повторил, что не отдам его ей. Она снова начала спрашивать, ласкала, целовала, плакала, наконец, рассердилась и сказала, что не отдаст мне портрета. Я хладнокровно и резко заметил, что намерен непременно получить его и без него не выйду из комнаты. Тогда М[ашенька] вынула портрет, швырнула его мне и села к окну... Я посмотрел на портрет, уложил его, завязал снова в бумагу, которой он б[ыл] обернут, потом подошел к М[ашеньке] с улыбкой примирения и говорю ей: «ну, М[ашенька], так ссориться хочешь»... — «Да отстаньте, пожалуйста», — слышу в ответ и вижу, что М[ашенька] сердится не на шутку... Я сделал еще попытку помириться и вынудил ее сказать наконец: «я помирюсь, когда ты мне другой принесешь портрет». Это была уже большая уступка в ее сторону, потому что я сам предложил ей, что если ей хочется, то для нее я сделаю другой портрет. Но тут я сам уже был сердит и ушел, не сказавши ничего положительного. Но этот вечер и следующий день я не мог забыть о М[ашеньке], и вчера поутру, наконец, послал ей записку, в которой говорю, что если она хоть немножко ко мне привязана, то не станет ссориться из-за глупости и ответит на мою записку, а я с радостью готов ей подарить мой портрет. Если же не ответит, то знакомство наше прекратится. В письмо вложил я и конверт, на котором сам написал мой адрес... Начиная со вчерашнего вечера, я все ждал

---

<sup>1</sup> Дуничка Улыбышева — внебрачная дочь генерала Улыбышева. См. воспоминания Авт. Ал. Костровой и „Материалы“, стр. 285, 290. 306.

ответа, но его до сих пор нет. Неужели она не ответит? Мне это ужасно неприятно, тем более, что я был почти уверен в ее искренности.. В доказательство этого я еще в пятницу отправился к Штремеру и снял другой портрет; к сожалению, он скверно вышел, и надо завтра снова снять; а то бы я, кажется, еще вчера, не дожидаясь ответа, отправился бы сам к М[ашеньке] и помирился... Чорт знает, какие обстоятельства могут заставить ее не ответить: и ложный стыд, и надежда, не приду ли я сам, и обиженное самолюбие, и легкомыслие, и, наконец, неумение написать что-нибудь в ответ на мои слова... Это ведь я такой борзописец, что марасть бумагу для меня самое легкое и приятное дело; а она, может быть, плачет теперь, но никак не может придумать, что бы мне написать. Она же мне все говорит, что я такой насмешник, и что ей совестно иногда даже говорить со мной, — чтобы я не стал смеяться... Чорт знает, скверное мое положение. Но лучше, кажется, порешить разом и с самого начала, чем вести дело далеко... Ежели она любит, ежели ей жалко меня, то, несмотря ни на что, она напишет; если же нет, то навязываться нечего. Она так умна, что тотчас поймет мою слабость, и тогда мне будет плохо жить с ней... А я еще не оставляю все-таки этого намерения, и если получу от нее ответ, непременно его исполню...

13 июля. Чтобы не упустить из вида этой замечательной истории, припомню ее теперь... Волнение мое продержалось несколько дней. Однажды мне сказали, что ко мне есть письмо по городской почте: я изменился в лице (что со мной чрезвычайно редко бывает), побледнел, потом покраснел и побежал получать его. Но письмо оказалось от Чумикова. Неделю ждал я. Наконец, рассудку вопреки, отправился сам, под тем предлогом, что мне нужно взять книги, оставшиеся у М[ашеньки]. Являюсь на квартиру Битнер, где она жила, звоню — нет ответа... еще и еще... и еще раз... Никого... Чорт знает, что такое, — подумал я, — и пошел кругом переулками, мимо вознесенской церкви, потом опять вошел на крыльцо дома Михайлова. В прогулке моей прошло около четверти часа. Но и теперь повторилась та же история... Потеряв терпение, я вошел наверх и позвонил у хозяйки. Она вышла ко мне и сказала, что М[ашенька] ушла от них в то самое время, как я писал к ней записку, — в субботу. След[овательно], записка не дошла, — подумал я, и решил отыскивать М[ашеньку]. Мадам Битнер дала мне адрес, написанный рукою М[ашеньки] очень грамотно. На обороте его было написано: «Милый Вася! приходи ко мне, — мне очень нужно пого-



ворить с тобой... Жду тебя с нетерпением»... Это меня покорило немножко. Но все-таки я отправился. Оказалось, что М[ашенка] поступила в . . . . . , известный у нас под именем деревянного. Встретила она меня очень холодно и сердито, но сквозь ее досаду так сильно проглядывала внутренняя тоска, глаза были так заплаканы, в голосе слышалось столько смущения и сожаления, что я решился во что бы то ни стало помириться с ней и спасти ее, если возможно. Я стал теперь укорять ее за переход в . . . . . , и притом такой отчаянный. Она, уже с примесью горького ожесточения, после которого женщина обыкновенно совсем опускается и забывает себя, сказала мне, после незначительных нескольких оговорок: «да, вот теперь из-за 25 целковых в . . . . . должна жить»... — Как так? «Так»... И оказалось, что она должна была хозяйке, что хозяйка решила свою квартиру тоже оставить и требовала с нее денег, взять ей было негде, и она должна была идти к мадам Бреварт.

---

## ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА

1859 г.

5 июня. Сегодня, в три часа утра, Н[екрасов], воротясь из клуба, сообщил мне, что И[сканде]р в К о л[о к о л]е напечатал статью против С о в р[е м е н н и]ка за то, что в нем предается поруганию священное имя гласности. В статье есть будто бы намек на то, что С о в р[е м е н н и]к подкуплен триумвирным бюро<sup>1</sup>. Если это правда, то Герцен человек вовсе не серьезный; так легкомысленно судить о людях в печати — ужасно дико. Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Н[екрасо]ву только так показалось и что в сущности намека этого нет.

Нужно поскорее достать К[о л о к о л] и прочесть статью, а затем решиться, что делать. Во всяком случае надо писать к Г[ерцену] письмо с объяснением дела. Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне все было как-то неловко: как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает, как туда попавшие... Однако, хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чужали призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности.. Я лично не очень убит неблагоприятием Г[ерцена], с которым могу померяться, если на то пойдет, но Н[екрасов] обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Г[ерцена] для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро оскорбляет его, т[ак] ч[то] он чуть не решается уехать

---

<sup>1</sup> Имеется в виду „Bureau de la presse“. Это бюро Герцен иронически характеризует: „Табель о рангах прежде всего! Начнем нашу хронику с министров, генерал-адъютантов, жандармов... и, во-первых, с революционно-цензурного триумвирата: Адлерберга-сына, Тимашева-сваяка и Муханова обер-фон-шнейдера“ (старое придворное звание). (Соч. Герцена, IX, 563).



в Лондон для объяснений, говоря, что такое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то необходимо, чтобы Г[ерцен] печатно же от него отказался и взял назад свои слова. Но мне все кажется, что вся эта история — чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение.

Сказал сегодня И[вану] М[аксимови]чу<sup>1</sup> об этой истории: смеется и отзывается не уважительно о всем К[олоко]ле, попрекая им Г[ерце]на. Уверяет, что молодые люди понимают тенденции С[овременни]ка и им сочувствуют. Я сам также думаю, да только много ли проку-то от этого?

От С. Н. Ф[едорова]<sup>2</sup> получил письмо с водянистыми выражениями сочувствия да от Борд[югова] довольно горячее письмо, вот и все. А здесь настоящее сочувствие только и нашел я в Ч[ернышевском], О[бручеве] да С[ераковском]. Есть, правда, еще Н[овицкий], Ст[аневич], Д[обровольский]<sup>3</sup>, — да кто их знает, что они за люди. Во всяком случае, мало нас: если 1 семеро, — то составляет одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что нас скоро прибудет...



<sup>1</sup> Сорокин И. М. — доктор, хороший знакомый Добролюбова и Чернышевского.

<sup>2</sup> Федоров С. Н. — сотрудник „Современника“, в своем письме из Оренбурга писал о том, как Д-в „расшевелил взрослых младенцев, спавших доселе сном праведников“ своими „Мелочами литературы“.

<sup>3</sup> Обручев Вл. Ал. — поручик в отставке. Был близок к Чернышевскому. Член тайного об-ва „Великорусс“, работал в „Современнике“, был арестован и в 1862 г. отправлен на каторгу. Возможно, что Д-в разумеет Обручева Н. Н., полковника ген. штаба, также члена „Великорусса“, позже организатора тайного об-ва „Земля и Воля“. С этим Обручевым Д-в во время заграничной поездки встречался в Париже.

Сераковский Сиг. Игн., деятель польского революционного движения. Станевич, Новицкий, Добровольский Вл. Мих. — офицеры ген. штаба.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Август, немецкий принц — 106.  
 Авдеев, М. В., романист — 49.  
 Авенариус, Н., студент Педагогического института — 137—138.  
 Аверкиев, Д. В., писатель — 122—123, 154—155.  
 Авксентий Васильевич. пономарь — 41.  
 Адлерберг, А. В., член «Комитета по делам книгопечатания» — 191.  
 Адлерберг, В. Ф., министр двора — 116.  
 Аксаков, К. С., публицист-славянофил — 126.  
 Александр II, император — 87—89, 92, 95, 106, 130, 134.  
 Александрович, В., студент Педагогического института — 147, 153—154, 162.  
 Амартол, Георгий, византийский писатель — 122, 124, 126, 145, 156—157, 178, 187.  
 Андреевский, И. Е., профессор-юрист — 127, 130, 150.  
 Аничков, Е. В., историк литературы — 7, 18, 84, 140.  
 Антоний, помощник инспектора нижегородской семинарии — 28, 37.  
 Аполлоний, ректор нижегородской семинарии — 26, 28—29.  
 Артемовский-Гулак, П. П., ректор харьковского университета — 90.  
 Арцыбушев, чиновник — 117—118.  
 Афанасий, архиерей саратовский — 26.

### Б.

Балакирев, придворный шут — 67.  
 Баратынский, Е. А., поэт — 65, 79.  
 Барсуков, Н. П., историк — 123.  
 Бауэр, Бруно, немецк. мыслитель — 7.

Бекетов, В. Н., цензор — 143—144.  
 Беккер, немецк. филолог — 156.  
 Белинский, В. Г., критик — 6, 15, 61, 127, 143, 151.  
 Бельдинский, студент Педагогическ. института — 166.  
 Бельчиков, Н. Ф., историк литературы — 20.  
 Белявский, А., студент Педагогич. института — 119—120.  
 Бентенсон, знакомый Галахова — 114, 117.  
 Берт, Карл, владелец завода — 85.  
 Бетлинг, О. Г., академик-санскритолог — 128.  
 Бирюков, П. И., биограф Л. Толстого — 103.  
 Битнер, мадам — 189.  
 Благовещенский, Н. М., филолог, профессор Педагогич. института — 136, 146, 156, 158, 163, 167—168, 180, 187.  
 Благообразов, М. И., двоюродный брат Н. А. Добролюбова — 37, 41—42.  
 Благообразова, Ф. В., тетка Н. А. Добролюбова — 10, 36, 41.  
 Блиссер, фотограф — 188.  
 Блудов, Д. Н., председ. госуд. совета — 186.  
 Бобринский, В. А., граф — 158.  
 Богданов, балетный артист — 169.  
 Бордюгов, И. И., студент Педагогич. института — 147, 162, 192.  
 Борзаковский, В. С., студент Педагогич. института — 162.  
 Боткин, В. П., писатель — 145, 150.  
 Бреварт, мадам — 190.  
 Будеус, воспитатель у Куракиных — 115.  
 Булгарин, Ф. В., писатель — 81—83.  
 Бурдин, Ф. А., артист — 121.



Буслаев, Ф. И., профессор русской словесности—122.

## В.

В., А. А., священник—41.

В., Н. А., студент—35.

В., Э. А., священник—42.

Василий, «святой»—42.

Василий Великий, духовный писатель—42.

Васильков, Ф. А., б. нижегородский семинарист—151—153.

Васильев, В. И., профессор-синолог—155.

Вегнер, Е., студент Педагогич. института—120, 165.

Венгеров, С. А., историк литературы—5, 18—19.

Веневитинов, Д. В., поэт—131.

Вержес, франц. священник—129.

Веселовский, И. А., нижегородский семинарист—41.

Вещицкий, врач—183—184, 186.

Витт, А. Н., литератор—141.

Вишневский, польский историк—122.

Владимир, князь киевский—153.

Владимилова, Е. В., артистка—121, 169.

Волков, Ю. А., литератор—142.

Волконский, князь, чиновник уделн. ведомства—99.

Востоков, А. Е., преподаватель нижегор. семинарии—39—41, 55.

Вышнеградский, И. А., профессор механики, впоследствии министр финансов—93.

Вышнеградский, Н. А., педагог, профессор Педагогическ. института—93—94, 102, 130, 140—141, 143, 169, 174, 181—182.

Вяземский, П. А., тов. мин. народ. просвещения—160, 165.

## Г.

Галахов, студент Педагогич. института—139, 143.

Галахов, Алексей, ученик Н. А. Добролюбова—114, 115, 132—133.

Галахов, А. П., петерб. обер-полицеймейстер—97—100, 103.

Галахов, И. П., представитель известного кружка «людей 40-х г.г.»—131.

Галахов, С. П., чиновник особых поручений при почтовом департаменте—14, 79, 97, 113—118, 130—132, 134.

Галахова, Н. А., жена С. П. Галахова—115, 118, 130—132, 134.

Галаховы—113—117, 119, 130, 187.

Гвоздев, А. А., директор департамента—117.

Гейне, Генрих, немецк. поэт—170—171, 185, 187.

Герман—94.

Hermaus R., немецк. педагог—145.

Герцен, А. И., («Искандер»), писатель-революционер, эмигрант—6, 8, 15, 58, 84, 88—89, 103—105, 131, 141, 143, 145—146, 151, 156, 191—192.

Гете, Иоганн-Вольфганг, немецк. поэт—65.

Гильфердинг, А. Ф., славист—187.

Глазунов, А. И., издатель—178.

Глотов, управляющий удельными имениями—99.

Гоголь, Н. В., писатель—80, 121, 138.

Голицын, Н. С., профессор стратегии—152.

Голицын, С. М., князь, попечитель моск. учебного округа—104.

Головин, И. Г., писатель-эмигрант—105—106.

Гораций, римский поэт—154.

Горбунов, И. Ф., артист-писатель—170.

Городков, -служащий нижегородской консистории—66.

Горчаков, А. М., госуд. канцлер, министр иностр. дел—117.

Гофман, Теодор-Амедей, немецк. писатель—185.

Грановский, Т. Н., профессор-историк—15, 89, 123, 156, 158.

Грацианов, И. А., нижегородский священник—28.

Грацианский, И. Ф., директор пермской гимназии—109.

Грацианский, М. Ф., воспитанник рязанской семинарии—109.

Гр-в, А. М., студент Педагогич. института—80.

Греч, сын Н. И. Греча—81.

Греч, Н. И., писатель—81—84, 95.

Грибоедов, А. С., драматург—61.  
Григорович, Д. В., писатель—87.  
Григорьев, А. А., критик—122—123, 169.  
Григорьев, В. В., профессор-ориенталист—123, 158, 185.  
Гримм, Яков, немецк. филолог—187.  
Гринвальд, Т. К.—16.  
Грузинский, князь—63.  
Гумилевский, Филарет, иеромонах, духовный писатель—122.

## Д.

Давыдов, И. И., («Ванька»), директор Главного педагогич. института—81, 89, 104, 111—112, 116, 119—120, 123, 128, 146, 148, 164—166, 168, 181—182, 185—186.  
Давыдов, Сергей, сын И. И. Давыдова—104.  
Даль, В. И., писатель—128.  
Данилевский Г. П., писатель—89, 141.  
Дарленкур—101.  
Дельвиг, А. А., писатель—65.  
Дементьев, В. А., писатель—154.  
Демидов Сан-Донато, А. Н., князь—136.  
Державин, Г. Р., поэт—141.  
Диэгриньи, аббат—88.  
Диккенс, Чарльз, англ. писатель—36.  
Добровольский, В. М., офицер генер. штаба—192.  
Добролюбов, В. И., дядя Н. А. Добролюбова—34, 42, 178.  
Добролюбов, Володя, брат Н. А. Добролюбова—37.  
Добролюбова, Е. А., сестра Н. А. Добролюбова—184.  
Добролюбова, Лиза, сестра Н. А. Добролюбова—178.  
Добротворский, П. М., окончивший нижегородскую семинарию—63.  
Добротворский, С. А., смотритель духовного училища—35, 40, 43.  
Долгоруков, П. В., князь, эмигрант—152.  
Достоевский, Ф. М., писатель—61, 87.  
Дубельт, Л. В., шеф жандармов—103.

Дубовицкий, П. А., президент медико-хирургическ. академии—184.  
Дубровский, П. П., преподаватель Педагогич. института—186.  
Дудышкин, С. С., критик—79.

## Е.

Елизавета Петровна, императрица—106.

## Ж.

Ж., знакомый Н. Д. Добролюбова—85.  
Жебелева, балетная артистка—169.  
Жемчужников, А. М., поэт—181.  
Журавлев, И. Г., студент дух. академии—44, 160.

## З.

Забелин, И. Е., историк—15.  
Захарьева, Е. П., знакомая семьи Добролюбовых—34—35, 178.  
Зданевич, студент Педагогич. института—116.  
Жезелинский (?), начальник канцелярии совета министров—106.  
Зенон, философ-стоик—19, 132.  
Златовратский, А. П., студент Педагогич. института—120, 150, 167.  
Зотов, В. Р., писатель—87.  
Зыков, Н., студент Педагогич. института—165, 182.

## И.

Иаков, нижегородский, архиерей—23.  
Иванов, С., писатель-экономист—126—127.  
Иванова—179.  
Игнатьев, П. Н., петербургский генерал-губернатор—92.  
Иеремия, нижегородский архиерей—17, 21, 23, 28, 38, 66, 160.  
Ильин, эконом Педагогич. института—116.  
Иоанн, ректор петерб. духовной семинарии—26.  
Иоанн Грозный, царь—130.

## К.

К., профессор—90.  
Кавелин, К. Д., профессор, историк рус. права и публицист—138.  
Казнаков, генерал—117.



- Карамзин, Н. М., писатель—35, 130.  
 Каратыгин, П. А., артист—169.  
 Карпов, учитель в Могилеве—185.  
 Касторский, М. И., профессор-историк—116, 150.  
 Катаев, издатель—77.  
 Катакази, Лев, знакомый Галаховых—117.  
 Катон—132.  
 Каченовский, Д. И., харьковский профессор—90.  
 Квинтилиан, римский писатель—67.  
 Кельсиев, В. И., участник движения 60-х гг. — 154—157.  
 Кипиани, студент — 144.  
 Киселев, П. Д., посол в Париже — 97, 107.  
 Ключников, И. П., поэт — 89.  
 Княжевич, А. М., дир. департам. госуд. казначейства — 116.  
 Княжнин, В., историк литературы — 19, 123, 138.  
 Кокорев, И. Т., писатель — 154.  
 Колоколов, А., студент Педагогич. института — 137.  
 Колосовская, В. В., тетка Н. А. Добролюбова — 43.  
 Колосовский, Л. И., священник, дядя Н. А. Добролюбова — 73.  
 Кольцов, А. В., поэт — 65, 170, 178, 186.  
 Комовский, В. Д., директор канцелярии мин. нар. просвещ. — 94.  
 Конопасевич, И., студент Педагогич. института — 137.  
 Кони, Ф. А., водевилист — 87.  
 Константин Николаевич, вел. кн.—101.  
 Константин Павлович, вел. кн. — 84.  
 Корелкин, б. студент Педагогич. института — 116.  
 Корнилов, губернатор — 105.  
 Корпус, фабрикант — 110—111.  
 Корф, генерал-инспектор артиллерии — 92.  
 Костров, И. А. — 38.  
 Костров, М. А., студент московской дух. академии — 38.  
 Кострова, А. А., сестра Н. А. Добролюбова — 188.  
 Костырь, Н. Т., харьковский профессор — 90.  
 Кошелев, А. И., писатель-славянофил — 158.  
 Краевский, А. А., издатель — 127, 145, 150.  
 Крешев, И. П., поэт — 141.  
 Крылов, А. А., преподаватель нижегородской семинарии — 43.  
 Крылов, А. Т., издатель — 140—143, 187.  
 Крылов, В. А., нижегородский священник — 24, 26.  
 Крылов, И. А., баснописец — 170.  
 Крылов, Н. И., московский профессор-юрист — 158.  
 Крюгер, живописец — 106.  
 Куликов, Н. И., драматург и режиссер — 82.  
 Куракин, А. Б., князь — 113.  
 Куракин, Анатолий, ученик Н. А. Добролюбова — 113, 123, 157.  
 Куракин, Борис, ученик Н. А. Добролюбова — 113, 125, 132, 135, 149—150, 173, 179.  
 Куракина, Е. А., дочь А. Б. Куракина — 113, 179.  
 Куракины — 113, 115—116, 122—123, 135, 149—150, 160, 163, 173, 179, 187.  
 Кусков, П. А., поэт — 123.  
 Кут... — 123.

## Л.

- Л., А. И., нижегородский семинарист — 37—38, 40.  
 Л., П. В., нижегородский семинарист — 39—40.  
 Лавровский, харьковский профессор — 90.  
 Лавровский, Н. А., филолог — 182.  
 Лаврский, В. В., нижегородский семинарист — 7, 31, 39—40, 61, 151.  
 Лазарев, попечитель Лазаревского института — 89.  
 Лауданский — 126.  
 Лафонтен, Жан, французский баснописец — 144.  
 Лебедев, Е., студент Педагогич. института — 138, 176.  
 Лебедев, М. Е., б. нижегородский семинарист — 151—152, 156.  
 Лебедев, П. И., нижегородский священник — 28.  
 Лебединские — 36—37, 40.  
 Лебединский, И. И., протоиерей — 24—28, 35, 40—41, 43.

Левшин, студент петербургского университета — 136.  
 Левшин, А. И., директор департамента — 136.  
 Лемке, М. К., историк — 18, 136, 152.  
 Ленц, Э. Х., профессор физики — 144.  
 Леонова, артистка — 170.  
 Лермонтов, М. Ю., поэт — 49, 64—65, 164, 170.  
 Линская, Ю. Н., артистка — 121.  
 Лукьянович, С. С., профессор-классик харьковского университета — 90.  
 Львов, В., студент Педагогич. института — 147, 162, 164—165.  
 Людвиг, гувернер в Педагогич. институте — 145.  
 Людовик-Наполеон, принц — 97, 135.

## М.

М., Ф. М., нижегородский знакомый Н. А. Добролюбова — 41—42.  
 Майков, А. Н., поэт — 93.  
 Макарий, архимандрит, историк церкви — 158—159.  
 Максимов, А. М., артист — 121, 169—170.  
 Малоземов, А. Я., чиновник м-ва финансов — 115, 128—129.  
 Малоземов, Саша, ученик Н. А. Добролюбова — 129.  
 Малоземова, Н. П., жена А. Я. Малоземова — 128—129.  
 Малоземовы — 128, 130.  
 Мальм, Г., студент Педагогич. института — 166.  
 Мари — 177.  
 Мария Николаевна, великая княжна — 93, 97.  
 Мартынов, А. Е., артист — 114, 131, 168—170.  
 Мартынов, М. А. — 114, 116—118, 131.  
 Мат..., 6 нижегородский гимназист — 43.  
 Машенька — 15, 124—126, 148—149, 163—164, 171—173, 176—177, 186—190.  
 Машковцев, Владимир — 105.  
 Машковцев, А. П. — 105.  
 Машковцев, Е. П., действ. студент — 105.  
 Межевич, В. С., литератор — 82.

Мей, Л. А., поэт — 141.  
 Меншиков, А. С., князь, дипломат, главнокомандующий в Крымскую войну — 86.  
 Минин, Козьма, деятель Смутного времени — 50, 61.  
 Миттендорф, Ф. И., директор Главного педагогического института — 94.  
 Михаил Николаевич, вел. князь — 92.  
 Михаил Павлович, вел. князь — 94.  
 Михайлов, И. И., литератор — 141.  
 Михайлов, М. М., профессор-юрист петерб. университета — 150.  
 Михайловский, Н., студент Педагогич. института — 119—120, 167.  
 Михайловский, Я., студент Педагогич. института — 166—167.  
 Михалевский — 168.  
 Мицкевич, Адам, польский поэт — 101, 185.  
 Монферран, строитель исаакиевского собора — 85.  
 Мордвинов, Н. А., надворный советник — 88—89.  
 Морни, франц. посол в России — 119, 132, 135.  
 Муравьев, генерал — 89.  
 Мусин-Пушкин, М. Н., попечитель петербургского округа — 101—102.  
 Муханов, Н. А., тов. министра народн. просвещения — 191.  
 Мяс..., гусар — 42—43.  
 Мятлев, И. П., поэт — 82.

## Н.

Н., студент Педагогич. института — 111.  
 Н., А. Н., нижегородский семинарист — 37—38.  
 Надеждин, Н. И., писатель, журналист — 26.  
 Наз..., Н. Л., гувернантка у Никольских — 33.  
 Наполеон I, франц. император — 107.  
 Наташа — 124—126, 148.  
 Неволин, К. А., профессор-юрист петербург. университета — 150.  
 Неклюдов — 118.  
 Некрасов, Н. А., поэт — 15, 36, 170, 191—192.  
 Нерон, римский император — 41.  
 Нессельроде, К. В., граф, канцлер — 102, 105.



Никитенко, А. В., профессор литературы, цензор — 81.  
 Николай, тамбовский архиерей — 23.  
 Николай I, император — 84, 86, 88—89, 93, 95—99, 102, 105—107, 123.  
 Николай Николаевич, вел. князь — 87.  
 Никольская, А. И., жена П. И. Никольского — 30—31.  
 Никольские — 33, 35.  
 Никольский, П. И., преподаватель нижегородского дворянского института — 30.  
 Нимейер, немецкий историк-педагог — 182.  
 Новицкий, офицер, участник военного революционного кружка — 192.  
 Норов, А. С., мин. народн. просвещения — 19, 102, 112.

## О.

Оболенский, князь — 63.  
 Обручев, В. А., отст. поручик, участник революц. движения 60-х годов — 192.  
 Обручев, Н. Н., полковник генер. штаба — 192.  
 Огарев, Н. П., поэт, писатель-революционер, эмигрант — 105, 131, 154.  
 Озеров, В. А., драматург — 100.  
 Оксман, Ю. Г., историк литературы — 20.  
 Ольденбургский, П. Г., принц — 130.  
 Оля — 174—176.  
 Орнатский, И. И., священник — 28.  
 Орлов, А. Ф., граф, генерал-адъютант, начальник III отделения — 88, 101.  
 Орлов, М., учитель у Куракиных — 150.  
 Осокин, собиратель произведений народной поэзии — 159—160.  
 Островский, М. Н., чиновник госуд. контроля — 179—181.

## П.

П., И. А., нижегородский знакомый Н. А. Добролюбова — 36—37.  
 Павлов — 182.  
 Паисий, иеромонах, инспектор нижегородской семинарии — 28, 37, 58, 67.

Панаев, И. И., писатель — 79, 87, 144.  
 Панаева-Головачева, А. Я., писательница — 36.  
 Панин, В. Н., граф, мин. юстиции — 81.  
 Паржницкий, А. И., студент — 183.  
 Паржницкий, И. И., студент — 77, 148, 183.  
 Паржницкий, П. И., студент — 183.  
 Пашков, М. В., управл. департаментом внешней торговли — 85.  
 Пеликан, В. В., президент медико-хирургической академии — 148.  
 Пеллисье, франц. маршал — 88.  
 Перовский, чиновник удельн. ведомства — 99.  
 Песоцкий — 82.  
 Пет..., Верочка — 188.  
 Петр I, император — 87.  
 Петрашевский, М. В., основатель революц. кружка 40-х гг. — 91.  
 Пиль, Роберт, англ. госуд. деятель — 158.  
 Писарев, Д. И., критик — 16—17.  
 Писемский, А. Ф., писатель — 61, 87.  
 Плавт, римский драматург — 136, 156, 187.  
 Плещеев, А. Н., поэт — 181.  
 Погодин, М. П., профессор-историк — 35, 123.  
 Подобедова — 139.  
 Покровская, Е. В., крестная мать Н. А. Добролюбова — 30.  
 Полевой, Н. А., писатель, журналист — 84.  
 Поленов, Д. В., член Академии Наук — 156—157.  
 Попов, литератор — 140.  
 Преображенский, Н., студент Педагогич. института — 154.  
 Протасов, Н. А., обер-прокурор синода — 66.  
 Прянишников, Ф. И., главноуправляющий почтового ведомства — 116—118, 130.  
 Пушкин, А. С., поэт — 19, 79, 82—83, 101, 140—141, 169.  
 Пыпин, А. Н., историк литературы — 163, 168.

## Р.

Радонежский, А., студент Педагогич. института — 163, 170.

Разин, А. Е., педагог, писатель-популяризатор — 122—123, 155, 164, 169, 187.  
 Райковский, протоиерей, законоучитель петерб. университета — 91, 96—97.  
 Рамзауер, немецк. писатель-педагог — 140.  
 Растопчина, Е. П., писательница — 36, 121.  
 Редкин, П. Г., профессор-юрист — 180—182.  
 Репины, вятские купцы — 105.  
 Решеткин, студент — 135—136.  
 Рихтер, Жан-Поль, немецк. писатель — 185.  
 Робеспьер, Максимилиан, деятель Великой франц. революции — 157.  
 Роден — 89.  
 Ростовцев, Я. И., главный начальник военных учебных заведений — 92.  
 Рязанцев, М. Н., вятский городской голова — 105.

## С.

С., А. А., нижегородский священник — 40.  
 S., Nicolas, знакомый Щепотьевых — 50.  
 Савич, А. Н., профессор-астроном — 119.  
 Сахаров, Л. И., преподаватель нижегородской семинарии — 28, 35, 37.  
 Саша — 171—172, 175—176, 186.  
 Свистунов, А. Н., камергер — 117.  
 Сенковский, О. И., писатель — 82.  
 Сераковский, С. И., деятель польского революц. движения — 192.  
 Серафим, архимандрит — 29.  
 Серафим, иеромонах, писатель («Святогорец») — 33, 35.  
 Сибур, Мари, парижский архиепископ — 129.  
 Сидоров, студент петерб. университета — 157, 161—162, 173, 185.  
 Симборский, генерал — 97.  
 Синев, П., студент Педагогич. института — 147, 165.  
 Скворцов, И. М. — 26.  
 Славутинский, С. Т., писатель — 120.  
 Сладкопевцев, И. М., преподаватель нижегородской семинарии — 15, 40, 43—44, 53—55, 62—63, 65—66.

Смирдин, А. Ф., издатель и книгопродавец — 82.  
 Смирнов, петербургский губернатор — 91—92.  
 Смирнов, А. — 111.  
 Соб..., В. — 187.  
 Соболевский, С. А., эпиграмматист — 79.  
 Сокольский — 95.  
 Соколов, В. И., нижегородский семинарист — 38—39.  
 Соколов, Д. И., нижегородский семинарист — 38—39.  
 Соколовский, В. И., поэт — 84.  
 Соловьев, священник, ключарь софийск. новгородск. собора — 159.  
 Сорокин, И. М., доктор — 192.  
 Сосницкий, И. И., артист — 121.  
 Спасский, студент духовной академии — 160.  
 Срезневская, Е. Ф., жена И. И. Срезневского — 152—153.  
 Срезневский, Володя, сын И. И. Срезневского — 152—153, 163.  
 Срезневский, Вячеслав, сын И. И. Срезневского — 163.  
 Срезневский, И. И., профессор-филолог, академик — 122—124, 126—128, 137, 145, 152—159, 163, 166—167, 170, 182, 184—187.  
 Станевич, офицер — 192.  
 Станкевич, Н. В., член известного кружка «людей 40-х гг.» — 15, 131.  
 Стасюлевич, М. М., историк, журналист — 150.  
 Стейнбок, чиновник — 177.  
 Суворов, А. В., полководец — 67.  
 Сухомлинов, М. И., профессор-словесник — 150, 152.  
 Сциборский, Б., студент Педагогич. института — 116, 165, 187.  
 Сю, Евгений, франц. писатель — 19.

## Т.

Тарасенков, А., доктор — 138.  
 Татаринов, А. Н., симбирский помещик — 136—139, 143, 145—147, 181.  
 Татаринова, Н. А. (в замуж. Островская), ученица Н. А. Добролюбова — 136, 139, 149, 153, 173.  
 Татаринова, С. Н., жена А. Н. Татаринова — 139.



Татариновы — 144, 146, 149, 153, 163, 179, 186—187.

Тимашев, А. Е., начальник штаба корпуса жандармов — 191.

Тимофей, лакей Срезневского — 163.

Тихомандрицкий, А. Н., инспектор Главного педагогич. института — 114.

Толбин, В. В., писатель — 141.

Толстой, А. П., обер-прокурор синода — 145.

Толстой, Л. Н., писатель — 80, 103, 138.

Толстой, Ф. М., писатель — 80.

Томилин, литератор — 141.

Томилин, отст. чиновник — 117—118.

Тотлебен, Э. И., генерал — 93.

Трирогов, студент — 144.

Трубецкая, С. С., княжна — 132.

Трубецкой, С. В., князь — 135.

Тупылев — 117.

Тургенев, И. С., писатель — 87, 131, 138, 145, 164.

Турчанинов, Н. П., студент Педагогич. института — 15, 79, 113, 144, 146—147, 167.

Тюрин, А. Ф., пианист — 145, 156, 170.

Тюфяев, губернатор — 105.

## У.

Уваров, С. С., мин. народн. просвещ. — 81, 89, 93—94, 104, 112.

Улыбышев, генерал — 188.

Улыбышева, Дуничка — 188.

Упырь, Лихой, древне-русский писатель — 157.

Устрялов, Н. Г., профессор-историк — 90, 158.

## Ф.

Федоров, С. Н., литератор — 192.

Федоров, Ф. А., литератор — 141.

Фейербах, Людвиг, немецк. философ — 67.

Феодотий, симбирский архиерей — 23.

Феофил, архимандрит, ректор нижегородской семинарии — 37—38, 160.

Фет, А. А., поэт — 145, 150.

Филарет, митрополит московский — 104.

Филонов, А., студент Педагогич. института — 161, 186.

Фир... — 108.

Фонвизин, Д. И., писатель — 80.

Фон-дер-Тур, возлюбленная мин. Уварова — 94.

Фостиков, Л. В., архитектор — 43.

## Х.

Ходнев, харьковский профессор — 90.

Хрулев, С. А., генерал-лейтенант — 92.

## Ц.

Цицерон, Марк Туллий, римский оратор и политич. деятель — 67.

## Ч.

Чернышевская, О. С., жена Н. Г. Чернышевского — 17, 163.

Чернышевский, Н. Г., писатель-революционер — 5—9, 13—18, 38, 56, 71, 77, 79, 122, 135, 138, 141—142, 144, 163, 165, 168, 170, 179—181, 187, 192.

Черняковский, А., студент Педагогич. института — 147, 165.

Чертков, А. Д. — 157.

Чичерин, Б. Н. — профессор, юрист и историк — 127—128, 158.

Чумиков, А. А., писатель-педагог — 123, 139—140, 143, 145, 148, 174, 180—182, 187, 189.

## Ш.

Шевырев, С. П., профессор-словесник — 95, 157—158.

Шемановский, М. И., студент Педагогич. института — 113, 136, 147, 162, 164—165, 167.

Шереметев — 129.

Ш-ий, П. М. — 79.

Ширинский-Шихматов, П. А., мин. народн. просвещения — 81, 112.

Шниц — 82.

Штейнман, И. Б., профессор Педагогич. института — 119.

Штрандманн, генерал — 89.

Штраус, Давид, немецк. мыслитель — 7.

Штремер, фотограф — 188.

Шульгин, И. П., профессор-историк — 93.

## Щ.

Щебальский, П. К., историк и публицист — 127.

Щеглов, Д. Ф., студент Педагогич. института — 10, 13, 15, 77, 125, 141, 146—147, 156, 162—163, 167—168.

Щепотьев, А. И., чиновник особых поручений при нижегородском губернаторе — 31, 47.

Щепотьева, А. Ф., жена А. И. Щепотьева — 31, 36, 50.

Щепотьева, Феничка, дочь А. И. Щепотьева — 9, 15, 31, 36, 47, 50, 188.

Щепотьевы — 35.

Щербатов, Г. А., князь, попечитель петерб. округа — 135, 143.

Э.

Энгельгардт, б. лицейст — 116—117.

Эрбен, Карл, филолог — 187.

Ю.

Юлия — 124—125, 148, 163, 171, 176.

Я.

Язвинский, литератор — 82.

Якоби, академик — 93.

Яковлев, литератор — 35.

Ясунова — 176.





## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

	<i>Стр.</i>
Вал. Полянский. Н. А. Добролюбов в своих дневниках . . . . .	5
Заметки о преосв. Иеремии, еп. нижегор. и арзамасском, 1851 г. .	21
Воспоминания 1851 г. . . . .	23
Дневники 1852—1853 гг. . . . .	30
Отрывок из дневника 1852 г. . . . .	45
Дневники 1852—1853 гг. (продолжение) . . . . .	52
Заметки 1853 г. . . . .	57
Психаториум 1853 г. . . . .	68
Встреча Христова праздника 1853 г. . . . .	72
Дневники 1854—1855 гг. . . . .	76
Закулисные тайны русской литературы и жизни 1855 г. . . . .	79
Дневник 1857 г. . . . .	113
Отрывок из дневника 1859 г. . . . .	191
Указатель имен . . . . .	193

---









Цена 1 р. 50 к.

40851-



**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**

1. Правлению Издательства политкаторжан — Москва, ГСП-10. Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73 и 1-31-26.
2. Магазины Издательства политкаторжан „МАЯК“ — Москва-Центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.







